Мишель Уэльбек

Библиотека журнала «Иностранная литература»

Элементарные частицы



Michel Houellebecq

Les particules élémentaires

Элементарные частицы
Мишель Уэльбек

Аннотация
Мишель Уэльбек. Элементарные частицы
ПРОЛОГ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. УТРАЧЕННОЕ ЦАРСТВО
1
2
3
4
5
6
7
8. Животное омега
9
10. Всему виной Каролина Иессайян
11
12. В стандартном режиме
13
14. Лето семьдесят пятого
15
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СТРАННЫЕ МОМЕНТЫ
1
2. Тринадцать часов полета

3
4
5
6
7. Разговор в трейлере
8
9
10. Джулиан и Олдос
11
12
13
14
15. Гипотеза Макмиллана
16. Об эстетике добровольности
17
18. После долгой разлуки
19
20
21
22. Конечная станция – Саорж
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ
1
2
3
4
5

6
7
ЭПИЛОГ

Аннотация

Главный герой романа, французский ученый, одинокий и несчастный, добивается кардинальных изменений в биологии человека как вида, в результате чего приходит новое поколение счастливых и без устали ублажающих друг друга людей. Как это произошло и что из этого вышло, предстоит узнать читателю.

Мишель Уэльбек
Элементарные частицы

ПРОЛОГ

Эта книга — прежде всего история человека, большая часть жизни которого прошла в Западной Европе второй половины XX столетия. В общем-то одинокий, он изредка тем не менее вступал в отношения с другими людьми. Жил он во времена несчастливые и беспокойные. Страна, где он появился на свет, в экономическом отношении медленно, но неукоснительно переходила в категорию средне бедных государств, а люди его поколения, живя там зачастую под угрозой нищеты, ко всему прочему проводили дни в одиночестве и горьком озлоблении. Чувства любви, нежности, человеческого братства в значительной мере оказались утрачены; в своем отношении друг к другу его современники чаще всего являли пример взаимного равнодушия, если не жестокости.

К моменту своего исчезновения Мишель Джерзински как ученый-биолог был единодушно признан одним из ведущих, ему вполне серьезно прочили Нобелевскую премию, однако истинное его значение не было осознано: оно проявится

несколько позже.

В эпоху, когда жил Джерзински, на философию по большей части смотрели как на науку, утратившую не только какое бы то ни было практическое значение, но даже самый свой предмет…

Метафизические мутации, то есть радикальные, глобальные изменения картины мира у подавляющего большинства, — явление редкое в истории человечества. Примером тому может служить зарождение христианства.

Когда метафизическая мутация совершилась, она распространяется, не встречая сопротивления, пока не исчерпает всех своих возможностей. При этом без малейшей оглядки сметаются экономические и политические системы, эстетические каноны, социальные иерархии. Никакая человеческая сила не остановит ее — такой силой может стать лишь новая метафизическая мутация.

Нельзя сказать, что метафизические мутации по преимуществу обрушиваются на общества слабеющие, уже клонящиеся к закату. Когда возникло христианство, Римская империя была в расцвете своего могущества: в высшей степени организованная, она властвовала над всем ей ведомым миром, ее технические и военные

достижения не имели аналогов, и при всем том у нее не оставалось ни единого шанса. Когда возникла современная наука, средневековое христианство определяло целостную систему взаимоотношений человека и Вселенной, служило фундаментом для управления народами, движущей силой познания и деятельности, решающим условием как мира, так и войны, определяющим фактором накопления богатств и их распределения; все это никоим образом не могло предотвратить его крушение.

Мишель Джерзински не был ни первым, ни основным виновником третьей, во многих отношениях наиболее радикальной метафизической мутации, призванной дать начало новому периоду мировой истории, но в силу некоторых совершенно исключительных жизненных обстоятельств ему выпало стать одним из самых сознательных, самых прозорливых ее теоретиков и творцов.

Мы живем на заре небывалой эпохи.

Обновленная жизнь наполняет наши тела,

Озаряет наши тела,

Дарит нашим телам ореол немеркну-

щей радости.

То, что было лишь сладким предчувствием в музыке прошлых времен,

Для любого из нас повседневной реальностью стало.

То, что людям минувших времен рисовалось в мечтах как страна идеала,

Воплотилось в действительность нашу, как сбывшийся сон.

Но это не значит, что мы презираем этих людей.

Нам известно, сколь многим обязаны мы их мечтам,

Нам известно, что мы – порожденье их счастья и боли, из которых веками слагалась история,

Что наш будущий образ они пронесли через ненависть, распри и страх, через ужас и горе,

Через годы блужданий во мраке, когда день за днем писали они земную историю,

И мы знаем, что им бы не выстоять, если бы не было в них, в глубине их сер-

дец, великой надежды на будущее,

Им бы просто не выжить, если б не эта мечта.

И теперь, когда наступила эпоха света,

Теперь, когда мы живем в непосредственной близости к свету

И свет наполняет наши тела,

Озаряет наши тела,

Дарит нашим телам ореол немеркнущей радости,

Теперь, когда мы живем рядом с этим потоком,

В череде неизменно сияющих дней,

Теперь, когда свет стал реален, доступен и ясен,

Теперь, когда мы достигли цели пути

И навеки покинули царство разлуки,

Царство разлуки с собой,

Чтоб окунуться в бессменную и изобильную радость

Новых законов,

Сегодня,

Впервые,

Мы можем вам рассказать
Про последние дни старого мира.[1]

[1] Примечание: 1

Здесь и далее переводы стихов, за исключением отмеченных особо, И.Кузнецовой

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
УТРАЧЕННОЕ ЦАРСТВО

1

Первое июля 1998 года пришлось на среду. Таким образом, для Джерзински было вполне естественно, хоть и непривычно, упаковать свои дорожные пожитки во вторник вечером. Рефрижератор марки «Брандт», малость осев под тяжестью морозильных цилиндров с эмбрионами, вместе с ними принял в свое нутро бутылки шампанского; он, как правило, служил и для хранения обычных химических продуктов.

Четыре бутылки на пятнадцать термостатов — это относительно справедливо. Впрочем, как и все остальное: интересы, объединяющие их группу, были достаточно поверхностны, одно неосторожное слово, пренебрежительный взгляд, и компания, того и гляди, распадется, каждый побежит к своей машине. Сидели они в полуподвальной комнате с кондиционером, облицованной белой плиткой и украшенной календарем с пейзажами германских озер. Никто не предложил нащелкать фотографий. Молодой исследователь, глуповатый с виду бородач, прибывший в начале года, через несколько минут смылся, сославшись на проблемы с гаражом.

Скованность все заметнее овладевала сотрапезниками. Отпуска были на носу. Одних ждал семейный кров, другие займутся «зеленым туризмом». Разошлись быстро.

К половине восьмого все закончилось. На автомобильную стоянку Джерзински вышел в компании одной из коллег — длинноволосой брюнетки с очень белой кожей и тяжелой грудью. Она была немного старше его. Вероятно, ей предстояло стать его преемницей, возглавив исследовательскую группу. В основании большей части ее публикаций покоился ген DAF3 дрозофилы. Мужа у нее не было.

Остановившись возле своей «тойоты», он улыбнулся и протянул спутнице руку (произвести этот жест, сопроводив его улыбкой, он решил несколькими секундами ранее, так что успел мысленно подготовиться). Ладони сцепились, мягко потрясли друг дружку. Чуть позже он подумал, что этому рукопожатию не хватало теплоты; учитывая ситуацию, они могли бы обняться наподобие министров или каких-нибудь эстрадных певцов.

Покончив с прощальными приветствиями, он забрался в свой автомобиль и пять минут, которые показались ему долгими, сидел без движения. Отчего женщина не уезжает? Она там что,

мастурбирует, слушая Брамса? Или, напротив, размышляет о своем продвижении, о новых обязанностях (радуется небось?). Наконец «гольф» специалистки по генетике выехал со стоянки. Он снова остался в одиночестве. Погода стояла великолепная, было все еще жарко. В эти первые летние недели все как будто замерло в сияющей неподвижности; однако долгота дня уже начала убывать, и Джерзински ощущал это.

В свою очередь заводя мотор, он подумал, что работает в престижном районе. Шестьдесят три процента здешних обитателей на вопрос «Ощущаете ли вы, живя в Палезо, преимущества привилегированного района?» отвечают «да». Это можно понять: дома здесь низкие, между ними газоны. Несколько универсамов с легкостью обеспечивают потребности населения. В отношении Палезо понятие *качественной жизни* едва ли показалось бы преувеличением.

Южная автомагистраль в направлении Парижа была пустынна. Впечатление такое, будто он попал в новозеландский научно-фантастический фильм, виденный в пору студенчества: последний человек на Земле после гибели всего живого. Что-то в атмосфере отдавало засушливым апокалипсисом.

На улице Фремикур Джерзински жил лет десять; он к ней привык, здесь было спокойно. В 1993 году он ощутил потребность в обществе чего-то живого, что по вечерам встречало бы его, приходящего домой. Его выбор пал на белого кенаря, существо пугливое. Кенарь пел, особенно по утрам, однако веселым не казался; да и может ли кенарь быть весел? Радость — чувство сильное и глубокое, эмоция чистого восторга, охватывающая сознание целиком; ее можно уподобить опьянению, зачарованности, экстазу. Однажды он выпустил птицу из клетки. В ужасе она накакала на канапе, потом стала бросаться на прутья клетки, ища входную дверцу. Месяц спустя он повторил попытку. На сей раз злосчастная тварь выпала из окна; худо-бедно самортизировав свое падение, птица сумела уцепиться за балкон дома напротив, пятью этажами ниже. Мишелю пришлось дожидаться возвращения жилицы, питая страстную надежду, что у нее нет кошки. Как он выяснил, девушка была редактором в журнале «Двадцать лет»; она жила одна и домой приходила поздно. Кошки у нее не было.

Настала ночь; Мишель спас крошечное созданье, дрожавшее от холода и страха, прильнувшее к бетонной стенке. Потом он встречал ту ре-

дактрису еще несколько раз, в основном когда выносил мусор. Она кивала, вероятно желая показать, что узнала его; он, со своей стороны, тоже кивал. В конечном счете это происшествие позволило ему завязать добрососедские отношения, можно сказать, все обернулось к лучшему.

Из его окон был виден десяток домов, то есть добрых три сотни квартир. Когда по вечерам он возвращался к себе, птица обычно принималась насвистывать и щебетать; это продолжалось минут пять-десять, потом он менял ей корм, воду, подстилку. Однако в тот прощальный вечер его встретила тишина. Он подошел к клетке: кенарь был мертв. Его белая маленькая тушка, уже окоченевшая, лежала на боку на подстилке из гравия.

Он поужинал из пластикового корытца зубаткой с кервелем, купленной в универсаме «Лакомка», сопроводив ее весьма посредственным винцом «Вальдепеньяс». Труп птицы он, поколебавшись, положил в целлофановый пакет, засунул туда же как балласт пивную бутылку и швырнул все это в мусоропровод. А что еще делать? Мессу отслужить?

Где кончается этот мусоропровод, не слишком широкий, впрочем достаточный, чтобы пропу-

стить тельце канарейки? Этого он никогда не знал. И все же во сне ему привиделись гигантские мусорные урны, полные кофейных фильтров, равиолей в соусе и отрезанных половых органов. Громадные, не меньше самой птицы, клювастые черви терзали ее тело. Они вырывали ей лапки, кромсали кишки, пожирали глаза. Он вскочил среди ночи, его трясло; было около половины первого. Проглотил три таблетки ксанакса. Так кончился первый вечер его свободы.

2

14 декабря 1900 года в сообщении Берлинской академии под заглавием «К теории закона распределения энергий в нормальном спектре» Макс Планк впервые ввел понятие «квант энергии», которому предстояло сыграть решающую роль в последующем развитии физики. Между 1900 и 1920 годами, главным образом по инициативе Эйнштейна и Бора, концепция более или менее хитроумным способом была согласована с предыдущими теориями, но уже с начала двадцатых эти воззрения оказались необратимо опровергнуты.

Если Нильс Бор признан истинным создателем квантовой механики, то причиной этому являются не только его собственные открытия, но, главное, та исключительно творческая атмосфера интеллектуального кипения, свободного поиска и дружбы, которую он умел создавать вокруг себя. Институт физики в Копенгагене, основанный Бором в 1919 году, радушно открыл свои двери всем молодым исследователям, кого можно было назвать надеждой европейской науки. Здесь свои первые шаги сделали Гейзенберг, Паули, Борн. Сам будучи лишь немногим старше, Бор

многие часы посвящал подробному обсуждению их гипотез, проявляя уникальное сочетание философской прозорливости, доброжелательности и строгости. Почти маниакально педантичный, он не терпел ни малейшей приблизительности в интерпретации результатов экспериментов, но вместе с тем ни одна свежая мысль не казалась ему априори безумной, никакая классическая концепция в его глазах не являлась незыблемой. Он любил приглашать своих студентов к себе в загородный дом в Тисвильде; там у него гостили и ученые, занятые другими отраслями знания, политики, люди искусства; беседы текли непринужденно, переходя от физики к философии, от истории к искусству, от религии к обыденной жизни. Ничего подобного не бывало со времен первоначального расцвета греческой культуры. Вот в каком контексте между 1925 и 1927 годами были выработаны основополагающие понятия Копенгагенской школы, в больше степени упразднившие прежние категории пространства, времени и причинности.

Джерзински не удалось сколотить подобное сообщество. Внутри исследовательской группы, которой он руководил, царила всего лишь атмосфера присутственного места. Микробиологи,

отнюдь не являясь поэтами своего дела, этакими Рембо микроскопа, каких любят воображать чувствительные профаны, по большей части суть честные технари, не отмеченные печатью гениальности: они читают «Нувель обсерватёр» и мечтают махнуть в отпуск в Гренландию. Исследования в области молекулярной биологии не предполагают никакого творческого горения, никакой изобретательности; по существу, это работа почти всегда рутинная, требующая не первоклассных, а всего лишь приличных интеллектуальных способностей. Люди получают докторские степени, защищают диссертации, в то время как полного набора экзаменов на бакалавра с лихвой хватило бы, чтобы управляться с компьютерами. «Чтобы додуматься до идеи генетического кода, — любил повторять Деплешен, заведующий биологическим отделом Национального совета по научным исследованиям, — чтобы открыть принцип синтеза протеинов, таки надо было малость попотеть, что да, то да. Впрочем, заметьте: первым, кто сунул нос в это дело, был Гамов, физик. Но что до расшифровки ДНК… пфф! Расшифровываешь, расшифровываешь. Создаешь молекулу, потом другую. Вводишь данные в компьютер, компьютер производит расчет

составляющих ее цепочек. Посылаешь факс в Колорадо; они создают гены: B27, C33. Та же кухня. По временам удается вносить незначительные усовершенствования в оборудование, обычно этого достаточно, чтобы вам дали Нобелевскую премию. Все это халтура, детские игрушки».

Первого июля после полудня стояла удушающая жара; это был один из тех знойных дней, что плохо кончаются: к вечеру грянула гроза, разгоняя запрудившие город скопления полуголых тел. Окна рабочего кабинета Деплешена выходили на набережную Анатоля Франса. На другом берегу Сены по набережной Тюильри прохаживались на солнышке педерасты, беседуя попарно и группками, одалживая друг другу полотенца. Почти все они были в плавках. Их мускулы, увлажненные кремом для загара, сверкали в ярком свете, выпуклые зады лоснились. Не прекращая болтать, некоторые потирали свои половые органы, обтянутые нейлоном плавок, или запускали туда палец, открывая взгляду шерсть лобка и основание фаллоса. Деплешен пристроил поближе к застекленному проему окна бинокль. По слухам, он тоже был гомосексуалистом; на самом-то деле уже несколько лет он был по преимуществу хорошо воспитанным пьянчужкой. В подобный денек

он раза два пытался помастурбировать, прильнув глазом к биноклю и уставившись на юнца, приспустившего плавки, чтобы выпущенный на вольный воздух член начал свое увлекательное восхождение. Но его собственный, плоский, сухой и морщинистый, сразу обвис; а потому упорствовать он не стал.

Джерзински явился точно к четырем. Деплешен сам просил его прийти. Он был заинтригован: случай-то курьезный. Разумеется, когда исследователь берет годичный отпуск, чтобы отправиться поработать в другой команде где-нибудь в Норвегии, Японии или даже в одной из тех мрачных стран, где в сорок лет сплошь и рядом кончают самоубийством, это дело обычное. Некоторые — такие случаи особо участились в «годы Миттерана», когда жажда наживы приобрела невиданные размеры, — вступали на рискованный путь, создавая коммерческие сообщества, чтобы извлечь прибыль из той или иной молекулы; впрочем, иные умудрялись за недолгий срок сколотить приличное состояние, низменным образом превратив в статью дохода знания, полученные за годы бескорыстных исследований. Но то, как уходит в свободное плавание Джерзински, не имеющий ни планов, ни целей,

ни малейшего разумного оправдания, выглядело непостижимым. В свои сорок он был главой исследовательской группы, под его началом работали пятнадцать человек; сам он подчинялся — и то сугубо теоретически — одному Деплешену. Его группа получала великолепные результаты, ее считали одним из лучших научных коллективов Европы. Короче говоря, чего ему не хватало?

Деплешен повысил голос, вопросил с нажимом:

— Что вы намерены делать?

С полминуты продолжалось молчание, потом Джерзински скупо обронил:

— Думать.

Так с места не сдвинешься. Стараясь изобразить шутливость, Деплешен подмигнул:

— Над планами личного характера? — Но вдруг, вглядевшись в серьезное, осунувшееся лицо, в печальные глаза того, кто сидел перед ним, испытал сокрушающий стыд. Личные планы, еще чего! Он сам пятнадцать лет назад отыскал Джерзински в университете в Орсэ. Его выбор оправдал себя как нельзя лучше: это четкий, пунктуальный, изобретательный, творческий ум; результаты были основательны, накапливались в большом количестве. Если Национальному совету по науч-

ным исследованиям удалось сохранить за собой почетное место в европейской молекулярной биологии, это в немалой степени произошло благодаря заслугам Джерзински. Условия их контракта выполнены, и с лихвой. — Разумеется, — заключил Деплешен, — за вами будет сохранен доступ к базам данных. Ваши коды доступа к результатам исследований на сервере и к центральному банку данных в Интернете не будут лимитированы каким — либо сроком. Если вам понадобится что-нибудь еще, я в вашем распоряжении.

Когда собеседник удалился, он снова подошел к окну. Он малость вспотел. Шоколадный паренек североафриканского типа на набережной напротив стягивал свои шорты. В области фундаментальной биологии оставались существенные проблемы. Биологи мыслили и действовали так, как если бы молекулы являлись разрозненными материальными элементами, объединяемыми исключительно посредством электромагнитного притяжения и отталкивания; никто из них — он был в этом уверен — слыхом не слыхал о парадоксе EPR, об экспериментах Аспекта; никто даже не взял на себя труда полюбопытствовать, какого прогресса достигла физика с начала столетия; их

представления об атоме мало чем отличаются от тех, что были у Демокрита. Они накапливали сведения тупо и однообразно, с единственной целью их немедленного промышленного использования, нисколько не сознавая, что под концептуальный фундамент их деятельности давно подведены минные ходы. Джерзински и он сам, благодаря своему первоначальному физическому образованию, по всей вероятности, были единственными в Национальном совете, кто отдавал себе отчет в том, что, вплотную столкнувшись с атомистикой, современная биология основ жизни взлетит на воздух. Вот о каких вопросах размышлял Деплешен, глядя, как над Сеной спускается вечер. Он не мог себе представить путей, какими движется мысль Джерзински; он даже не чувствовал себя способным обсуждать с ним это. Ему подкатывало к шестидесяти, в интеллектуальном плане он себе казался перегоревшим дотла. Педерасты разошлись, набережная опустела. Ему больше не удавалось вызвать воспоминание о своей последней эрекции. Он ждал грозы.

3

Гроза разразилась около девяти вечера. Джерзински слушал шум дождя, потягивая маленькими глотками дешевый арманьяк. Ему только что исполнилось сорок: уж не стал ли он жертвой *кризиса сорокалетия?* Принимая во внимание улучшение условий жизни, сегодня люди сорока лет еще в полной форме, их физическое состояние великолепно; первые признаки, говорящие — как по внешнему виду, так и по реакции организма на нагрузки, — что вот он, порог, от которого сейчас начнется долгий путь вниз, к могиле, все чаще настигают человека ближе к сорока пяти, а то и пятидесяти годам. К тому же этот пресловутый *кризис сорокалетия* зачастую ассоциируется с феноменами сексуальными, с внезапным лихорадочным вожделением к телам очень юных девиц. В случае Джерзински подобные мотивы исключались полностью: член служил ему затем, чтобы помочиться, более ни для чего.

На следующее утро он встал около семи, взял в своей домашней библиотеке «Часть и целое», научную автобиографию Вернера Хайзенберга, и

пешком отправился на Марсово поле. Рассвет был свеж и прозрачен. Этой книгой он обзавелся еще в десятилетнем возрасте. Усевшись под одним из платанов аллеи Виктора Кузена, он перечитал то место из первой главы, где Гейзенберг, описывая атмосферу времени своего становления, упоминает о первой встрече с теорией атома:

По всей вероятности, это, как мне думается, случилось весной 1920-го. Исход первой мировой войны посеял смятение и хаос среди молодежи наших краев. Старшее поколение, глубоко разочарованное поражением, на все махнуло рукой, а юношество сбивалось в группы, в большие и малые сообщества с целью отыскать новые пути или на худой конец новый компас, который помог бы сориентироваться, ведь прежние ценности потерпели крах. Так и вышло, что в один прекрасный весенний день я отправился на прогулку с компанией, состоявшей из одного-двух десятков моих товарищей. Если память мне не изменяет, дорога наша лежала через холмы, что тянутся грядой по западному берегу Штарнбергского озера; всякий раз, когда возникал просвет между рядами ярко-зеленых буков, озеро это виднелось внизу слева от нас и, видимо, простиралось до самого подножия гор, которые служили фоном

пейзажа. Как ни странно, именно во время той прогулки у нас впервые зашла речь об атомной физике — разговор, которому было суждено оказать большое влияние на весь мой дальнейший жизненный путь.

Часам к одиннадцати жара стала усиливаться. Вернувшись к себе, Мишель завалился на диван, предварительно раздевшись догола. В последовавшие за этим три недели его передвижения были сведены к минимуму. Он напоминал рыбу, которая высовывается временами из воды, чтобы глотнуть воздуха; на какие-то секунды перед ней мелькает райское видение — совсем иной, воздушный мир. Конечно, ей приходится тотчас возвращаться назад, в свою тинистую среду где рыбы пожирают друг друга. Но были у нее краткие мгновения предчувствия другого мира, совершенного — нашего мира.

Вечером 15 июля он позвонил Брюно. Музыкальный фон в стиле jazz cool придавал голосу его сводного брата едва уловимую напыщенность. Брюно — он-то уж типичная жертва *кризиса сорокалетия.* Носит кожаный плащ, отпустил бороду Чтобы показать, что видал виды, держится, будто персонаж второразрядного полицейского боевика: курит сигарки, наращивает мускулы.

Впрочем, в отношении брата, считал Мишель, кризисом сорокалетия всего не объяснишь. Человек, подверженный этой напасти, жаждет еще пожить, пожить недолго, но полной жизнью. Продлить ее хотя бы чуть-чуть. А брату, судя по всему, все окончательно обрыдло, он просто больше не видит никакого толку в продолжении.

В тот же вечер Мишель отыскал фотографию, сделанную в начальной школе, в Шарни. Взглянул и заплакал. Сидя за партой, мальчик держит в руках раскрытый учебник. Он смотрит в объектив с улыбкой, полный радости и отваги; и этот ребенок — в голове не укладывается — он сам. Мальчик выполняет домашние задания, с доверчивой серьезностью слушает объяснения учителя. Он входит в этот мир, открывает его для себя, и мир не внушает ему страха; он готовится занять свое место в людском сообществе. Все это можно прочесть во взгляде малыша. На нем блуза с отложным воротничком.

Несколько дней Мишель не расставался с фотографией; он прислонил ее к лампе у своего изголовья. Тайна времени банальна, — так он пытался уговаривать себя, — все это в порядке вещей: тускнеет блеск глаз, гаснет радость, истощается доверие. Растянувшись на своем диване

марки «Bultex», он безуспешно старался приучить себя к недолговечности. На лбу мальчика виднелась маленькая круглая впадина — отметинка ветряной оспы; этот шрам пережил годы. В чем заключена истина? Комнату наполнял полуденный зной.

4

Мартену Секкальди, рожденному в 1882 году в глухой корсиканской деревушке, в безграмотной крестьянской семье, казалось, предстояло провести свой век пастухом и земледельцем, ему была уготована та же ограниченная сфера деятельности, что являлась уделом бесконечной череды сменявшихся поколений его предков. Образ жизни, о котором идет речь, в наших краях давно отошел в прошлое, так что его исчерпывающий анализ представлял бы лишь ограниченный интерес; разве что некоторые радикальные ревнители экологии подчас демонстрируют необъяснимую ностальгию по такому существованию, но я, чтобы не быть односторонним, тем не менее предлагаю дать его краткое суммарное описание: живешь на лоне природы, дышишь свежим воздухом, возделываешь некий клочок земли, размер коего определяется сообразно строжайше установленному праву наследования; иной раз кабана подстрелишь; трахаешь кого придется направо и налево, в особенности свою жену, каковая рожает тебе *деток;* даешь последним воспитание, дабы они в свой черед

заняли твое место в той же экосистеме; с годами начинаешь прихварывать, ну и все, баста.

Особый жребий Мартена Секкальди, по существу, отменно примечателен, ибо свидетельствует о той роли, какую сыграли интеграция французского общества и ускорение технологического прогресса в эпоху Третьей республики, обеспеченное непрестанными усилиями светской школы. Его преподаватель быстро сообразил, что имеет дело с учеником незаурядным, одаренным наклонностями к абстрактному мышлению и определенной изобретательностью, проявить каковые в своей исконной среде ему будет весьма затруднительно. Полностью сознавая, что его миссия не ограничивается лишь снабжением будущих граждан багажом элементарных знаний, так как равным образом ему подобает производить отбор тех, кому со временем предстоит стать для Республики частью ее элиты, он сумел убедить родителей Мартена, что призвание их сына может осуществиться исключительно за пределами Корсики. Итак, в 1894 году, получив право на стипендию, юноша поступил интерном в марсельский лицей Тьера, отлично описанный в воспоминаниях детства Марселя Паньоля, которым было суждено до последних дней Мар-

тена Секкальди стать его излюбленным чтением благодаря великолепному в своей правдивости воссозданию основополагающих идеалов эпохи, воплощенных в жизненном пути одаренного молодого человека, выходца из низов. В 1902 году, полностью оправдав надежды своего первого учителя, он был принят в Высшую политехническую школу.

Девять лет спустя он получил назначение, определившее его дальнейший жизненный путь. Речь шла о создании действенной водопроводной сети, охватывающей всю систему алжирских территорий. Он занимался этим более двадцати пяти лет: производил расчеты кривизны акведуков и диаметра канализационных труб. В 1923 году он женился на Женевьеве Жюли, продавщице, чей род происходил из Лангедока, но последние два его поколения обосновались в Алжире. В 1928 году у них родилась дочь Жанин.

Повествование о жизни человеческой может быть сколь угодно длинным либо коротким. Метафизический или трагический выбор сводится в конечном счете к традиционно запечатленным на надгробном камне датам рождения и смерти. Он привлекает своей предельной краткостью. Но в случае Мартена Секкальди

представляется уместным подвергнуть рассмотрению исторический и социальный аспект его судьбы, сосредоточившись не столько на личных особенностях данного индивида, сколько на эволюционных изменениях общества, характерным элементом которого он являлся. Эти характерные представители своего времени, с одной стороны увлекаемые ходом исторического развития, с другой — и сами охотно плывущие по течению, обычно имеют простые, счастливые биографии; подобное жизнеописание в его классическом варианте, как правило, умещается на одной-двух страницах. Что до Жанин Секкальди, она-то принадлежала к удручающей категории *предтеч.* В своем роде вполне приспособленные к образу жизни большинства современников, предтечи вместе с тем стремятся «быть выше», проповедуя новые либо пропагандируя еще мало распространенные способы существования; жизненный путь предтеч обыкновенно приходится описывать пространнее, тем паче что он часто куда ухабистее и запутанней. Однако же их роль сводится к ускорению исторических процессов, притом ускорению по большей части разрушительному — им никогда не дано придать событиям новое направление: эта миссия возла-

гается на *революционеров* или *пророков.*

Короче говоря, дщерь Мартена и Женевьевы Секкальди проявляла выдающиеся умственные способности, по меньшей мере равные отцовским, и сверх того демонстрировала весьма независимый нрав. Девственность свою она потеряла в возрасте тринадцати лет (факт чрезвычайный, принимая во внимание эпоху и среду), чтобы затем посвятить годы войны (в тех краях они были довольно мирными) хождениям на все главные балы, имевшие место в конце каждой недели сперва в Константине, потом в Алжире; все это не мешало ей триместр за триместром бесперебойно достигать впечатляющих успехов в школьной науке. Таким образом, в 1945 году покидая родителей, дабы приступить в Париже к изучению медицины, она была вооружена степенью бакалавра с отличием и уже немалым сексуальным опытом.

Первые послевоенные годы были трудными и бурными; показатели выпуска промышленной продукции такие, что ниже некуда, карточную систему распределения продовольствия отменили только в 1948-м. Тем не менее в узком кругу, среди наиболее зажиточных слоев населения, в отличие от широких его масс, уже появились

первые признаки той страсти к потреблению, происходившей из Соединенных Штатов Америки, которой в последующие десятилетия предстояло распространиться, захватив все и вся. Таким образом, Жанин Секкальди, студентке медицинского факультета, выпало на долю жить в Париже почти что в «годы экзистенциализма», ей даже представился однажды случай оттанцевать в «Табу» be-bop с самим Жан-Полем Сартром. Не слишком восхищенная трудами этого философа, она, напротив, была поражена доходящим до патологии уродством их автора, так что случай этот последствий не имел. Сама-то она была очень хороша — ярко выраженный средиземноморский тип красоты — и пережила множество любовных приключений, прежде чем в 1952 году ей повстречался Серж Клеман, который в то время заканчивал курс хирургии.

«Описать вам моего старика? — годы спустя любил говорить Брюно. — Возьмите обезьяну, дайте ей мобильный телефон, и папашин портрет готов!» В те времена Серж Клеман, разумеется, не располагал мобильным телефоном; но он и впрямь отличался изрядной волосатостью. В общем-то он был совсем не красавец, зато от его персоны исходило мощное и незамысловатое

мужское обаяние, которое должно было прельстить молоденькую студентку. К тому же у него были планы. Поездка в Соединенные Штаты убедила его, что косметология в будущем сулит честолюбивому хирургу заманчивые перспективы. Прогрессирующее распространение соблазнов свободного рынка, распад традиционного брака, вероятность скорого экономического подъема Западной Европы — все и вправду складывалось многообещающе, открывая исключительные возможности для этой области медицины, а у Сержа Клемана было то преимущество, что он одним из первых в Европе — а во Франции безусловно первым — смекнул что к чему; проблема, однако же, состояла в том, что ему не хватало средств, нужных для начального рывка. Мартен Секкальди, приятно пораженный предприимчивостью будущего зятя, согласился ссудить его деньгами, и первая клиника была открыта в 1953 году в Нейи. Успех, подхваченный женскими журналами, набиравшими в ту пору силу, был сногсшибательный, так что в 1955 году уже открылась вторая клиника, на каннских холмах.

Соединившись, супруги общими усилиями создали то, что в дальнейшем станут называть

«современным браком», и если Жанин забеременела от своего мужа, то скорее по оплошности. Тем не менее она решила сохранить ребенка; материнство, по ее мнению, являлось одним из тех испытаний, которые женщина должна пережить; впрочем, период беременности оказался даже приятным, и в марте 1956-го на свет появился Брюно. Скучные заботы, каких требует малолетний ребенок, вскоре показались родителям несовместимыми с их идеалом личной свободы, и в 1958 году Брюно по обоюдному согласию был отправлен в Алжир, к деду и бабке по материнской линии. Жанин к тому времени вновь забеременела, но отцом на сей раз был Марк Джерзински.

Гонимый свирепой нищетой, едва ли не голодухой, Люсьен Джерзински, надеясь получить работу во Франции, в 1919 году покинул Катовицкий угольный бассейн, где был рожден два десятилетия тому назад. Он поступил рабочим на железную дорогу — сначала дорожным строителем, потом смотрителем путей — и взял в жены Мари Леру, дочь батрака, уроженца Бургундии, которая и сама служила в железнодорожном ведомстве. Он подарил ей четверых детей, прежде чем погибнуть в 1944 году при бомбардировке

станции авиацией союзников.

Его третьему сыну Марку было четырнадцать, когда отца не стало. Это был умный, серьезный, немножко грустный мальчик. С легкой руки соседа он в 1946 году поступил учеником электрика на киностудию Пате в Жуанвиле. Он тотчас показал себя на редкость способным к этой работе: исходя из кратких инструкций, до прибытия главного оператора подготовил превосходную подсветку общего плана. Его очень ценил сам Анри Алькан. Решив в 1951 году войти в ORTF, Управление французского радиовещания и телевидения, этот прославленный кинооператор даже хотел сделать его своим ассистентом.

Когда Марк познакомился с Жанин — то есть в начале 1957-го, — он работал над телерепортажем, посвященным обитателям Сен-Тропе. Героиней репортажа была Брижит Бардо (фильм «И Бог создал женщину», вышедший в 1956-м, поистине дал старт мифу Бардо), но Марк в поисках материала распространял свой интерес также на некоторые артистические и литераторские кружки, особенно его привлекала та компания, которую впоследствии прозвали «бандой Саган». Этот мир, закрытый для Жанин несмотря на ее деньги, обворожил молодую женщину, и она,

казалось, не на шутку увлеклась Марком. Она прониклась убеждением, что он создан из того теста, из которого получаются великие кинорежиссеры; впрочем, по всей вероятности, так оно и было. Работая с осветительной аппаратурой облегченного типа, он умел путем перестановки предметов создавать волнующие кадры в духе Эдварда Хоппера, реалистические, спокойные и в то же время дышащие полнейшей безнадежностью. Общаясь со знаменитостями, он скользил по ним равнодушным взглядом и, снимая Бардо или Саган, оказывал им столько же почтения, сколько мог бы проявить к ракам или кальмарам. Он ни с кем не говорил, ни к кому не выражал симпатии; он был поистине очарователен.

Жанин развелась с мужем в 1958-м, вскоре после того как отправила Брюно к своим родителям. Это был полюбовный развод, каждая из сторон взяла часть вины на себя. Серж великодушно уступил жене свою долю прав на каннскую клинику, одних доходов от которой хватало, чтобы обеспечить ей комфортабельное существование. Новая пара обосновалась на вилле в Сент-Максиме, но Марк ни в чем не изменил своим холостяцким привычкам. Она побуждала его приложить хоть какие-то усилия ради карьеры в кинематографе;

он соглашался, но ничего не делал, просто ждал, когда подвернется новый сюжет для репортажа. Если она устраивала прием, он по большей части предпочитал заранее, прямо на кухне перекусить в одиночку, потом шел прогуляться по набережной. А возвращался перед самым уходом гостей, в свое оправдание ссылаясь на то, что пришлось срочно заканчивать монтаж. Рождение сына — это случилось в июне 1958-го — повергло его в видимое смятение. Несколько долгих минут он простоял, уставившись на ребенка, который был на него ошеломляюще похож: то же лицо с четкими чертами, те же выступающие скулы, те же большие зеленые глаза. Чуть погодя Жанин стала ему изменять. Он, вероятно, страдал, но утверждать это мудрено, поскольку, в сущности, он говорил чем дальше, тем меньше. Он строил маленькие алтари из гальки, из хвороста, из панцирей ракообразных. Потом их фотографировал с боковой подсветкой.

Репортаж о Сен-Тропе имел большой успех в определенных кругах, но на вопросы интервьюера из «Кайе дю синема» он отвечать отказался. Его акции еще больше повысились после краткой, весьма острой документальной ленты про группу «Привет, ребята!» и зарождение музыкального

стиля йе-йе, которую он сделал весной 1959-го. Художественный кинематограф его совершенно не занимал; он дважды отвечал отказом на предложение поработать с Годаром. В ту пору Жанин завязала знакомство с заезжими американцами, которые временами появлялись на Лазурном берегу. В Соединенных Штатах, в Калифорнии, как раз возникало нечто радикально новое. В Изалене, неподалеку от Биг Сура, создавались коммуны на основе сексуальной свободы и применения психоделических наркотиков, что, как предполагалось, способствует прорыву в область подсознательного. Она стала любовницей Франческо ди Меолы, американца итальянского происхождения, водившего знакомство с Аленом Гинзбергом и Олдосом Хаксли, и вошла в число основателей Изаленской общины.

В январе I960 года Марк отправился в Народный Китай готовить репортаж о строительстве коммунистического общества нового типа. В Сент-Максим он вернулся 23 июня, часа в три пополудни. Дом выглядел покинутым. Однако в салоне на ковре сидела по-турецки совершенно голая девчонка лет пятнадцати. В ответ на его

расспросы она буркнула: «Gone to the beach»[2], после чего снова впала в прострацию. В спальне Жанин, развалившись поперек кровати, храпел громадный, похоже пьяный, бородач. Марк навострил уши: ему послышался то ли плач, то ли стоны.

В комнате наверху царил ужасающий смрад; яростные лучи солнца, врываясь в окно, озаряли черно-белые квадраты мощенного плиткой пола. Его сын неуклюже ползал по этому полу, то и дело оскальзываясь в лужах мочи и кучах экскрементов. Он жмурился и протяжно скулил. Заметив, что в комнату кто-то вошел, малыш попытался спастись бегством. Отец взял его на руки; запуганное крошечное созданье дрожало в его объятиях.

Марк вышел из дому; в ближнем магазине он купил страховочное сиденье для младенца. Пробормотав короткое словцо в адрес Жанин, он забрался в машину, закрепил ребенка на сиденье и покатил в северном направлении. Неподалеку от Валанса он свернул к Центральному массиву. Время от времени, между двумя поворотами, он бросал взгляд на сына, дремлющего у него за

---

[2] Примечание: 2
Пойдем на пляж (англ.).

спиной, и странное чувство овладевало им.

С того дня Мишель рос под присмотром своей бабушки, которая уединенно жила в Йонне, в крае, откуда была родом. Мать его вскорости отбыла в Калифорнию, чтобы поселиться в коммуне ди Меолы. Мишелю суждено было повидать ее снова, лишь когда ему сравнялось пятнадцать. Впрочем, ему и своего родителя довелось видеть совсем недолго. В 1964 году тот отправился готовить репортаж о Тибете, в ту пору оккупированном китайскими войсками. В письме к своей матери он сообщал, что здоров и находится под большим впечатлением манифестаций тибетских буддистов, которых Китай неистово пытается изничтожить; потом всякая связь прервалась. Протест, с которым Франция обратилась к китайскому правительству, ничего не дал, и хотя тела не нашли, год спустя Марк был официально объявлен пропавшим без вести.

5

На дворе лето 1968-го, Мишелю одиннадцатый год. С двухлетнего возраста он живет вдвоем со своей бабушкой. Живут они в Шарни, что в департаменте Йонна, недалеко от Луаре. По утрам он встает рано, чтобы приготовить для бабушки завтрак; он заготовил специальную шпаргалку, записал в нее, как долго нужно настаивать чай, сколько требуется тартинок и прочие подобные вещи.

Зачастую он не выходит из своей комнаты до самого полдника. Читает Жюля Верна, комиксы про собаку Пифа или про «Клуб пяти», но чаще погружается в многотомное собрание «Вся Вселенная». Там рассказывается о сопротивлении материалов, о разных видах облаков, о пчелиных танцах. Есть и кое-что про Тадж-Махал, дворец, в глубокой древности построенный одним царем в память умершей царицы, про смерть Сократа, про геометрию, созданную Евклидом более двух тысячелетий тому назад.

Послеобеденные часы он проводит в саду. Сидит в коротких штанишках, прислонившись спиной к стволу черешни, наслаждаясь упругой

мягкостью травы. Греется на солнышке. Листья салата латука впивают солнечный жар; так же всасывают они и воду; он помнит, что на закате должен их полить. Он и здесь продолжает читать «Всю Вселенную» или какую-нибудь книжку из серии «Сто вопросов о…»; он впивает знания.

Подчас он отправляется на велике в поля. Со всей мочи жмет на педали, наполняя легкие ароматом вечности. Детская вечность коротка, но он того еще не ведает, а пейзаж проносится мимо.

В Шарни только и есть, что одна бакалейная лавка; однако по средам сюда заезжает грузовичок продавца мяса, а по пятницам — рыбного торговца; к субботнему полднику бабушка часто готовит треску под сливочным соусом. Мишель проводит в Шарни свое последнее лето, хотя сам пока не знает об этом. В начале года у бабушки был инсульт. Две ее дочери, живущие в парижском предместье, теперь подыскивают ей дом поближе к ним. Ей больше не под силу жить круглый год одной, ухаживать за своим садом.

С мальчишками-сверстниками Мишель играет редко, но отношения с ними у него неплохие. За ним признано право держаться несколько особняком; в школе он делает отменные успехи, учение ему дается без видимого усилия. По всем

предметам он неизменно первый, и разумеется, бабушка этим горда. Но товарищи не злятся на него, не изводят. Во время письменных работ он безотказно позволяет им списывать. Ждет, не переворачивает страницу, пока его сосед не закончит. И сидит в последнем ряду, наперекор своим выдающимся успехам. Хрупко благополучие его царства.

6

Однажды летним днем — он в ту пору еще обитал в Йонне — Мишель удрал в луга со своей кузиной Брижит. Брижит была хорошенькой, в высшей степени милой девушкой шестнадцати лет, которой несколько лет спустя предстояло выйти замуж за ужасающего болвана. Дело происходило летом 1967-го. Она взяла его за руки и закружила, заставляя бежать вокруг нее; потом они рухнули в изнеможении на свежескошенную траву Он прикорнул у ее горячей груди; юбчонку она носила коротенькую. Назавтра оба покрылись мелкими красными прыщами, тела их то и дело пожирал бешеный зуд. Thrombidium holosericum, в просторечии именуемый клещиком-краснотелкой, — весьма распространенный обитатель летних лугов. Диаметр его — около двух миллиметров. Он плотный, мясистый, очень выпуклый, ярко-красного цвета. Внедряясь своим хоботком в кожу млекопитающих, причиняет нестерпимое раздражение. Linguatulia rhinaria, или пятиустка, селится в носовой полости, лобных либо верхнечелюстных пазухах собак, а иногда и людей. Личинка овальна, с хвостиком

в задней части; во рту у нее жвалы, предназначенные для перфорации. Две пары выступов (или отростков) снабжены длинными коготками. Взрослая особь бела, ланцетовидна, достигает длины от 18 до 85 миллиметров. Туловище у нее уплощенное, кольчатое, прозрачное, покрыто хитиновыми иголочками.

В декабре 1968-го бабушка переселилась в департамент Сена-и-Марна, поближе к дочерям. Поначалу жизнь Мишеля от этого почти не изменилась. Окрестности Креси-ан-Бри, расположенного не более чем в полусотне километров от Парижа, в ту пору были еще сельской местностью. Красивый городок, сплошь из старинных домов, Коро написал здесь несколько своих полотен. Система каналов, подводящих сюда воды реки Гран-Морен, обеспечила Креси звание Брийской Венеции, во всяком случае так без зазрения совести величали его некоторые проспекты. Из здешних жителей мало кто ездит на работу в Париж. Большинство занято на маленьких местных предприятиях либо, того чаще, находит себе работу в Мо.

Два месяца спустя бабушка приобрела телевизор; тогда как раз на первом канале только что появилась реклама. В ночь на 21 июля 1969

года Мишель смог воочию наблюдать первые шаги человека на Луне. Семьсот миллионов телезрителей, рассеянных по поверхности планеты, присутствовали на этом спектакле одновременно с ним. Вероятно, те несколько часов, что продолжалась трансляция, можно назвать кульминационной точкой первого периода западной технологической мечты.

Прибыв в Креси-ан-Бри в разгар учебного года, он тем не менее легко адаптировался в местном общеобразовательном коллеже и в пятый класс перешел без затруднений. По четвергам он неизменно покупал «Пифа», который к тому времени обновился. В противоположность большинству читателей, он его покупал не ради полиграфических новшеств, а из-за самого сюжета, полного приключений. Наперекор пестрой смене эпох и декораций в этих историях на сцену выступали простые, глубокие нравственные ценности. Реньяр-викинг, Тедди Тед и Апач, «сын свирепых веков» Раган, Ходжа Насреддин, дурачивший визирей и халифов, — их всех сближала единая мораль. Мишель очень быстро это понял, и такое осознание должно было наложить на него неизгладимую печать. Впоследствии чтение Ницше не вызвало в нем ничего, кроме мимолетной

досады, а знакомство с Кантом лишь послужило подтверждением того, что он уже знал. Законы чистой морали единственны и всеобъемлющи. С течением времени она не подвергается ни ущербу, ни обогащению. Не обусловленная никакими историческими, экономическими, социологическими или культурными факторами, она ровным счетом ни от чего не зависит. Ничем не предопределяемая, она предопределяет. Беспричинная, сама служит причиной. Иными словами, это — абсолют.

Мораль, наблюдаемая на практике, всегда являет собой представленную в различных пропорциях смесь чистой нравственности с другими составляющими более или менее темного, по большей части религиозного происхождения. Чем значительнее в этой смеси доля первозданной морали, тем продолжительнее и благополучнее может быть существование общества, избравшего ее своей опорой. В идеальном случае общество, организованное согласно универсальным законам нравственности, было бы способно просуществовать вплоть до конца света.

Мишеля восхищали все герои «Пифа», но его любимцем, конечно же, был Черный Волк, индеец-одиночка, благородное средоточие всех

доблестей апачей, сиу и чейеннов. Черный Волк без конца странствовал по прериям, сопровождаемый своим конем Чинуком и волком Тупи. Он не только действовал, без колебаний бросаясь на помощь всем слабым и угнетенным, но и постоянно комментировал собственные поступки, причем опирался на трансцендентные этические категории, порой облекая их в поэтическую форму пословиц племени кри либо дакотов, порой и того проще — ссылаясь на «закон прерий». Мишель даже годы спустя волей-неволей признавал его идеальным типом кантианского героя, неизменно действующего так, «словно бы его максимы давали ему право заседать в законодательном собрании вселенского королевства избранных».

Телевизор занимал его меньше. Однако он со стесненным сердцем смотрел еженедельные передачи из серии «Жизнь животных». Газели и лани, эти грациозные млекопитающие, проводили свои дни в страхе. Львы и пантеры пребывали в состоянии тупой апатии, прерываемой краткими вспышками свирепости. Они убивали, терзали, пожирали слабых, старых или больных зверей, а потом вновь погружались в бессмысленную сонливость, пробуждаемые от нее разве что нападениями паразитов, что грызли их изнутри.

Между деревьев скользили змеи, цапая своими ядовитыми зубами птиц и млекопитающих, если только чей-нибудь хищный клюв внезапно не разрывал на части их собственное тело. Важный, глупый голос Клода Дарже сопровождал эти жестокие сцены комментариями, исполненными ничем не оправданного восторга. Мишеля трясло от отвращения, и в эти минуты он также ощущал, как растет в нем непререкаемая убежденность: в целом дикая природа, какова она есть, не что иное, как самая гнусная подлость; дикая природа в ее целостности не что иное, как оправдание тотального разрушения, всемирного геноцида, а предназначение человека на земле, может статься, в том и заключается, чтобы довести этот холокост до конца.

В апреле 1970-го «Пиф» вышел в свет с новым кунштюком, которому предстояло получить широкую известность и запомниться: то был так называемый «порошок жизни». К каждому номеру прилагался пакетик с икрой крошечных морских рачков Artemia salina. Эти организмы в продолжение нескольких тысячелетий пребывали в анабиозе. Процедура, необходимая для их оживления, была в меру сложна: следовало трое суток отстаивать воду, затем подогреть, всыпать

туда содержимое пакетика, мягко взболтать. В последующие дни надлежало держать сосуд вблизи от источника света и тепла, регулярно добавляя туда воду должной температуры, тем самым компенсируя выпаривание; осторожно перемешивать жидкость, дабы насытить ее кислородом. Через несколько недель в бутылке кишела масса полупрозрачных рачков, сказать по правде, малость неаппетитных, но бесспорно живых. Не зная, что с ними дальше делать, Мишель кончил тем, что выплеснул все в Гран-Морен.

В том же номере на двадцати страницах, посвященных рассказам о приключениях, проливался некоторый свет на те обстоятельства юности Рагана, что сделали его одиноким героем во глубине доисторических эпох. Когда он был еще ребенком, его племя погибло при извержении вулкана. Его отец, Крао Мудрый, умирая, не оставил ему в наследство ничего, кроме ожерелья с тремя когтями. Каждый из этих когтей символизировал одно из достоинств «тех, кто ходит прямо», людей то есть. Там был коготь честности, коготь отваги и самый важный из всех — коготь доброты. С тех пор Раган носил это ожерелье, стараясь быть достойным того, что оно означало.

Их дом в Креси по всей длине был обсажен че-

решнями, сад был чуть поменьше, чем в Йонне. Мишель и здесь читал «Всю Вселенную» и «Сто вопросов о…». Когда мальчику исполнилось двенадцать, бабушка ко дню рождения подарила ему набор «Юный химик». Химия была куда заманчивее, чем механика или электричество: и таинственнее, и многообразней. Химикаты покоились в своих коробочках, различные по цвету, форме и фактуре, словно сущности, разлученные навек. Однако стоит лишь столкнуть их между собой, и начнется бурная реакция, молниеносно образующая совершенно новые соединения.

Июльским днем, в один из тех послеполуденных часов, когда он читал в саду, Мишель пришел к мысли, что химические основы жизни могли бы быть в корне иными. Ту же роль, какую в составе молекул живой плоти играют молекулы углерода, кислорода и азота, могли бы исполнять молекулы с той же валентностью, но более высоким атомным весом. На другой планете, при иных температурных условиях и силе тяготения, молекулы жизни могли бы содержать кремний, серу и фосфор или, скажем, германий, селен и мышьяк, а то еще олово, теллур и сурьму. Не было никого, с кем он бы мог как следует потолковать об этих вещах, и потому бабушка по его просьбе

купила ему несколько книжек по биохимии.

7

Первое воспоминание Брюно относилось к его четырем годам; то было воспоминание об унижении. Он ходил тогда в детский сад в парке Лаперлье, в Алжире. Однажды осенним днем воспитательница объясняла мальчикам, как делать гирлянды из листьев. Маленькие девочки ждали, сидя на бугорке; печать тупой бабьей покорности уже проступала в их облике; почти на всех были белые платьица. Землю покрывал золотистый ковер листвы, по большей части каштанов и платанов. Его товарищи, один за другим заканчивая работу, подходили каждый к своей избраннице, чтобы обвить гирляндой ее шею. У него дело не двигалось, листья крошились в руках, все разваливалось. Как им объяснить, что он нуждается в любви? Как объяснить это без лиственной гирлянды? Он разрыдался от ярости; воспитательница не пришла к нему на помощь. Все было кончено, дети встали со своих мест, пошли прочь из парка. Вскорости тот детский сад закрылся.

Его дед и бабка занимали очень красивые апартаменты на бульваре Эдгара Кине. Дома буржуа в

центре Алжира были построены в том же стиле, что и парижские здания эпохи Наполеона III. Квартиру пересекал двадцатиметровый коридор, ведущий в гостиную с балконом, откуда можно было смотреть на белый город сверху. Даже много лет спустя, став разочарованным сорокалетним брюзгой, Брюно порой как воочию видел эту картину: он сам, четырех лет от роду, что было сил жмет на педали трехколесного велосипеда, катя по темному коридору к открытой сияющей двери балкона. Вероятно, именно в те мгновения он познал отпущенный ему максимум земного счастья.

В 1961 году дедушка умер. В нашем климате труп млекопитающего или птицы сначала привлекает некоторые виды мух (Musca, Curtonevra); когда разложение слегка затронет его, в игру вступают новые биологические виды, особенно Calliphora и Lucilia. Подвергаясь совокупному воздействию бактерий и пищеварительных соков, выделяемых червями, труп более или менее разжижается, превращаясь в среду масляно-кислого и аммиачного брожения. По истечении трех месяцев мухи завершают свое дело и уступают место бригаде жесткокрылых насекомых из рода Dermestes и чешуекрылых бабочек Aglossa

pinguinalis, питающихся преимущественно жирами. В ходе брожения белковой материи ее потребляют личинки Piophila petasionis и жесткокрылые рода Corynetes. Разложившийся труп, еще содержащий некоторое количество влаги, становится затем вотчиной клещей, которые высасывают из него последнюю сукровицу. Иссушенный таким образом и мумифицированный, он становится обиталищем новых пользователей — личинок мехового кожееда и кожееда-антренуса, гусениц бабочек Aglossa cuprealis и Tineola bisellelia. Они-то и завершают цикл.

Мысленно Брюно снова видит гроб красивого, глубокого черного цвета с серебряным крестом и деда в нем. Картина умиротворяющая, даже счастливая: дедушке, должно быть, хорошо в таком великолепном гробу. Позже ему придется узнать о существовании клещей и трупных личинок с именами второразрядных итальянских кинодив. И все-таки даже теперь образ дедушкина гроба встает перед его глазами как счастливое видение.

Еще он воочию представляет себе свою бабушку в день их приезда в Марсель, как она сидит на чемодане посреди выложенной плиткой кухни. По полу снуют тараканы. Вероятно, именно в тот

день ее рассудок пошатнулся. Всего за несколько недель она пережила смерть мужа, зрелище его агонии, поспешный отъезд из Алжира, тягостные поиски жилья в Марселе. Квартал, где они очутились, на северо-западе города, был грязен. Прежде она никогда не бывала во Франции. И дочь ее покинула, не приехала на погребение отца. Тут, наверное, крылась какая-то ошибка. Когда-то, кем-то совершенная ошибка.

Она оправилась и прожила еще пять лет. Обосновалась, купила мебель, поставила для Брюно кровать в столовой, записала его в начальную школу квартала. Каждый вечер приходила забирать его оттуда. Он стыдился этой маленькой старой женщины, дряхлой, высохшей, водившей его за ручку. У других были отцы и матери; дети разведенных родителей встречались в ту пору редко.

По ночам она снова и снова прокручивала в памяти этапы своей жизни, пришедшей к такому печальному концу. Потолок в квартире был низкий, летом стояла удушающая жара. Ей удавалось заснуть лишь перед самой зарей. Днем она бродила по квартире в стоптанных туфлях и, сама того не сознавая, вслух повторяла по пятьдесят раз подряд одни и те же фразы. У нее все

не шел из головы поступок дочери. «Не приехать на похороны родного отца…» Она блуждала из комнаты в комнату, порой не выпуская из рук половую тряпку или кастрюлю, забыв, зачем их взяла. «Похороны родного отца… Похороны родного отца…» Ее туфли шаркали по плиточному полу. Брюно испуганно замирал, съежившись в своей кровати; он понимал, что все это добром не кончится. Иногда она принималась за свое с самого утра, еще в домашнем халате и бигудях. «Алжир — это Франция…»; потом начиналось шарканье. Она бродила по двум комнатам из угла в угол, ее взгляд застывал, устремленный в одну невидимую точку. «Франция… Франция…» — твердил ее голос, постепенно слабея.

Она все еще оставалась хорошей кулинаркой, это была ее последняя отрада. Для Брюно она готовила вкусную и обильную еду, которой можно было бы накормить десять человек. Перцы в масле, анчоусы, картофельный салат: иногда подавалось пять различных закусок прежде основного блюда — фаршированных кабачков, зайца с оливками, по временам кус-кус. Только кондитерские изделия ей не слишком удавались, но в дни, когда получала пенсию, она приносила коробки с нугой и миндальным печеньем из Экса,

сливки с каштановой пудрой. Мало-помалу Брюно стал жирным, трусливым ребенком. Сама-то она почти ничего не ела. По воскресеньям она вставала попозже; он забирался к ней в постель, прижимался к ее тощему телу. Иногда он воображал, что встает ночью, берет нож и вонзает ей прямо в сердце; потом он видел самого себя на полу, всего в слезах, возле ее трупа, ему представлялось, что он и сам тут же умрет.

В конце 1966 года она получила письмо от дочери, узнавшей ее адрес от отца Брюно — они обменивались посланиями на каждое Рождество. Жанин не выразила особого сожаления о прошлом, вспомнив о нем лишь в одной фразе: «Я узнала о смерти папы и о твоем переезде». Между делом она сообщала, что покинула Калифорнию, вернулась на юг Франции и там поселилась; но адреса не дала.

Мартовским утром 1967 года, пытаясь приготовить кабачковые оладьи, старая женщина опрокинула сковороду с кипящим маслом. У нее хватило сил выйти из квартиры в коридор; ее стоны потревожили соседей. Когда Брюно возвратился вечером из школы, дома он застал мадам Аузи, что жила этажом выше; она повела его прямиком в больницу. Ему позволили войти

к бабушке на несколько минут; ее ожоги были скрыты под простынями. Она получила большую дозу морфина; тем не менее Брюно она узнала, взяла его руку в свои; потом мальчика увели. Ночью сердце остановилось.

Во второй раз Брюно пришлось столкнуться со смертью. И снова смысл происшедшего почти полностью ускользнул от него. Даже годы спустя, сдав контрольную работу по французскому языку или удачное сочинение на историческую тему, он говорил себе, что расскажет об этом бабушке. Конечно, он тут же вспоминал, что она умерла, но эта мысль, то пропадая, то возвращаясь, в сущности, не прерывала их диалога. Когда его допустили к участию в конкурсе на замещение должности лицейского преподавателя современной литературы, он долго обсуждал с нею свои заметки; впрочем, тогда он уже верил в ее присутствие только в минуты душевного помрачения. По такому случаю он купил две банки сливок с каштановой пудрой; то был их последний большой разговор. Выиграв конкурс и получив место преподавателя, он заметил, что больше не может выйти на контакт с нею; и тогда образ бабушки медленно растаял, скрылся за стеной.

На следующий день после похорон имела место

странная сцена. Его отец и мать, которых он видел впервые, спорили о том, что они станут с ним делать. Это происходило в столовой их марсельской квартиры. Брюно слушал, сидя на кровати. Всегда любопытно послушать, как другие говорят о тебе, особенно если они, по-видимому, не осознают твоего присутствия. Так и самому недолго потерять уверенность в собственном существовании, здесь есть своя прелесть. В общем, казалось, будто все это не имеет к нему прямого касательства. А между тем этому разговору предстояло сыграть решающую роль в его жизни, и он множество раз будет вспоминать его, хотя так никогда и не сумеет почувствовать настоящее волнение. Он не сможет восстановить прямую, кровную связь между собой и двумя взрослыми людьми, что в тот день в столовой особенно поразили его своей высокорослостью и моложавой повадкой. В сентябре Брюно должен был пойти в шестой класс; было решено, что для него подыщут пансион и что отец будет брать его к себе в Париж на уик-энды. Мать постарается время от времени забирать его на каникулы. У Брюно возражений не было: эти двое не показались ему определенно враждебными. Настоящей жизнью, как ни крути, была для него жизнь с бабушкой.

8
Животное омега

Брюно наклоняется над раковиной умывальника. Сбрасывает пижамную курточку. Его белый маленький живот сморщился, прижатый к фаянсу раковины. Ему одиннадцать лет. Он хочет почистить зубы, как делает это каждый вечер. Он надеется, что его туалет обойдется без неприятностей. Тем не менее Вильмар тут как тут, приближается, пока еще один, и толкает Брюно в плечо. Он начинает отступать, дрожа от страха; он примерно знает, что сейчас будет. «Отстань…» — слабо бормочет он.

Подходит Пеле. Этот низкоросл, коренаст, чрезвычайно силен. Пеле с размаху влепляет Брюно пощечину, тот плачет. Потом они толкают его на пол, хватают за ноги и тащат волоком. Возле уборной они срывают с него пижамные штаны. Член у него маленький, еще детский, растительности совсем нет. Они вдвоем дергают его за волосы, заставляя открыть рот. Пеле тычет ему в лицо сортирной шваброй. Он чувствует вкус дерьма. Он вопит.

Подходит Брассер; ему четырнадцать, он старший из шестиклассников. Он достает свой член, который кажется Брюно огромным, толстым. Он становится над ним и писает ему на лицо. Вчера он заставил Брюно сосать ему член, а потом лизать его зад; но нынче вечером он не этого хочет. «Клеман, у тебя хер совсем голый, — говорит он, издеваясь, — надо его побрить, чтоб волосы лучше росли…» Другие по знаку своего вожака обмазывают член мальчика кремом для бритья. Брассер раскрывает лезвие бритвы, примеривается. От страха Брюно обкакивается.

Мартовской ночью 1968 года надзиратель обнаружил его, сжавшегося в комок, голого, обмазанного нечистотами, в сортире в дальнем конце двора. Распорядился, чтобы ему принесли пижаму, и отвел его к старшему надзирателю Коэну. Брюно окаменел от ужаса при одной мысли, что его заставят говорить, что придется назвать имя Брассера. Но Коэн, хоть его и подняли с постели среди ночи, принял мальчика ласково. Не в пример надзирателям, находившимся под его началом, он обращался к воспитанникам на «вы». В его послужном списке это был третий, и притом не самый худший пансион; он знал, что жертвы почти всегда отказываются называть имена сво-

их палачей. Все, что он мог сделать, это наложить взыскание на надзирателя, ответственного за порядок в дортуаре шестиклассников. Большинство этих ребят было брошено на произвол судьбы собственными родителями, и вся власть над ними была сосредоточена в его руках. После ухода Брюно он сварил себе кофе, перелистал список учащихся шестого класса. Он заподозрил Пеле и Брассера, но у него не было ни единой улики. Если удастся припереть их к стенке, он доведет дело до исключения. Он не питал ни малейших иллюзии относительно свойств человеческой природы, если она не подчинена контролю закона. Со времени своего прибытия в пансион в Мо он сумел внушить воспитанникам страх. Коэн знал, что без этого последнего бастиона законности, которую он здесь представлял, расправам над мальчиками вроде Брюно не будет никакого предела.

Оставленный в шестом классе на второй год, Брюно воспринял это с облегчением. Пеле, Брассер и Вильмар перешли в пятый и находились теперь в другом дортуаре. К несчастью, после министерских директив, вызванных событиями 68-го, было решено сократить число надзирателей пансионов, взамен учредив систему самодис-

циплины; такая мера отвечала духу времени, к тому же с ней сопрягалось такое преимущество, как сокращение расходов на выплату жалованья. Проникнуть из одного дортуара в другой стало проще; пятиклассники завели обычай не реже чем раз в неделю устраивать набеги на дортуар младших; к себе они возвращались, прихватив одну, иногда две жертвы, и сеанс начинался. В конце декабря Жан-Мишель Кемпф, худенький пугливый мальчик, поступивший в пансион в начале года, чтобы избавиться от своих мучителей, выпрыгнул в окно. Падение могло оказаться смертельным, ему еще повезло, что отделался множественными переломами. Лодыжка была сильно повреждена, раздробленную кость едва восстановили. Было ясно, что мальчик останется калекой. Коэн учинил генеральный допрос, усиливший его подозрения; Пеле, несмотря на упорное запирательство, он исключил сроком на три дня. Практически все звериные сообщества основываются на системе подчинения в зависимости от соотношения сил их членов. Для этой системы характерна строгая иерархичность: самого сильного самца группы именуют «животное альфа», того, кто занимает второе место по силе, называют «животным бета», и так далее

вплоть до «животного омега» — слабейшего в иерархии. Позиция в ней обыкновенно определяется посредством ритуала боя. Животные рангом пониже, пытаясь повысить свой статус, провоцируют более привилегированных на схватку, зная, что в случае победы их положение улучшится. Высокий ранг дает некоторые преимущества: право насыщаться первым, совокупляться с самками стаи. В то же время слабейшее из животных, как правило, имеет возможность уклоняться от схваток, принимая позу «покорности» (приседая, подставляя зад). Ситуация, в которой находился Брюно, была не столь благоприятной. Владычество на основании грубой силы, присущее всем животным сообществам, уже у шимпанзе (Pan troglodytes) сопровождается актами неоправданной жестокости в отношении слабейших. Эта тенденция достигает своего полного развития в примитивных людских сообществах и в обществах развитых среди детей и подростков. *Жалость,* или идентификация чужих страданий со своими собственными, возникает позже; далее эта самая жалость быстро систематизируется, преобразуясь в *нравственный закон.* В лицейском же пансионе в Мо олицетворением нравственного закона служил Жан Коэн, и он был полон

решимости не отклоняться от этого пути. Он ни в малой степени не признавал подтасовкой то использование концепций Ницше, к которому прибегли нацисты: отрицая сострадание, ставя себя выше добра и зла, провозглашая всевластие воли, Ницше, по его мнению, естественным путем шел к фашизму. Образовательный уровень и выслуга лет Коэна позволяли ему получить должность директора лицея; если он оставался на посту главного надзирателя, то исключительно добровольно. Он отправил в академическую инспекцию несколько сообщений, в которых сетовал на сокращение штата приютских надзирателей; эти сообщения никаких последствий не имели. В зоосаду самец кенгуру (macropodides) зачастую ведет себя так, будто принимает вертикальное положение тела служителя зоопарка за вызов на битву. Агрессивного кенгуру можно утихомирить, если служитель примет согбенную позу, характерную для смирного кенгуру. Жану Коэну вовсе не хотелось превращаться в смирного кенгуру. Злобность Мишеля Брассера, будучи нормальным проявлением эгоизма, присутствующим у животных, находящихся на более низкой ступени эволюции, уже привела к тому, что один из его товарищей остался на всю жизнь калекой;

мальчикам типа Брюно она, по всей вероятности, могла нанести необратимые психологические травмы. Вызывая Брассера к себе в кабинет для допроса, Коэн и не думал скрывать от него ни свое презрение, ни намерение добиться его отчисления из пансиона.

Воскресными вечерами, когда отец, как всегда, отвозил его на своем «мерседесе» назад в пансион, Брюно начинала бить дрожь при одном приближении к Нантей-ле-Мо. Приемную лицея украшали барельефы с изображениями знаменитостей, которые учились здесь встарь: Куртелина и Муассана. Жорж Куртелин — французский писатель, автор рассказов, где в ироническом ключе представлена абсурдность буржуазного быта и нравов бюрократии. Анри Муассан — французский ученый-химик (в 1906 году получивший Нобелевскую премию), который нашел применение электрической печи, выделил кремний и фтор. Отец Брюно поспевал обычно как раз к началу семичасовой трапезы. Как правило, Брюно не удавалось перекусить раньше полудня, когда было принято кормить воспитанников, приходивших в пансион из дома (вечер они проводили с теми, кто ночевал в пансионе). За стол садились восемь человек, лучшие места доставались тем,

кто постарше. Они себе накладывали помногу, а потом плевали в тарелку, чтобы малыши не могли за ними доесть.

Каждое воскресенье Брюно думал, не поговорить ли с отцом открыто, но в конце концов приходил к заключению, что это невозможно. Отец полагал, что мальчик должен уметь за себя постоять. И в самом деле некоторым парням не старше его удавалось, отругиваясь, брыкаясь, рано или поздно заставить уважать себя. Серж Клеман в свои сорок два был человеком, что называется, преуспевающим. В то время как его родители держали бакалейный магазин в Пти-Кламаре, у него к этому времени были три косметологические клиники: одна в Нейи, вторая в Везинэ, третья неподалеку от Лозанны, в Швейцарии. Когда его бывшая жена собралась в Калифорнию, он сверх того получил место заведующего клиникой в Канне, откуда ему перечислялась половина дохода. Сам он давно не оперировал, но был, как обычно говорят, «хорошим управленцем». Он не слишком понимал, как ему вести себя с сыном. Вероятно, он желал ему добра, но при условии, что это не потребует от него слишком большой траты времени; он испытывал легкое чувство вины. В конце недели,

когда Брюно приезжал к нему, он обычно воздерживался от встреч со своими любовницами. Он покупал в домовой кухне готовые блюда, они обедали с глазу на глаз; потом смотрели телевизор. В игры с сыном он играть не умел. Иногда Брюно вставал ночью, пробирался к холодильнику. Он насыпал в чашку воздушную кукурузу, разбавлял молоком или свежими сливками, засыпал все это толстым слоем сахара. Потом принимался есть. Так он съедал несколько чашек, ел, пока тошно не станет. Его живот тяжелел. Было приятно.

9

В плане эволюции нравов 1970 год был отмечен быстрым распространением сбыта и потребления эротической продукции, наперекор все еще бдительной цензуре, которая пыталась вмешаться. Мюзикл «Волосы», призванный сделать достоянием широкой публики «сексуальную революцию» шестидесятых, имел большой успех. Гологрудые купальщицы быстро заполонили пляжи южного побережья. На протяжении нескольких месяцев число парижских секс-шопов выросло от трех до сорока пяти.

В сентябре Мишель пошел в четвертый класс и начал изучать немецкий в качестве второго из живых языков. Занятия немецким и стали причиной его знакомства с Аннабель.

Представления Мишеля о счастье были в ту пору незамысловаты. В сущности, он никогда по-настоящему и не мечтал о нем. Понятия, которые он мог иметь на сей счет, он почерпнул от своей бабушки, которая передала их детям. Его бабушка была католичкой и голосовала за де Голля; обе ее дочери вышли замуж за коммунистов, но от

этого мало что изменилось. Вот каковы идеи поколения, в детские годы пережившего лишения войны, а в двадцать Освобождение, вот что за мир они хотели оставить в наследство своим потомкам. Женщина остается в лоне семьи и ведет домашнее хозяйство (но ей очень помогают кухонные электроприборы, у нее освобождается много времени, которое она посвящает семье). Мужчина работает вне дома (однако благодаря роботизации его труд становится не столь тяжелым и продолжительным). Супружеские пары счастливы и верны друг другу; они обитают в уютных домах за чертой города. На досуге увлекаются ручными поделками, занимаются садоводством, предаются изящным искусствам. Иногда предпочитают путешествовать, интересуются обычаями и культурой иных краев, дальних стран.

Якоб Вилкенинг родился в Леувардене, в Западной Фрисландии; попав во Францию четырех лет от роду, он сохранил лишь весьма туманное понятие о своем голландском происхождении. В 1946 году он взял в жены сестру одного из своих ближайших друзей; ей было семнадцать, и она не знала других мужчин. Послужив какое-то время на заводе, выпускавшем микроскопы, он открыл собственное предприятие по изготовле-

нию точных оптических приборов, работавшее преимущественно как субподрядчик вместе с Анженье и Пате. Японцы в то время не представляли опасности как конкуренты; Франция производила великолепные объективы, некоторые из них могли соперничать с изделиями Шнейдера и Цейса; его предприятие процветало. У супругов было двое сыновей, сорок восьмого и пятьдесят первого года рождения; потом, много позже, в 1958-м, на свет появилась Аннабель.

Рожденная в счастливой семье (за двадцать пять лет своего брака ее родители ни разу всерьез не поссорились), Аннабель не сомневалась, что ее судьба будет такой же. Задумываться об этом она начала в то лето, что предшествовало их встрече с Мишелем. Где-то в мире жил юноша, которого она не знала, он тем более не знал ее, но он — тот, с кем ей суждено прожить всю жизнь. Она постарается сделать его счастливым, и он, он тоже сделает все возможное, чтобы дать ей счастье; но она не представляла себе, какой он, на кого может походить; это ее очень беспокоило. Читательница ее лет, приславшая письмо в «Журналь де Микки», была озабочена тем же вопросом. Ответили ей как можно успокоительней, финальная фраза звучала так: «Не тревожься,

малютка Корали: ты сумеешь его узнать».

Они стали заходить друг к другу, чтобы вместе готовить домашние задания по немецкому. Мишель жил на другой стороне улицы, примерно метрах в пятидесяти. Они чем дальше, тем чаще стали проводить вместе воскресенья и четверги; он являлся к ней сразу же после полудня. «Аннабель, твой жених идет», — объявлял ее братец, выглянув в сад. Она краснела, но родители, те воздерживались от насмешек над ней. Мишель им очень нравился, и она догадывалась об этом.

Это был странный мальчик он ничего не смыслил ни в футболе, ни в певцах из варьете. Одноклассники не испытывали к нему антипатии, он болтал со многими, но всегда держался на определенном расстоянии. До появления Аннабель никто из школьных товарищей ни разу не побывал у него дома. Он привык к одиноким мечтам и размышлениям. Мало-помалу привыкал он и к присутствию своей подружки. Часто они садились на велосипед и поднимались по склону Вуланжи; потом блуждали по лугам и лесам пешком, взбирались на холм, с которого открывался вид на долину реки Гран-Морен. Они бродили среди зарослей высокой травы, учась понимать друг друга.

10
Всему виной Каролина Иессайян

С начала того же 1970 года положение Брюно в пансионе немного улучшилось; он перешел в четвертый класс и считался отныне старшеклассником. Начиная с четвертого класса и вплоть до выпуска ученики переселялись в другое крыло здания, в дортуары, разделенные на боксы по четыре кровати в каждом. В глазах своих палачей он был уже полностью унижен, размолот в пыль; они мало-помалу переключались на новые жертвы. В том же году Брюно стал интересоваться девочками. Время от времени, не часто, мужской и женский пансионы устраивали совместные прогулки. По четвергам после обеда, если стояла хорошая погода, они отправлялись на некое подобие пляжа, что тянулся вдоль берегов Марны в окрестностях Мо. Там в одном кафе было полно столов для электрического бильярда и настольного футбола, однако главной местной достопримечательностью являлся питон в стеклянном аквариуме. Мальчишки развлекались, дразня животное: если постучать пальцем по

стеклу, вибрация, передаваясь питону, приводила его в бешенство, он начинал бросаться на стенку, с силой бился о стекло, пока не падал в изнеможении. Однажды октябрьским днем, после полудня, Брюно разговорился с Патрицией Хохвайлер; девочка была сиротой и покидала пансион только во время каникул, когда уезжала к дяде в Эльзас. Тоненькая, светловолосая, она говорила очень быстро, и на ее подвижном лице порой проступала странная улыбка. Неделю спустя он получил жестокий удар, увидев ее сидящей раздвинув ноги на коленях Брассера; тот держал ее за талию и взасос целовал. Тем не менее Брюно не вывел из этого никаких кардинальных умозаключений. Если скоты, которые много лет терроризировали его, пользуются успехом у девочек, то просто потому, что только они и осмеливаются их кадрить. К тому же он заметил, что Пеле, Вильмар и даже Брассер избегают бить и унижать малышей, когда поблизости появляется девочка.

Начиная с четвертого класса воспитанники получали право записываться в клуб любителей кино. Сеансы проводились по четвергам, вечером в актовом зале мужского пансиона; там собирались и мальчики, и девочки. Однажды

декабрьским вечером перед показом «Вампира Носферату» Брюно сел рядом с Каролиной Иессайян. Когда фильм подходил к концу, он, уже больше часа только о том и думавший, очень осторожно положил левую руку ей на коленку. Несколько восхитительных мгновений (секунд пять? или шесть? самое большее — десять) ничего не происходило. Она не шевелилась. Затем, ни слова не говоря, без резких движений, отстранила его руку. Позже, и притом весьма часто, давая себя пососать какой-нибудь потаскушке, Брюно волей-неволей вспоминал те несколько пугающе блаженных секунд; приходилось ему вспоминать и тот момент, когда Каролина Иессайян мягко оттолкнула его руку. В глубине души мальчика, за всеми его сексуальными вожделениями, таилось что-то бесконечно нежное, чистое. Им владело простодушное желание коснуться любящего тела, ощутить объятие любящих рук. Нежность превыше соблазна, потому-то утратить надежду так трудно.

Почему Брюно в тот вечер положил свою ладонь на коленку Каролины Иессайян, а не взял ее за локоть (на что она бы, по всей вероятности, согласилась, и с этого, может статься, начался бы между ними прекрасный роман, ведь она сама

заговорила с ним, когда они стояли в очереди, ей хотелось, чтобы он сел рядом с ней, и она нарочно положила руку на подлокотник, разделявший их сиденья; на самом-то деле она давно приметила Брюно, он ей очень нравился, и она горячо надеялась, что в этот вечер он возьмет ее за руку)? Наверное, вся беда в том, что ляжка Каролины Иессайян была оголена, а он в простоте душевной не подумал, что это ничего не значило. По мере того как, взрослея, Брюно с отвращением припоминал переживания своих детских лет, сущность его жребия, освобождаясь от мелочей, представала перед ним в холодном свете непоправимой очевидности. В тот декабрьский вечер 1970 года Каролина Иессайян, без сомнения, могла бы исцелить его от горечи и унижений раннего детства; после же этого первого фиаско (ибо с тех пор как она мягко отвела его руку, он так никогда больше и не осмелился сказать ей еще хоть слово) все стало куда сложнее. А между тем Каролина Иессайян по своей всечеловеческой сути решительно ни в чем не была повинна. Напротив, эта армяночка с кротким взглядом ягненка и длинными черными курчавыми волосами, вследствие безвыходных семейных передряг заброшенная в мрачные стены женского пансиона при лицее в Мо, сама

по себе являлась живым доводом в пользу рода человеческого. Если все надежды рухнули в безотрадную пустоту, причиной тому был пустяк, подробность, почти гротескная в своем ничтожестве. Тридцать лет спустя Брюно был совершенно убежден: если признать за анекдотическими деталями случившегося их подлинное значение, можно подвести следующий итог: всему виной была мини-юбка Каролины Иессайян.

Кладя руку ей на коленку, Брюно, по существу, не больше и не меньше как просил Каролину Иессайян выйти за него замуж. Первоначальная пора его отрочества пришлась на переходную эпоху. Если не считать немногих предтеч — кстати, его родители могли служить достаточно болезненным примером этой человеческой разновидности, — представители старшего поколения установили чрезвычайно крепкую связь между супружеством, сексуальными влечениями и любовью. Прогрессирующий рост заработной платы, быстрое развитие экономики пятидесятых должны были привести к упразднению такого понятия как «брак по расчету», имеющего теперь смысл лишь для тех все более малочисленных слоев, для которых понятие наследственного достояния сохранило реальное значение. Ка-

толическая церковь, всегда неодобрительно взиравшая на половые связи вне супружества, с энтузиазмом восприняла этот поворот общества к «браку по любви», более созвучному ее теориям («Мужчина и женщина — Господни творения»), способному стать первым шагом к установлению цивилизации мира, любви и верности, в чем она видела свою естественную задачу. Коммунистическая партия, единственная духовная сила тех лет, по своей значимости сопоставимая с католической церковью, отстаивала едва ли не те же цели. Итак, юноши и девушки пятидесятых были единодушны в своей нетерпеливой жажде *влюбиться,* тем паче, что отток населения из сельской местности, сопровождаемый упадком деревенских общин, позволял изрядно расширить сферу поисков невесты или суженого, в то время как сами эти поиски приобретали чрезвычайное значение (недаром именно в сентябре 1955-го в Сарселе был брошен лозунг так называемой «политики тесных сообществ», очевидным образом сузивший понятие социальности до масштабов семейного очага). Таким образом можно, не рискуя совершить серьезную ошибку определить пятидесятые и начало шестидесятых как настоящий *золотой век любовного чувства,*

образ которого и поныне сохраняют для нас песни Жана Ферра и ранней Франсуаз Арди.

Одновременно возникает массовый спрос на возбуждающее чувственность искусство североамериканского происхождения (песни Элвиса Пресли, фильмы с Мерилин Монро); такого рода продукция распространяется по всей Западной Европе. Заодно с холодильниками и стиральными машинами, этим материальным подкреплением супружеского счастья, европейский рынок затопили транзисторы и пикапы, коим было суждено сыграть прогрессивную роль в создании современной модели «молодежного флирта».

Идеологический конфликт, который подспудно зрел на всем протяжении шестидесятых, в начале семидесятых вырвался наружу в таких изданиях, как «Двадцать лет» и «Мадемуазель нежного возраста», сосредоточившись вокруг центрального вопроса эпохи: «Что можно себе позволить до брака?» В ту же пору чувственно-гедонистические тенденции, идущие из США, получили мощное подкрепление со стороны органов прессы анархического направления: таковы первые номера «Актюэль» (октябрь 1970-го) и «Чарли-Эбдо» (ноябрь). Принципиально отрицая капитализм

в смысле его политических перспектив, сии периодические издания в основном приветствовали индустрию развлечений: их коньком были разрушение основ иудео-христианской морали, апология молодости и личной свободы. Раздираемые противоречивыми побуждениями, эти журналы для юных девиц придерживались компромиссной позиции, которую можно резюмировать следующим образом: на первых порах (скажем, между двенадцатью и восемнадцатью годами) юная особа «гуляет» со многими парнями (впрочем, семантическая неопределенность термина «гулять» отражала реальную двусмысленность, присущую мироощущению эпохи: если девочка «гуляет» с мальчиком, как это понимать в точности? Подразумеваются ли здесь поцелуи в губы, игры посущественней вроде петтинга и дип-петтинга или половая связь в собственном смысле слова? Следует ли позволять мальчику трогать вам грудь? Нужно ли ему снимать штанишки? И как поступать с его органами?) Для Патриции Хохвайлер, для Каролины Иессайян все это было далеко не просто; любимые журналы отвечали на их вопросы невнятно, противоречиво. В более зрелые годы (уже получив степень бакалавра) девушка испытывает потребность в

«более серьезном переживании» (позже немецкие журналы подберут для этого термин «big love»), тут уж основной вопрос будет звучать так: «Должна ли ты жить с Джереми?»; это и есть второй, в принципе решающий период. Речь, в сущности, шла о том, чтобы по анархическому произволу совместить на сопредельных жизненных этапах две противоположные модели поведения, — крайняя уязвимость половинчатых решений, которые подобным образом журналы навязывали юным девушкам, должна была проявиться лишь несколькими годами позже, когда развод стал явлением повсеместным. Тем не менее факт остается фактом: эта невероятная схема смогла на несколько лет овладеть умами молоденьких особ, при всем том слишком наивных и оглушенных стремительностью перемен, совершающихся вокруг, чтобы счесть такую жизненную модель правдоподобной и чистосердечно попытаться усвоить ее.

Для Аннабель все было по-другому. По вечерам, засыпая, она думала о Мишеле; ее радовало, что, проснувшись завтра, она снова его увидит. Когда во время школьных занятий случалось что-либо забавное или любопытное, она тотчас начинала предвкушать тот момент, когда сможет расска-

зать об этом ему. В те дни, когда они почему-либо не могли встретиться, она испытывала беспокойство и тоску. Во время летних каникул (у ее родителей был дом в Жиронде) она что ни день ему писала. Если она и не признавалась в том открыто, если ее письма не были пламенными и больше походили на послания, какие она могла бы писать брату-ровеснику, если чувство, наполнявшее жизнь этой девочки, скорее окутывало ее облаком нежности, чем опаляло всепожирающей страстью, то истина тем не менее постепенно открывалась ее сознанию, и она была такова: с первых шагов, не ища и даже, собственно, не желая того, она обрела *большую любовь*. Первый встречный оказался лучшим, другого ей было не нужно, даже речи об этом не могло быть. «Мадемуазель нежного возраста» гласила, что подобное возможно: забивать этим себе голову не стоит, в действительности такое почти никогда не встречается, однако в некоторых, чрезвычайно редких, едва ли не сказочных, но тем не менее бесспорно достоверных случаях это может происходить. И в этом самое большое счастье, какое доступно человеку на земле.

11

С тех времен у Мишеля сохранилась фотография, снятая во время пасхальных каникул 1971 года в саду родителей Аннабель; ее отец спрятал шоколадные пасхальные яйца под деревьями и на цветочных клумбах. На фотографии Аннабель изображена среди форситий; всецело поглощенная поисками, она с детской серьезностью раздвигает кусты. Черты ее лица начинают приобретать тонкость, уже можно догадаться, какой необыкновенной красавицей она станет. Ее грудь слегка обрисовывается под пуловером. То был последний раз, когда на Пасху у них были шоколадные яйца: год спустя они были уже слишком большими для подобных забав.

Годам к тринадцати под действием прогестерона и эстрадиола, выделяемых яичниками, на грудях и ягодицах девушки образуются жировые подушечки. Если все складывается наилучшим образом, эти части тела приобретают вид гармонических округлостей; тогда их созерцание рождает в мужчине порывы вожделения. У Аннабель было прелестное тело. Как у ее матери в этом возрасте. Но лицо у матери было лишь приятное,

привлекательное, не более. Ничто не предвещало мучительной вспышки красоты Аннабель, от которой матери делалось не по себе. Не иначе как от отца, от голландской ветви семейства Аннабель достались большие голубые глаза, ослепительный водопад белокурых волос; но только небывалая морфогенетическая случайность могла создать ее лицо, эти черты, потрясающие в своей чистоте. Девушка, обделенная красотой, чувствует себя несчастной, она теряет надежду быть любимой. Разумеется, никто не насмехается над ней, не обходится с нею жестоко, но она словно невидимка — когда она проходит, ничей взгляд не провожает ее. Красота чрезвычайная, красота слишком сильно превосходящая обычную прелесть свежей, соблазнительной юности, производит впечатление сверхъестественности, в ней чудится неизбежное предвестие трагического жребия. Аннабель в свои пятнадцать лет стала одной из тех весьма редких девушек, при виде которых мужчины — все, без различия возраста и положения, — замирают, пораженные; когда такая девушка просто идет по улице заштатного города, мимо торговых лавок, это вызывает ускорение сердечного ритма у юнцов и зрелых мужчин, а у стариков — ворчливый

ропот сожаления. Она быстро заметила, что при ее появлении где бы то ни было, хоть в кафе, хоть в лекционном зале, все замолкают, но прошли годы, прежде чем она полностью осознала причину этого молчания. В коллеже в Креси-ан-Бри тот факт, что «она с Мишелем», был общепризнан; но, по правде говоря, и не будь этого, никто из парней все равно бы не посмел предпринять что-либо, чтобы сблизиться с ней. В жизни необычайно красивых девушек это одно из главных осложнений: только видавшие виды бабники, развязные и циничные, чувствуют себя с ними свободно; таким образом, сокровище их невинности обычно достается типам самого низкого пошиба, что и становится часто первой стадией непоправимого краха.

В сентябре 1972 года Мишель пошел во второй класс лицея в Мо. Аннабель была в третьем, ей предстояло пробыть в коллеже годом дольше. Из лицея он возвращался поездом, пересаживаясь в Эбли на «кукушку». До Креси он по обыкновению добирался в 18.33; Аннабель ждала его на вокзале. Они бродили вдвоем по улицам городка. Иногда — довольно редко — заходили в кафе. Теперь Аннабель знала, что не сегодня-завтра наступит день, когда Мишель захочет ее обнять, ласкать ее

тело, преображение которого она ощущала. Она ждала этого момента без нетерпения, но и без страха: ее не покидало доверие.

Если основные свойства сексуального поведения врожденны, то механизм приведения их в действие во многом определяется обстоятельствами первых лет жизни, особенно это касается птиц и млекопитающих. Насущную потребность в предварительных тактильных контактах с соответствующими органами, по-видимому, испытывают собаки, кошки, крысы, морские свинки и макаки-резусы (Macaca mulatta). У самца крысы отсутствие в детском возрасте контакта с матерью приводит к весьма серьезным извращениям в половом поведении, в частности к заторможенности в процессе ухаживания. Если бы от этого зависела его жизнь (кстати, в немалой степени она действительно зависела от этого), Мишель даже тогда не мог бы поцеловать Аннабель. Вечером, когда он с портфелем в руке выходил из «кукушки», она часто так радовалась при виде его, что буквально бросалась к нему на шею. Тогда они на несколько мгновений замирали в блаженном параличе и только после этого начинали разговор.

Брюно тоже учился в лицее Мо и тоже во втором

классе, но в другом; ему было известно, что у его матери есть еще один сын от другого отца; ничего больше он не знал. Мать он видел очень редко. Два раза он во время каникул побывал на вилле, которую она занимала в Касси. Она принимала у себя много молодых людей, которые появлялись и исчезали. Странствующие юнцы. Из тех, кого расхожая пресса называла «хиппи». По существу, они не работали: пока жили у Жанин, она их содержала; свое имя она изменила, пожелав, чтобы ее называли Джейн. Итак, они жили на доходы клиники косметической хирургии, основанной ее бывшим мужем, то есть в конечном счете паразитировали на желании некоторых женщин, имеющих на то средства, бороться с неизбежным увяданием и врожденными недостатками наружности. Хиппи плескались в бухточках нагишом. Брюно отказывался снять плавки. Он казался сам себе белесым, мелкорослым, отталкивающим и жирным. Иногда его мать пускала кого-нибудь из парней к себе в постель. Ей было уже сорок пять, ее груди отощали и малость обвисли, но черты лица оставались великолепными. Брюно раза по три на дню одолевал соблазн. Округлости молодых женщин были так близки, доступны, подчас его отделяло от них расстояние меньше метра,

однако Брюно как нельзя лучше понимал, что путь к ним ему заказан: другие парни были выше, крепче, их загар отливал бронзой. Годы спустя Брюно пришел к выводу, что круг мелких буржуа, мир департаментских служащих, чиновников невысокого ранга много терпимее, приветливее, в нем больше открытости, нежели в среде молодых маргиналов, каковую представляли в ту эпоху хиппи. «Можно ведь так вырядиться, будто ты из респектабельных, — утешал себя Брюно, — и тогда они тебя примут. Мне для этого достаточно только обзавестись костюмом, рубашкой, галстуком — за все про все франков 800, если покупать в „C&A“ на дешевой распродаже; а там, собственно, практически всего-то и надо, что галстук научиться завязывать. Ну, правда, есть еще такая проблема как автомобиль — по сути, это единственная сложность в жизни человека среднего класса; но и с этим справиться можно: взять кредит, поработать несколько лет, расплатиться, и все тут. А вот прикидываться маргиналом, мне, напротив, нет никакого смысла: я и не так молод, и не столь красив, и не очень-то *cool.* Волосы у меня редеют, я склонен к полноте, а старея, буду становиться все чувствительнее и беспокойней, придется все сильнее страдать от знаков прене-

брежения и неприязни. Одним словом, мне не хватает естественности, то есть, иначе говоря, я не в достаточной мере *животное* – вот уж изъян поистине непоправимый: что бы я ни говорил, ни делал, ни покупал, никогда мне этого не исправить, ведь такого рода недостаток отмечен всей безысходностью врожденного уродства». Со времени своего первого пребывания у матери Брюно осознал, что хиппи никогда не примут его; он не был и не имел надежды стать привлекательным самцом. По ночам ему снились красивые голые груди. В ту же пору он начал зачитываться Кафкой. Поначалу он ощутил холод, потаенное оледенение души; несколько часов спустя после того как был дочитан «Процесс», он все еще чувствовал себя отяжелевшим, обессиленным. До него вдруг дошло, что этот замедленный, клейменный стыдом мир, где живые существа блуждают, сталкиваясь в космической пустоте, но никакая близость между ними во веки веков невозможна, в точности отражает мир его сознания. Холодный, тягучий. Если где-то существовало тепло, оно пряталось в единственном горячем месте — между ног у женщин; но этот источник тепла был недостижим.

Становилось все очевиднее, что дела Брюно

плохи: друзей у него нет, девушки пугают его, и вся его юность — одно сплошное удручающее поражение. Осознав это, его отец ощутил, как на него наваливается все возрастающее чувство вины. На Рождество 1972 года он настоял на встрече со своей бывшей женой, чтобы обсудить происходящее. В ходе переговоров обнаружилось, что сводный брат Брюно обучается в том же лицее, также во втором классе (только группа другая) и что они никогда там не встречались; это его больно задело, как отвратительный признак семейного распада, за который они оба были в ответе. Впервые проявив волю, он добился, чтобы Жанин возобновила общение со своим вторым сыном, попыталась исправить то, что еще может быть поправимо.

Жанин не питала особых иллюзий относительно чувств, какие может питать к ней бабушка Мишеля; однако все оказалось даже несколько хуже, чем она себе представляла. Не успела она припарковать свой «порше» перед особнячком в Креси-ан-Бри, как старуха вышла оттуда с хозяйственной сумкой в руке. «Помешать вам увидеться с ним я не могу, ведь он ваш сын, — заявила она резко. — Я отправляюсь за покупками, вернусь через два часа и хочу, чтобы к этому

времени вас здесь не было». С тем и удалилась.

Мишель был у себя в комнате; она толкнула дверь и вошла. Собиралась обнять его, но едва протянула руку, как он отшатнулся на добрый метр. Подрастая, он начал приобретать поразительное сходство с отцом: те же тонкие светлые волосы, такое же резко очерченное лицо с выступающими скулами. Она привезла ему в подарок проигрыватель и несколько альбомов «Роллинг стоунз». Все это он взял, не сказав ни слова (пластинки переломал несколько дней спустя, но проигрыватель сохранил). Его комната была опрятна, на стенах ни одной афиши. Книга по математике лежала раскрытая на откидной доске секретера. «Что это?» — спросила она. «Дифференциальные уравнения», — сдержанно отвечал он. Она намеревалась поговорить о том, как ему живется, пригласить на каникулы; все это оказалось очевидным образом невозможно. Она ограничилась тем, что сообщила ему о скором визите брата; он выразил согласие. Часа не прошло, как она здесь, а молчание уже затягивалось, и тут из сада послышался голос Аннабель. Мишель бросился к окну, крикнул ей, чтобы поднималась. Жанин успела мельком глянуть на девушку, когда та входила в садовую калитку. «Она хорошенькая,

твоя подружка…» — обронила она, слегка скривив губы. Это замечание Мишель встретил как удар хлыста: его лицо исказилось. Направляясь к своему «порше», Жанин столкнулась с Аннабель, глянула ей в глаза; во взгляде Жанин читалась ненависть. По отношению к Брюно бабушка Мишеля не испытывала ни малейшей неприязни; на ее взгляд, чересчур общий, но в конечном счете верный, он тоже был жертвой этой противоестественной матери. Итак, Брюно взял за правило наносить Мишелю визиты по четвергам после обеда. Он садился на «кукушку» в Кресила-Шапель. Всякий раз, когда это было возможно (а возможность предоставлялась почти всегда), он усаживался напротив какой-нибудь одинокой юной пассажирки. Девушки по большей части сидели закинув ногу на ногу, или блузка была прозрачной, или что-нибудь еще… Располагался он, точнее говоря, не прямо напротив, скорее по диагонали, но подчас и на той же скамейке, метрах в двух. Он возбуждался уже при одном взгляде на длинные волосы, белокурые или каштановые; выбирая себе место, бродя между рядами, он чувствовал, как под плавками оживает боль. Садясь, он тотчас же доставал из кармана носовой платок. Надо было лишь раскрыть папку для бумаг,

пристроить ее к себе на колени, а там уж раз-два и готово. Иногда, если девушка раздвигала колени в тот самый момент, когда он извлекал свой член, у него не было даже надобности прикасаться к себе: он испускал фонтан, стоило ее трусикам мелькнуть перед глазами. Носовой платок был данью предосторожности, большей частью он извергал семя прямо на страницы своей папки: на уравнения второй степени, таблицы видов насекомых, данные по добыче угля в СССР. Девушка продолжала листать журнал.

Прошли годы, но Брюно по-прежнему пребывал в сомнении, не находя ответа на многие вопросы. То, что с ним происходило, было напрямую связано с боязливым толстым малышом, чьи фотографии он сохранил. Он, этот мальчик, напрямую был связан с терзаемым желанием взрослым мужчиной, которым он стал. Детство Брюно было мучительным, отрочество — жестоким; теперь ему сорок два, так что, если рассуждать объективно, до смерти еще далеко. Что ему осталось в жизни? Возможно, несколько фелляций, за которые, Брюно знал это, он будет платить все с большей готовностью. Жизнь, направленная к одной цели, оставляет мало места воспоминаниям. По мере того как его эрекция становилась все

быстротечнее и труднее, Брюно впадал в безвольную, печальную расслабленность. Секс являлся главным смыслом его существования; теперь он понял, что изменить что-либо уже невозможно. В этом отношении Брюно был типичным представителем своей эпохи. Со времени его отрочества свирепая экономическая конкуренция, во власти которой французское общество пребывало два столетия, несколько смягчилась. Умами все сильнее овладевала идея, что при нормальном ходе экономического развития общественные условия должны меняться в сторону некоторого уравнения возможностей. Как политики, так и столпы предпринимательства постоянно ссылались на шведскую социал-демократическую модель. Таким образом, Брюно не мог особенно вдохновиться замыслом превзойти своих современников в отношении экономического преуспеяния. В плане профессиональном его единственной — и весьма разумной — целью было внедриться в тот «обширный и не имеющий четко очерченных границ средний класс», что впоследствии описал Жискар д'Эстен. Но род людской горазд выстраивать иерархии: и человеке сильна потребность ощущать превосходство над себе подобными. Дания и Швеция, служив-

шие для европейских демократий образцом в смысле достижения экономического равенства, давали вместе с тем и другой повод для подражания — пример *сексуальной свободы.* В лоне того самого среднего класса, к которому все быстрее приобщались рабочие и служащие, а вернее, среди детей этого слоя населения неожиданным образом открылось новое поле для борьбы самолюбований. Во время одной лингвистической конференции, происходившей в июле 1972 года в маленьком баварском городке Траунштайне близ австрийской границы, некто Патрик Кастелли, молодой француз из его группы, на протяжении трех недель умудрился поиметь тридцать семь куколок. Брюно за то же время показал нулевой счет. Он до того дошел, что продемонстрировал продавщице супермаркета свой пенис — хорошо хоть, она расхохоталась и не стала подавать на него жалобу. Этот Патрик Кастелли, подобно ему, принадлежал к буржуазному семейству и хорошо успевал в учебе; по части имущественного положения их перспективы были равноценны. Большинство юношеских воспоминаний Брюно было в том же роде.

Впоследствии глобализация экономики положила начало конкуренции куда более жесткой,

которая развеяла мечты об интеграции всей массы населения в средний класс, расширяющийся по мере постоянного увеличения покупательной способности; все более многочисленные социальные пласты обрушивались в пропасть нестабильности и безработицы. Ожесточенность соревнования в области секса от этого не уменьшилась, даже напротив.

Теперь уже двадцать пять лет прошло с тех пор, как Брюно впервые узнал Мишеля. Брюно казалось, что за этот кошмарный срок сам он почти не изменился; гипотеза о постоянстве личностной сути, чьи основные свойства даны человеку раз и навсегда, была в его глазах самоочевидной истиной. И однако же обширные пласты его собственной истории уже безвозвратно утонули в потемках забвения. Месяцы, целые годы канули так, словно он и не прожил их. Но этого нельзя было сказать о последних двух годах его отрочества, столь богатых воспоминаниями, опытом становления. Память человеческой жизни, как много позже объяснял ему сводный брат, похожа на «консистентные истории» Гриффитса. То был майский вечер, они сидели в квартире Мишеля, пили кампари. Они редко вспоминали прошлое, по большей части их разговоры касались насущ-

ных политических либо социальных проблем; но в тот вечер они сделали это.

— Ты вспоминаешь различные моменты пережитого, — подытожил Мишель, — эти воспоминания предстают перед тобой в разных видах; к тебе возвращаются мысли, побуждения, лица. Иногда просто вспоминаешь имя, скажем, Патриция Хохвайлер, о которой ты только что упомянул, хотя сегодня ты бы не узнал ее при встрече. Иногда всплывает лицо, а не можешь даже припомнить, чье оно. В случае Каролины Иессайян все, что тебе известно о ней, с абсолютной точностью сконцентрировано в тех нескольких секундах, когда твоя ладонь лежала у нее на колене. Термин «консистентные истории» в 1984 году был введен Гриффитсом в научный оборот с целью установить связь между количественными измерениями в описаниях вероятностей. «История» по Гриффитсу строится исходя из некоей последовательности более или менее случайных измерений, имевших место в разное время. Каждое измерение удостоверяет факт наличия определенной физической величины, эвентуально отличной от результатов, получаемых при других измерениях, и для каждого определенного момента соотносимой с

некой областью значений. К примеру, во время t, электрон имеет такую-то скорость, определяемую с мерой приблизительности, зависящей от способа измерения; во время t, он находится в такой-то пространственной зоне; во время t, он имеет такое-то значение спина. Исходя из подмножества измерений можно дать определение его «истории», *логически обоснованной,* или консистентной, о которой тем не менее невозможно утверждать, что она *вероятностна;* она лишь может быть признана непротиворечивой. Среди предположительно возможных и экспериментально допустимых «историй» нашего мира некоторые могут быть описаны в форме, заданной Гриффитсом, — именно тогда их можно назвать «гриффитсовскими консистентными историями», поскольку все в них происходит так, словно мир составлен из несоединимых объектов, наделенных органически только им присущими стабильными свойствами. Причем число «гриффитсовских консистентных историй» может быть описано исходя их серии измерений и обычно значительно превосходит единицу. Ты обладаешь представлением о своем «я». Это представление позволяет тебе построить некую гипотезу, а именно: история, которую ты в дан-

ный момент реконструируешь из собственных воспоминаний, *есть логически обоснованная* или консистентная история, оправданная в той мере, в какой ее изложение односоставно и не подразумевает чужих «голосов». В качестве изолированного индивида с не изменяемыми в течение определенного отрезка времени условиями существования, подчиняющегося определенной онтологической иерархии свойств и сущностей, ты с неизбежностью, можешь не сомневаться, подпадаешь под описание в терминах «гриффитсовской консистентной истории». Конечно, эта гипотеза изначально соотносится со сферой реальности, а не твоих мечтаний.

— Мне легче думать, что мое «я» иллюзорно, пусть даже это мучительная иллюзия, — мягко возразил Брюно; на это Мишель, ничего не знавший о буддизме, ответить не сумел.

Им было не просто говорить друг с другом, они и виделись-то не чаще чем дважды в год. Смолоду они порой затевали жаркие споры, но то время ушло безвозвратно. В сентябре 1972 года они вместе выбрали естественно-научную специализацию; затем в течение двух лет прошли курс математики и физики. В науках Мишель был на три головы выше своих однокорытников.

Он уже начал понимать, что мир человеческих отношений обманчив, полон горечи и тревог. Математические уравнения давали ему светлую, живую радость. Блуждая в полумраке, он вдруг нащупывал выход: несколько формул, каких-нибудь дерзких факторизаций, и восходишь на новую ступень, к сияющей ясности. Первое из уравнений доказательства было самым волнующим, ведь на полпути истина еще сомнительна, едва мерцает вдали; последнее уравнение оказывалось самым радостным, самым ослепительным. Аннабель в том же году перешла во второй класс лицея в Мо. После занятий они часто встречались, все трое. Потом Брюно возвращался в интернат, Аннабель и Мишель направлялись в сторону вокзала. Ситуация приняла странный и печальный оборот. В начале 1974 года Мишель с головой погрузился в пространства Гилберта; потом он приобщался к теории измерений, открывал для себя интегралы Римана, Лебега и Стилтьеса. Брюно в это время читал Кафку и онанировал в «кукушке». Однажды майским днем в бассейне, который только что открылся в Шапель-сюр-Креси, он получил большое удовольствие, сдвинув край полотенца и продемонстрировав свой отросток двум девчонкам лет двенадцати; ему было

особенно приятно видеть, как они подталкивают друг дружку локтями, и убедиться, что зрелище их заинтересовало; с одной из них, маленькой шатенкой в очках, он обменялся долгим взглядом. Слишком несчастный и ущемленный, чтобы всерьез задумываться о чужих психологических проблемах, Брюно тем не менее смекнул, что у сводного брата дела обстоят еще хуже, чем у него. Они часто втроем ходили в кафе; Мишель носил спортивные куртки на молнии и смешные шапочки, он не умел играть в настольный футбол, да и разговор поддерживал в основном Брюно. Мишель сидел без движения, говорил все реже и реже; поднимая глаза на Аннабель, он смотрел внимательно и бесстрастно. Аннабель не протестовала; для нее Мишель был чем-то вроде воплощения истин иного, лучшего мира. Примерно в ту же пору она прочитала «Крейцерову сонату» и некоторое время думала, что эта книга помогла ей понять его. Двадцать пять лет спустя Брюно казалось очевидным, что они тогда попали в положение совершенно ненормальное, шаткое и безнадежное; когда вглядываешься в прошлое, всегда возникает впечатление — может статься, ложное — некой предопределенности.

12
В стандартном режиме

В эпохи революций те, кто с таким странным чванством присваивают себе дешевую заслугу возмутителей спокойствия, вызвавших у своих современников взрыв анархических страстей, не замечают, что своим прискорбным триумфом они в первую очередь обязаны стихийно сложившемуся положению вещей, обусловленному определенной совокупностью общественных явлений.

Огюст Конт. Курс позитивной философии. Лекция 48

Середина семидесятых годов во Франции была отмечена скандальным успехом «Призрака рая», «Заводного апельсина» и «Штучек» — трех в высшей степени несхожих между собой фильмов, массовый спрос на которые тем не менее должен был послужить доказательством коммерческой перспективности «культуры молодых», по существу основанной на сексе и насилии, которой

в течение последующих десятилетий предстояло завоевывать все более обширный рынок. Разбогатевшие тридцатилетние, юношество шестидесятых, со своей стороны получили полное удовлетворение своих запросов в «Эмманюэли», вышедшей на экран в 1974-м, насыщенный картинами приятного времяпрепровождения, экзотическими пейзажами и фантазмами, единственный в своем роде на культурном фоне, еще остающемся иудео-христианским, этот фильм был манифестом вступления в цивилизацию развлечений.

В более общем смысле движение за свободу нравов в 1974 году достигло важных успехов. 20 марта в Париже открылся первый клуб «Витатоп», призванный сыграть новаторскую роль в области установления культа телесной физической мощи. 5 июля был принят закон о гражданском совершеннолетии в восемнадцать, 11-го того же месяца — закон о разводе по обоюдному желанию: статья о супружеской измене была изъята из уголовного кодекса. Наконец, 28 ноября под нажимом левых был утвержден закон Вейля, разрешающий аборт и большинством комментаторов в итоге бурных дебатов объявленный «историческим». И верно, христианская

антропология, в странах Запада долгое время непререкаемая для большинства, придавала безмерное значение жизни любого человека с момента зачатия до смерти; это значение основывалось на том факте, что христиане верили в существование *души* внутри человеческого тела — души, бессмертной в своей основе, в грядущем предназначенной воссоединиться с Господом. Под влиянием прогресса биологии в девятнадцатом и двадцатом веках мало-помалу возникла антропология материалистическая, радикально отличная от предшествующей и куда более умеренная в своих нравственных требованиях. С одной стороны, зародышу, маленькому сгустку ткани, пребывающей в состоянии непрерывного деления и дифференциации клеток, статус индивидуального автономного существа может быть присвоен не иначе как при условиях некоего социального консенсуса (отсутствие генетического порока, приводящего к неполноценности, согласие родителей). С другой стороны, старик, будучи средоточием органов, подверженных длящемуся распаду, может реально осуществлять свое право на выживание лишь при условии достаточной согласованности своих органических функций — введение в качестве критерия

понятия *человеческое достоинство.* Этические проблемы, возникшие в отношении двух крайних возрастов живущего (аборт вначале; потом, несколько десятилетий спустя, эвтаназия), должны отныне основываться на противоположности двух взглядов на мир, на таких непримиримых определяющих факторах, как две антропологии, крайне антагонистические по самой своей сути.

Агностицизм, лежащий в основе принципов Французской республики, должен был облегчить лицемерное, отчасти даже зловещее прогрессирующее торжество материалистической антропологии. Никогда не провозглашаемый открыто, вопрос о *ценности* жизни человеческой тем не менее продолжал пробивать себе дорожку в умах; можно без малейшего сомнения утверждать, что отчасти именно он послужил причиной того общего депрессивного, едва ли не мазохистского умонастроения, которое распространилось в цивилизованных странах Запада за последние несколько десятилетий.

Для Брюно, которому только что исполнилось восемнадцать, лето 1974-го стало важнейшим и даже решающим жизненным этапом. Много лет спустя, когда он обратился за помощью к психиатру, ему приходилось многократно возвращаться

к подробностям той поры, представляя их так или иначе, — психиатр, казалось, и в самом деле высоко оценивал важность этих рассказов. Каноническая версия, которую любил преподносить ему Брюно, была следующая:

— Это произошло ближе к концу июля месяца. Я на неделю поехал погостить к матери на Лазурный берег. Там вечно кто-нибудь жил проездом, народу было полно. В то лето она крутила любовь с канадцем — здоровенным желторотым типом с мордой настоящего дровосека. Утром накануне своего отъезда я проснулся очень рано. Солнце уже припекало. Я зашел к ним в комнату, они оба спали. Я поколебался секунду-другую, потом сдернул простыню. Мать пошевелилась, какое-то мгновение я ждал, что она откроет глаза; ее бедра были слегка раздвинуты. Я опустился на колени, наклонился к ней. Протянул руку, но коснуться ее не посмел. Я вышел наружу, чтобы вытрястись. Она вечно подбирала кошек, у нее их было много, все более или менее дикие. Я подошел к молодому черному коту, который грелся на камне. Земля вокруг дома была каменистая, сплошь белая галька, беспощадной белизны. Кот несколько раз поглядывал на меня, пока я мастурбировал, но он закрыл глаза прежде, чем из меня полилось.

Тогда я нагнулся, поднял большой камень. Череп кота разлетелся на куски, мозг разбрызгался вокруг. Я забросал труп галькой, потом возвратился в дом; там еще никто не проснулся. В то утро мать отвезла меня к отцу, он жил километрах в пятидесяти. В машине она впервые заговорила со мной о ди Меоле. «Он тоже покинул Калифорнию четыре года назад, — сказала она, — и купил большое поместье близ Авиньона, на склонах Ванту. Летом к нему съезжается молодежь со всей Европы, а также из Северной Америки». Она думала, что я мог бы съездить туда летом, это, дескать, открыло бы передо мной новые горизонты. Учение ди Меолы ориентировано в основном на браминские традиции, но, по ее словам, чуждо фанатизма и нетерпимости. Оно равным образом принимает в расчет завоевания кибернетики, PNL и приемы дезомбирования, разработанные в Изалене. Его главная цель — освобождение личности, раскрытие ее глубинных творческих возможностей. «Мы используем не более десяти процентов наших нейронов!»

«К тому же, — прибавила Джейн (они в ту минуту проезжали через сосновый лес), — там ты смог бы пообщаться с молодежью, с твоими ровесниками. За то время, что ты у нас про-

жил, у всех сложилось впечатление, что у тебя трудности сексуального плана. Западный образ жизни, — продолжала она, — вносит путаницу и извращения во все, что касается секса. Во многих первобытных сообществах инициация происходила на пороге отрочества, естественным образом, под контролем взрослых членов племени». Тут она еще напомнила: «Я твоя мать». Но не пожелала присовокупить, что в 1969 году она сама инициировала Давида, сына ди Меолы. Давиду тогда было тринадцать. В первый вечер она перед ним разделась, дабы подбодрить его в процессе мастурбации. Во второй она пустила в ход руки и язык. И наконец на третий день ему было позволено в нее войти. Для Джейн это стало весьма приятным воспоминанием: член мальчика оказался крепким и при своей несгибаемости безгранично восприимчивым даже после нескольких извержений; нет сомнения, что именно с этого момента она окончательно переключилась на юнцов. «Однако же, — уточнила она, — инициация всегда происходила вне круга, связанного прямым родством». Брюно вздрогнул и спросил себя, не проснулась ли она утром по-настоящему в тот миг, когда он смотрел на нее. Тем не менее в замечании его матери не содержалось

ничего особенно удивительного: существует же табу на инцест у пепельных гусей и мандрилов, этот факт научно доказан. Автомобиль подкатил к Сент-Максиму.

— Заявившись к своему отцу, — продолжал Брюно, — я сразу понял, что чувствует он себя неважно. Тем летом он смог взять всего две недели отпуска. В ту пору у него, похоже, были проблемы с деньгами: дела впервые оборачивались худо. Позже он мне объяснил. Он проворонил внезапно возникший спрос на силиконовые груди. Счел это мимолетным капризом моды, который не выйдет за пределы американского рынка. Идиотизм чистой воды. Ведь не было случая, чтобы мода, пришедшая из Соединенных Штатов, не сумела несколькими годами позже затопить всю Западную Европу: такого не случалось. А один из его молодых компаньонов не упустил момента, он открыл собственное дело, стал изготавливать силиконовые бюсты и переманил у него большую часть клиентуры.

Ко времени этой исповеди отцу Брюно было семьдесят, и цирроз вскоре должен был прикончить его. «История повторяется, — хмуро ворчал он, заставляя льдинки позванивать в стакане. — Этот хренов Понсе (речь шла о том самом

молодом предприимчивом хирурге, что двадцать лет назад стоял у истоков его разорения) только что отказался инвестировать работы по удлинению полового члена. Он называет это колбасной торговлей, у него и в мыслях нет, что в Европе вот-вот развернется рынок подобных товаров. Понсе! Кретин хренов. Такой же болван, как я в свое время. Эх, было бы мне сейчас тридцать, уж я бы удлинения членов не упустил!» Сообщив об этом, он по обыкновению впадал в унылое размышление, каковое заканчивалось дремотой. Разговор в таком возрасте малость буксует, не без того.

В июле 1974-го родитель Брюно переживал еще только первый этап своего краха. В послеобеденные часы он запирался у себя в комнате со стопкой романчиков Сан-Антонио и бутылкой бурбона. Оттуда он выбирался часам к семи, трясущимися руками готовил ужин. Не то чтобы он умышленно избегал разговоров с сыном, просто у него не получалось, ничего не выходило, и все тут. Часа через два молчание становилось не на шутку тягостным. Брюно стал после обеда уходить, отсутствовал до ночи, просто-напросто болтался по пляжу.

Продолжение истории занимало психиатра

куда меньше, но сам Брюно эту часть своей биографии очень ценил и отнюдь не желал обходить молчанием. К тому же этот балбес здесь для того и торчит, чтобы слушать, работа у него такая, разве нет?

— Она была одинока, стало быть, — продолжал Брюно, — целыми днями на пляже, и все одна. Бедная девчушка из богатеньких, вроде меня. Толстуха, сказать по правде, невысокая копна с робким личиком, слишком белой кожей и в прыщах. На четвертый вечер, как раз накануне отъезда, я взял свою папку и уселся с ней рядом. Она лежала на животе, в раздельном купальнике, расстегнув лифчик. Насколько помнится, я не нашел ничего лучше как спросить: «Ты на каникулах?» Она подняла на меня глаза; конечно, вряд ли она могла рассчитывать на особую изысканность обращения, однако к такой примитивности, вероятно, была не совсем готова. В конце концов мы познакомились, ее звали Анник. Она как раз собралась встать, и я гадал: попытается она застегнуть лифчик или, напротив, выпрямится, показав мне груди? Она выбрала нечто среднее: перевернулась на спину, придерживая лифчик на боках. В финальной позиции чашки бюстгальтера слегка съехали вбок

и прикрывали ее лишь отчасти. Грудь у нее была и впрямь большая, уже и отвисала немножко, а во что она превратится с годами, и представлять не хотелось. Я тогда подумал, что храбрости ей не занимать. Протянул руку и стал подсовывать ладонь под бюстгальтер, все больше оголяя грудь. Она не шевелилась, но малость напряглась и глаза зажмурила. Я еще дальше продвинул руку. Соски у нее были твердыми. Эта минута осталась одним из лучших воспоминаний моей жизни.

Потом все пошло сложнее. Я повел ее к себе, мы сразу поднялись ко мне в комнату. Я боялся, как бы она не попалась на глаза отцу; он-то, что ни говори, был человеком, имевшим всю свою жизнь дело с очень красивыми женщинами. Но он спал; в тот вечер он был пьян, сказать по правде, в стельку и глаза продрал не раньше десяти. И вот что забавно: она не позволила мне снять с нее трусики. «Я никогда этого не делала», — заявила она; она вообще никогда ничего с мальчиками не имела, если уж начистоту. Но растрясти меня она взялась без малейшего смущения, даже с немалым воодушевлением; помню, она улыбалась. Потом я приблизил родилку к ее губам; она пососала чуток, но не так уж она была влюблена, чтобы продолжать. Я не

настаивал, а уселся на нее верхом. Когда я зажал свой член промеж ее грудей, то почувствовал, что она по-настоящему счастлива, у нее вырвался легкий стон. Это меня страшно возбудило, я вскочил и стянул с нее трусики. На сей раз она не противилась, даже приподняла ноги, чтобы мне помочь. Эта девушка была и впрямь некрасива, но киска у нее была влекущая, ничуть не менее влекущая, чем у любой женщины. Она закрыла глаза. В то мгновение, когда я просунул ладони под ее ягодицы, она широко раздвинула колени. Это произвело на меня такое впечатление, что я тотчас извергся, даже не успел войти в нее. На ее лобковую шерстку попало немножко спермы. Я был ужасно удручен, но она сказала мне, что ничего, что вполне довольна.

У нас совсем не оставалось времени поговорить, было уже восемь, ей надо было сейчас же идти домой, к родителям. Она мне сказала, я толком и не понял к чему, что она единственная дочь. У нее был до того счастливый вид, она так гордилась, что не без причины опоздает к ужину, что я едва не разревелся. Мы долго целовались в саду перед домом. На следующее утро я уехал в Париж.

В заключение сего краткого повествования

Брюно делал паузу. Врач, хмыкнув со скромным видом, обычно говорил: «Отлично». В зависимости от времени он либо побуждал Брюно продолжать, либо ограничивался словами: «Так значит, на сегодня все?», слегка повышая голос на последнем слоге, чтобы придать фразе вопросительную интонацию. И при этом на губах его появлялась пикантная легкая улыбка.

13

В то же лето 1974-го Аннабель позволила одному парню на дискотеке в Сен-Пале, поцеловать ее. Она только что прочла в «Стефани» материал о дружбе мальчиков и девочек. Обращаясь к вопросу о «друге детства», журнал развивал отменно мерзкую идею, что последний лишь чрезвычайно редко может быть превращен в «дружка»; его нормальное предназначение в том, чтобы стать приятелем, «верным товарищем»; он даже часто может служить поверенным тайн своей подружки и поддерживать ее в пору треволнений, причиняемых первыми опытами «флирта».

После того поцелуя Аннабель вопреки уверениям периодической печати в первые мгновения испытала прилив смертельной грусти. В груди поднялось что-то неведомое, мучительное. Она ушла с дискотеки, запретив парню следовать за ней. Когда она отключала противоугонное устройство своего мопеда, ее била легкая дрожь. В тот вечер на ней было ее самое красивое платье. Дом ее брата находился не более чем в километре; когда она туда добралась, было едва ли больше одиннадцати; в гостиной еще горел свет, и она

заплакала, увидев освещенные окна. Таковы обстоятельства, при которых июльской ночью 1974 года Аннабель горестно и бесповоротно осознала факт своего *индивидуального бытия.* Первоначально открываясь животному в форме физической боли, индивидуальное бытие в полной мере познается членами людских сообществ не иначе как через посредство *лжи, с* которой оно может по ходу дела совпасть. До своих шестнадцати лет Аннабель не имела секретов от родителей; у нее не было — теперь-то она понимала, какой это являлось бесценной редкостью, — и тайн от Мишеля. В эту ночь Аннабель за какие-то несколько часов поняла, что жизнь человеческая не что иное, как непрерывная череда обманов. Тогда же пришло к ней сознание собственной красоты.

Индивидуальное бытие и вытекающее из него ощущение свободы служат естественной основой *демократии.* При демократическом строе классическим способом регулирования отношений между личностями является *контракт.* Любой контракт, ущемляющий естественные права одной из сторон либо не оговаривающий с полной ясностью условий расторжения договора, тем самым должен считаться недействительным.

Если свое лето 1974-го Брюно вспоминал охотно и подробно, то насчет последовавшего за ним учебного года он был не столь словоохотлив; по правде говоря, те месяцы не оставили в его памяти ничего, кроме возрастающего чувства неловкости. Бесконечный, но по общей тональности довольно скверный отрезок времени. Он по-прежнему довольно часто встречался с Аннабель и Мишелем, в принципе они были очень близки; однако им скоро предстоял экзамен на бакалавра, и окончание учебного года неминуемо должно было разлучить их. Мишель изменился: он теперь слушал Джимми Хендрикса и энергично двигался в такт по ковру; намного позже, чем у прочих, в нем стали проявляться видимые признаки *созревания.* Они с Аннабель выглядели смущенными, им было уже не так просто взяться за руки. Короче, как это однажды специально для своего психиатра определил Брюно, «яйца там варились вкрутую».

После своего приключения с Анник, которое он был склонен приукрашивать в памяти (впрочем, предусмотрительно избегая возобновления этой истории), Брюно почувствовал себя малость поувереннее. Однако за этой первой победой отнюдь не последовали другие, и он получил жестокий

отпор, когда попытался поцеловать Сильвию, очень стильную очаровашку-брюнеточку из того же класса, где училась Аннабель. Тем не менее одна девушка захотела его, значит, у него могли быть и другие. Он начал испытывать к Мишелю некое смутное покровительственное чувство. Как-никак тот был его братом, притом младшим, ведь Брюно старше на два года. «Ты должен кое-что предпринять насчет Аннабель, — твердил он, — она только того и ждет, она в тебя влюблена, а это ведь самая красивая девочка в лицее». Мишель ерзал на стуле и отвечал: «Да». Проходили недели. Было видно, что он все колеблется на пороге вступления во взрослую жизнь. Если бы он поцеловал Аннабель, это, может статься, было бы для них обоих единственным средством избежать мучений такого перехода; но он этого не сознавал; он убаюкивал себя обманчивой иллюзией, будто тому, что есть, не будет конца. В апреле он вызвал возмущение преподавателей тем, что пренебрег записью на подготовительные курсы. Было тем не менее очевидно, что у него, как ни у кого другого, великолепные шансы поступить в высшее учебное заведение. До экзамена на бакалавра оставалось полтора месяца, а он, казалось, все больше впадал в невесомое состояние.

Сквозь зарешеченные окна лекционного зала он взирал на облака, на деревья, что росли во дворе лицея, на других учеников; похоже, никакие дела человеческие больше не могли по-настоящему затронуть его.

Брюно, со своей стороны, решил записаться на филологический факультет: ему уже поднадоели ряды Тейлора-Маклорена, а главное, на литературном факультете были девицы, уйма девиц. У его отца это не вызвало никаких возражений. Как все старые распутники, он на склоне лет стал сентиментален и горько упрекал себя за то, что из эгоизма испортил жизнь сыну; впрочем, тут он был не столь уж не прав. В начале мая он порвал с Жюли, своей последней любовницей, хотя она была блистательной дамой; звали ее Жюли Ламур, но она носила сценический псевдоним Джулия Лав. Она снималась в первых порнолентах на французском языке, в ныне забытых фильмах Бёрда Тренбари или Франсиса Леруа. Она несколько походила на Жанин, но была куда глупее. «Надо мной тяготеет проклятие… проклятие…», твердил про себя отец Брюно, когда, наткнувшись на девическую фотографию своей бывшей супруги, осознал их сходство. Эта связь стала совершенно несносной с тех пор, как

на приеме у Беназерафа его возлюбленная повстречала Делёза и обзавелась манерой чуть что пускаться в глубокомысленные разглагольствования, оправдывающие порнографию. К тому же она ему дороговато обходилась, поскольку на съемках привыкла к взятым напрокат «роллс-ройсам», меховым шубам, да и к разного рода эротическим изыскам, которые с годами становились для него все более утомительными.

На исходе семьдесят четвертого ему пришлось продать дом в Сент-Максиме. Несколько месяцев спустя он приобрел для сына отличное жилье близ садов обсерватории: светлую, спокойную квартирку с окнами, не смотрящими в стену дома напротив. Придя туда с Брюно, он отнюдь не казался самому себе исключительно щедрым дарителем, скорее чувствовал, что пытается по мере возможности *загладить* причиненное зло; как бы то ни было, он сделал, по-видимому, хорошее дело. Обшарив квартиру взглядом, он малость приободрился. «Ты здесь сможешь принимать девочек!» — брякнул он не подумав. Увидел лицо сына и тут же пожалел о своих словах.

Мишель в конце концов записался на физико-математическое отделение в Орсэ; его в особенности прельщала близость университет-

ского городка: это был главный довод. Экзамены на бакалавра они оба сдали без всяких неожиданностей. В день объявления результатов Аннабель сопровождала их; ее лицо было строго, за последний год она очень повзрослела. Слегка похудевшая, с проступавшей на губах улыбкой, она, к несчастью, стала еще прекраснее. Брюно решил проявить инициативу: у него больше не было каникулярного приюта в Сент-Максиме, зато он мог, как советовала мать, отправиться в поместье ди Меолы; он предложил им обоим составить ему компанию. Они выехали туда месяц спустя, в конце июля.

14
Лето семьдесят пятого

Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри их, и Господа они не познали.

Осия. 5, 4

Человек, встретивший их на остановке автобуса в Карпантра, был вконец изнурен, болен. Сын итальянского анархиста, эмигрировавшего в США в двадцатых годах, Франческо ди Меола, вне всякого сомнения, *преуспел в жизни,* разумеется в финансовом плане. На исходе Второй мировой войны этот молодой итальянец, подобно Сержу Клеману, сообразил, что мир радикальным образом изменился и деятельность, долгое время считавшаяся уделом элиты или маргиналов, вскоре приобретет основательный экономический смысл. В то время как родитель Брюно вкладывал все силы в косметическую хирургию, ди Меола вцепился в производство пластинок; конечно, некоторые заработали на этом много больше, чем он, однако и ему достался славный кусок пирога. К сорока годам у него, как у многих обитателей

Калифорнии, возникло предощущение новой волны, куда более значительной, нежели простая прихоть моды, и призванной смести со своего пути всю западную цивилизацию; вот почему он в своей вилле в Биг Сур сумел пообщаться с Аланом Уотсом, Паулем Тиллихом, Карлосом Кастанедой, Абрахамом Маслоу и Карлом Роджерсом. Несколько позже ему даже выпала на долю привилегия познакомиться с Олдосом Хаксли, истинным родоначальником нового движения. Постаревший, почти слепой, Хаксли уделил ему лишь весьма скупую долю своего внимания; тем не менее этой встрече было суждено оставить в его памяти ярчайшее впечатление.

Причины, побудившие его в 1970 году покинуть Калифорнию, чтобы обзавестись поместьем в Верхнем Провансе, были не вполне ясны даже ему самому. Позже, чуть ли не перед самым концом, он дозрел до того, чтобы признаться себе, что был движим некоей смутной потребностью *умереть в Европе;* но в тот момент из всех своих побуждений он осознавал лишь наиболее поверхностные. Майские волнения 68-го вдохновили его, и когда движение хиппи начало угасать в Калифорнии, он сказал себе, что, вероятно, мог бы кое-что предпринять с европейской молодежью.

Джейн ободряла его в этих замыслах. Французское юношество особенно зажато, его душит железный патерналистский ошейник голлизма; но, по ее утверждениям, хватит одной искры, чтобы все взорвалось. В течение нескольких лет величайшим наслаждением для Франческо было курить сигареты с марихуаной в компании совсем юных девушек, привлеченных духовной аурой движения хиппи, потом овладевать ими в аромате курений, среди символов буддийской мифологии. Девушки, что заявлялись в Биг Сур, были по большей части маленькими протестантскими дурочками; по меньшей мере каждая вторая из них оказывалась девственницей. К концу шестидесятых волна стала спадать. Тогда он сказал себе, что, пожалуй, пора вернуться в Европу; он и сам находил странной подобную формулировку, ведь когда он покинул Италию, ему едва сравнялось пять лет. Его отец вовсе не был революционным борцом, он был человеком культуры, эстетом, влюбленным в красоту слова. Вероятно, это должно было как-то повлиять на сына. В глубине души ди Меола всегда считал американцев несколько придурковатыми.

Он еще оставался очень красивым мужчиной, с точеным матовым лицом, с длинными седы-

ми волосами, густыми и волнистыми; однако в недрах его организма клетки пустились беспорядочно размножаться, разрушая генетический код соседних клеток, выделяя токсины. Мнения врачей, с которыми он советовался, расходились по многим пунктам, за исключением одного, главного: он скоро умрет. Его рак был неоперабелен, он продолжал неотвратимо распространять свои метастазы. Большинство специалистов склонялось к тому, что угасание будет мирным и даже удастся с помощью некоторых медикаментов до самого конца избегать физических страданий; да и верно, до сих пор он не ощущал ничего, кроме сильной общей усталости. И все же он не мог примириться, ему не удавалось вообразить подобный исход. Хотя для современного западного человека, даже когда он в полном здравии, мысль о смерти является чем-то вроде *фонового шума,* заполняющего мозг по мере того, как постепенно исчезают планы и желания. С возрастом этот шум становится всепоглощающим; его можно сравнить с глухим гулом, порой его сопровождает скрежет. В другие эпохи основой внутреннего шума было ожидание царствия небесного; ныне это ожидание конца. Так-то вот.

Хаксли, о котором он не перестанет вспоми-

нать, казался равнодушным к неизбежности собственной смерти; но, может быть, он просто отупел от наркотиков. Ди Меола читал, но ни Платон, ни «Бхагавадгита»[3], не принесли ему ни малейшего умиротворения. Ему только недавно исполнилось шестьдесят, и однако он умирает, все симптомы об этом говорят, ошибка невозможна. Он даже начал терять интерес к сексу и лишь мимоходом, в какой-то рассеянности отметил красоту Аннабель. Что до юношей, то он их даже не заметил. Он давно жил в окружении молодежи и, вероятно, лишь по привычке проявил смутное любопытство при мысли о знакомстве с сыновьями Джейн; в глубине души ему, по всей видимости, было наплевать на них. Он их доставил в поместье, сказал им, что они могут где угодно расположиться и поставить свою палатку; ему хотелось прилечь и, лучше всего, никого не видеть. Физически он еще представлял собой великолепный тип проницательного и чувственного мужчины, в его взгляде поблескивала ирония, чуть ли не мудрость; некоторые особенно глупые девицы даже находили его лик просветленным и исполненным благости. Сам

[3] Примечание: 3

Философская часть древнеиндийской эпической поэмы «Махабхарата»

он в себе никакой благости не чувствовал, к тому же его не покидало ощущение, что он всего лишь посредственный комедиант: и как это он мог заморочить целый свет? В сущности, говорил он себе подчас с некоторой грустью, все это юношество, взыскующее новых духовных ценностей, сплошные недоумки.

В первые же мгновения, не успели они высадиться из джипа, Брюно понял, что совершил ошибку. Пологим, с легкими ложбинками склоном поместье спускалось в южную сторону, кругом росли деревья, цветы. Водопад низвергался в озерцо спокойной зеленой воды; совсем рядом, растянувшись нагишом на плоском камне, сушилась на солнце женщина, в то время как другая намыливалась перед тем, как погрузиться в воду. Подле них, преклонив колени на рогожке, то ли дремал, то ли медитировал ражий бородатый субъект. Этот тоже был голый и очень загорелый; его длинные белобрысые космы впечатляюще разметались по темно-бронзовой коже; он смутно напоминал Криса Кристофферсона. Брюно чувствовал себя обескураженным. Возможно, еще есть время убраться отсюда, если сделать это без промедления. Он покосился на своих спутников: Аннабель с поразительным спокойствием нача-

ла разворачивать палатку; Мишель, присев на пенек, поигрывал завязкой рюкзака; вид у него был абсолютно отсутствующий.

Вода, попав на плоскость, хоть самую малость наклонную, стекает вниз. Образ действий человека, детерминированный в целом и почти что в каждой частности, лишь изредка бывает подвержен соблазну решительного выбора, да и тогда никто не придерживается этого особого пути последовательно. В 1950 году у Франческо ди Меолы родился сын от итальянской второразрядной актрисы — ей так и не было суждено продвинуться дальше роли египетской рабыни в «Камо грядеши?», где она (то был пик ее карьеры) получила возможность произнести две реплики. Своего отпрыска они нарекли Давидом. В возрасте пятнадцати лет Давид возмечтал стать рок-звездой. Тут он был не одинок. Будучи богаче, чем директора компаний и банкиры, рок-звезды тем не менее сохраняли очарование бунтарей. Молодые, красивые, знаменитые, внушающие вожделение всем женщинам и зависть всем мужчинам, они составляли самую верхушку социальной иерархии. Со времен обожествления фараонов в Древнем Египте ничто в истории человечества не поддается сравнению с культом рок-звезд, обуяв-

шим европейскую и американскую молодежь. По части физических данных у Давида имелось все, чтобы добиться своей цели: умопомрачительная красота, одновременно животная и дьявольская; черты лица мужественные, но вместе с тем на редкость правильные; длинные волосы, черные, очень густые и слегка волнистые; большие, глубокие синие глаза.

Благодаря отцовским связям Давиду удалось в семнадцать лет записать свою первую пластинку-сорокапятку; это был полный провал. Вышла она, надо сказать, в один год с «Sgt Peppers», «Days of Future Passed» и еще массой других. Джимми Хендрикс, группы «Роллинг стоунз» и «Дорз» были в самой раскрутке; Нил Янг уже начал записываться, и много надежд возлагали на Брайана Уилсона. В те годы приличному, но не слишком изобретательному контрабасисту ничто не светило. Давид упорствовал: четыре раза менял группы, пробовал то такие, то сякие игровые приемы; через три года после отъезда отца он тоже решил попытать счастья в Европе. С легкостью раздобыл себе ангажемент в одном клубе на Лазурном берегу. Красотки в его уборной каждый день исправно поджидали его — по этой части никаких проблем. Вот только издательские

фирмы не проявляли ни малейшего любопытства к его музыкальным трюкам.

Когда Давид встретил Аннабель, в его постели уже побывали больше пятисот женщин; однако он не мог припомнить, чтобы кто-либо из них достигал такого пластического совершенства. Аннабель со своей стороны тоже, как и все прочие, потянулась к нему. Она сопротивлялась несколько дней, уступила только через неделю после их приезда. Их — тех, кто танцевал, — было десятка три; дело происходило теплой звездной ночью перед задним фасадом дома. На Аннабель была белая юбка и коротенькая тенниска с изображением солнца на груди. В танце Давид прижимал ее к себе, а иногда принимался вертеть по всем канонам рока. Они танцевали без устали, уже больше часа, под барабанный ритм, то быстрый, то медленный. Брюно стоял неподвижно, прислонясь к дереву, настороженный, зоркий, с тяжестью на сердце. Порой на лужайке, в освещенном круге, появлялся Мишель, потом снова исчезал в темноте. Вдруг он возник совсем близко, метрах в пяти. Брюно видел, как Аннабель, оставив партнера, подошла к нему, слышал, как она спросила его: «Ты не танцуешь?»; ее лицо в этот момент было очень

грустным. Мишель отверг приглашение жестом неимоверно медлительным, как если бы он был неким доисторическим существом, лишь недавно возвращенным к жизни. Секунд пять-десять Аннабель неподвижно стояла перед ним, потом отошла и присоединилась к компании. Давид взял ее за талию и крепко прижал к себе. Она обвила руками его плечи. Брюно вновь глянул на Мишеля. Ему показалось, что улыбка блуждала на его лице. Брюно потупился. А когда поднял глаза, Мишель уже скрылся. Аннабель была в объятиях Давида; их губы почти соприкасались.

Лежа в своей палатке, Мишель ждал рассвета. На исходе ночи разразилась сильнейшая гроза, и он удивился, заметив, что ему страшновато. Потом в небе затихло, полил дождь, неторопливый, монотонный. Капли с невнятным шумом падали на парусину в нескольких сантиметрах от его лица, но он был огражден от контакта с ними. Его охватило предчувствие, что вся его жизнь будет похожа на эти минуты. Ему суждено проходить сквозь человеческие эмоции, иногда они его близко коснутся, но другие познают счастье или отчаяние, а его это никогда по-настоящему не затронет, не настигнет. В тот вечер Аннабель, танцуя, несколько раз обращала к нему взгляд.

Он хотел сдвинуться с места, но не мог; у него было очень отчетливое ощущение, будто он в ледяной воде. Он чувствовал себя отделенным от мира несколькими сантиметрами пустоты, создающими вокруг него то ли раковину, то ли панцирь.

15

На следующее утро палатка Мишеля опустела. Все его вещи исчезли, но он оставил записку — всего два слова: «НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ».

Спустя неделю уехал и Брюно. Садясь в поезд, он впервые подумал о том, что за все время пребывания здесь он не попробовал ни побаловаться наркотиками, ни, на худой конец, хоть с кем-нибудь поговорить.

В конце августа Аннабель заметила, что у нее запаздывают месячные. И сказала себе, что это даже к лучшему. Никаких проблем не было: отец Давида знал врача, поборника планирования семьи, работавшего в Марселе. Это был субъект лет тридцати, восторженный, с маленькими рыжими усиками, звали его Лоран. Врач настаивал, чтобы она его так и называла: Лоран — просто по имени. Он показывал ей разные инструменты, объяснял механизмы выскабливания и отсасывания. С клиентками, которых воспринимал скорее как приятельниц, он стремился наладить диалог на равных. В своей деятельности он с самого начала держал сторону женщин, и, по его мнению, в этой борьбе ему еще предстояло совершить

многое. Операция была назначена на следующий же день; расходы брала на себя Ассоциация планирования семьи.

К себе в номер Аннабель вернулась на грани нервного срыва. Завтра ей сделают аборт, еще одну ночь она проспит в отеле, потом возвратится домой; так она решила. Три недели подряд она каждую ночь пускала в палатку Давида. В первый раз ей было немножко больно, но потом она испытала удовольствие, большое удовольствие; она и не подозревала, что сексуальное наслаждение может быть таким острым. Однако же она не чувствовала к этому человеку ни малейшей привязанности; она знала, что он очень быстро найдет ей замену, и даже весьма вероятно, это уже случилось.

В тот же вечер, обедая в кругу друзей, Лоран с большим энтузиазмом вспоминал случай Аннабель. Ради таких девушек мы и боремся, сказал он; мы хотим не допустить, чтобы девочка от силы лет семнадцати («и редкостной красоты», не мог не прибавить он) испортила себе жизнь из-за какого-то каникулярного приключения.

Аннабель ужасно боялась своего возвращения в Креси-ан-Бри, но, в сущности, ничего не произошло. Было четвертое сентября; родите-

ли похвалили ее загар. Они ей сообщили, что Мишель уехал, он обосновался в общежитии университета; было очевидно, что они ничего не заподозрили. Она отправилась к бабушке Мишеля. Старая дама выглядела утомленной, но приняла ее ласково и охотно дала адрес внука. Ей показалось немного странным, что Мишель вернулся домой раньше других, это правда; она была также удивлена, когда он перебрался в общежитие на месяц раньше начала занятий; но Мишель *всегда был* мальчиком с причудами.

Посреди вселенского естественного варварства человеческим существам иногда (впрочем, редко) удается создать местечки, озаренные светом любви. Этакие маленькие тихие пустырики, где царят взаимопонимание и любовь.

Две следующие недели Аннабель посвятила писанию письма к Мишелю. Это было трудно, ей пришлось то и дело черкать, несколько раз начинать сызнова. В законченном виде письмо заняло сорок страниц; впервые она написала настоящее *любовное послание.* Она отнесла его на почту 17 сентября, вдень начала занятий в лицее. Потом стала ждать.

Факультет в Орсэ (Париж-XI) — единственный в парижском округе университетский филиал,

организованный в подлинном духе американского «кампуса». Несколько зданий, рассеянных по парку, служат жильем для студентов первого-третьего курсов. Орсэ не только учебное заведение, но равным образом исследовательский центр очень высокого уровня, где ведутся работы в области физики элементарных частиц.

Мишель поселился в угловой комнате на пятом — последнем — этаже строения номер 233; он сразу почувствовал себя здесь очень хорошо. В комнате стояли узкая кровать, бюро, этажерки для книг. Окно выходило на лужайку, которая спускалась к реке; слегка наклонившись, можно было различить бетонную массу ускорителя элементарных частиц. В эту пору, за месяц до начала занятий, корпус был почти совсем безлюден; здесь оставалось только несколько студентов-африканцев, для которых главная проблема — разместиться загодя, еще в августе, когда все жилые здания пусты. Мишель обменивался парой слов с консьержкой. Днем он бродил по берегу реки. Он еще не подозревал, что проживет в этом корпусе больше восьми лет.

Однажды утром, часов в одиннадцать, он растянулся на траве среди равнодушных деревьев. Он сам удивлялся, что способен так страдать. Как

нельзя более далекий от христианских категорий искупления и милосердия, чуждый понятий свободы и прощения, его взгляд на мир приобрел черты какой-то механистичности и беспощадности. Изначальные условия заданы, думал он, сеть первоначальных взаимодействий параметрирована, события должны развиваться в обреченно пустом пространстве; они необратимо детерминированы. То, что случилось, должно было случиться, иначе быть не могло. Никто не может считаться ответственным за это. Ночью Мишелю снились абстрактные, покрытые снегом дали; его тело, спеленутое бинтами, плыло под низким небом среди металлургических заводов. Днем он иногда сталкивался с одним из студентов, маленьким африканцем с серой кожей, уроженцем Мали; они кивали при встрече друг другу. Университетский ресторан был еще закрыт; он заходил в «Континент», супермаркет у Курсель-сюр-Иветт, покупал баночки консервированного тунца, потом возвращался к себе. Наступал вечер. Он прохаживался по пустынным коридорам.

В середине октября Аннабель написала ему второе письмо, оно было короче предыдущего. Тогда же она звонила Брюно, у которого тоже не было никаких новостей: он в точности знал

только, что Мишель регулярно звонит бабушке, но, по всей вероятности, не приедет повидаться с ней раньше Рождества.

Ранним вечером в ноябре, возвратившись с аналитического семинара, Мишель нашел телеграмму в своем общежитском именном шкафчике. Телеграмма звучала так: «Позвони тете Мари-Терез. СРОЧНО». Вот уже два года он почти не встречался ни с тетушкой Мари-Терез, ни с кузиной Брижит. Он позвонил сразу. У его бабушки опять инсульт, она в больнице в Мо. Это серьезно, вероятно, даже очень серьезно. Аорта слаба, сердце может отказать.

Он пешком шагал через Мо, прошел мимо лицея; было часов десять. В эти минуты в аудитории Аннабель разбирала текст Эпикура — мыслителя светлого, умеренного в суждениях, вполне античного и, если начистоту, малость занудного. Небо было пасмурно, воды Марны грязны и бурны. Он без труда нашел больничный комплекс Святого Антония — ультрасовременное здание, все из стекла и металла, введенное в эксплуатацию с прошлого года. Тетя Мари-Терез и кузина Брижит ждали его на площадке восьмого этажа; лица у них были заплаканы. «Не знаю, надо ли тебе смотреть на нее…» — сказала Мари-Терез.

Он не отозвался. Все, что должен пережить, он переживет.

То была палата интенсивной терапии, его бабушка лежала там одна. Простыня утомительной белизны не скрывала ее рук и плеч; ему трудно было оторвать глаза от этой обнаженной плоти, морщинистой, белесой, ужасающе старой. Ее исколотые руки были прикручены ремнями к краям кровати. Из горла торчала трубка с желобками. Провода регистрирующих приборов змеились из-под простыни. Ее заставили снять ночную сорочку; не позволили поправить шиньон, как она делала каждое утро в течение многих лет. С этими длинными волосами, седыми и распатланными, она уже не вполне была его бабушкой; это было бедное смертное создание, очень юное и очень дряхлое одновременно, оставленное теперь на произвол медицины. Мишель взял ее руку. Одна только эта рука и оставалась для него сразу узнаваемой. Он ее часто брал за руку, еще совсем недавно, в прошлом году, в свои семнадцать. Глаз она не открыла, но, может быть, наперекор всему ощутила его прикосновение. Он не сжимал ей пальцы, просто держал ее ладонь в своих, как делал прежде; он горячо надеялся, что это прикосновение она почувствует.

У этой женщины было тяжелейшее детство, работа на ферме с семилетнего возраста в окружении насквозь пропитых полускотов. Юность ее была слишком короткой, чтобы оставить по себе светлые реальные воспоминания. После смерти мужа она работала на заводе, из последних сил поднимая своих четверых детей; в разгар зимы она ходила с ведрами во двор за водой, чтобы семья могла помыться. Едва выйдя на пенсию, уже перевалив на седьмой десяток, она согласилась вновь растить малыша — ребенка своего сына. И внук тоже ни в чем не знал недостатка: ни в чистой одежде, ни во вкусных обедах по воскресеньям, ни в ласке. Тем, что все это было в его жизни, он обязан ей. При мало-мальски исчерпывающем рассмотрении того, что представляет собою род человеческий, необходимо принимать в расчет и этот феномен. В истории реально существовали такие люди. Они трудились весь свой век, трудились очень тяжело, исключительно во имя долга и любви, в буквальном смысле отдавая ближним свою жизнь, движимые долгом и любовью, притом никоим образом не считая, что приносят себя в жертву; они, по сути, просто не видели иного способа прожить жизнь, кроме как даровать ее другим из побуждений долга и

любви. Практически все подобные человеческие существа были женщинами.

Мишель пробыл в палате около четверти часа и все время держал бабушку за руку; потом явился интерн, сказал, что в ближайшее время его присутствие может помешать. С ней, вероятно, должны были что-то сделать — не операцию, нет, операция была невозможна. Но, может быть, речь шла о какой-нибудь процедуре, в конце концов еще не все потеряно.

Обратный путь они проделали без единого слова. Мари-Терез вела «рено-16» будто во сне. За едой тоже больше молчали, только время от времени всплывало какое-нибудь воспоминание. На стол подавала Мари-Терез, у нее была потребность в движении; иногда остановится, всплакнет немножко, потом снова отправляется к кухарке.

Аннабель присутствовала сначала при отправке машины «скорой помощи», потом при возвращении «рено». Около часу ночи она встала и оделась; родители уже спали; она пешком дошла до ограды дома Мишеля. В окнах горел свет. Вероятно, все были в гостиной, но шторы мешали разглядеть хоть что-нибудь. И тут зарядил мелкий дождик. Прошло минут десять.

Аннабель знала, что может позвонить в дверь и увидеться с Мишелем. Точно так же она могла не предпринимать ничего. Она не слишком понимала, что переживает практический урок *свободы выбора.* В любом случае этот опыт был чрезвычайно жесток, и ей после тех десяти минут никогда не суждено будет стать вполне такой, как прежде. Годы спустя Мишелю предстоит обосновать краткую теорию человеческой свободы на базе аналогии с поведением сверхтекучего гелия. На атомном уровне происходящий в головном мозге обмен электронами между нейронами и синапсами также подчиняется правилу неопределенности, однако можно полагать, что образ действий человека детерминирован — как в своей основе, так и в деталях — столь же жестко, как поведение любой другой естественной системы. Однако в некоторых, и притом крайне редких, обстоятельствах происходит то, что христиане именуют «чудом милосердия»: появляется волна новой когерентности и распространяется в мозгу, возникает — на время либо окончательно — новый тип поведения, регулируемый принципиально иной системой источников гармонических колебаний; тогда мы наблюдаем то, что принято называть «актом свободной воли».

Ничего подобного в ту ночь не произошло, и Аннабель вернулась в отчий дом. Она чувствовала себя заметно постаревшей. Должно пройти лет двадцать пять, прежде чем ей будет дано снова увидеть Мишеля.

Телефон зазвонил где-то около трех; медицинская сестра казалась искренне удрученной. Они и впрямь сделали все возможное, но, и сущности, ничего сделать туг практически невозможно. Сердце было слишком изношено, вот и все. По крайней мере она, можно сказать, не страдала. Но теперь, к сожалению, все кончено.

Мишель направился в свою комнату, он двигался маленькими шажками, не более двадцати сантиметров. Брижит хотела было встать, но Мари-Терез жестом остановила ее. Прошло минуты две, потом из спальни послышалось что-то вроде то ли поскуливания, то ли рычания. Брижит бросилась туда. Мишель скорчился в ногах кровати. Его глаза почти вылезали из орбит. На лице не отражалось ничего похожего на скорбь или какое-либо иное человеческое чувство. Один лишь звериный низменный ужас.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
СТРАННЫЕ МОМЕНТЫ

1

Брюно потерял управление автомобилем, едва проехав Пуатье. Его «пежо-305» занесло к разделительной полосе, машина слегка шаркнула по металлу ограждения и замерла, развернувшись задом наперед. «Дерьмовый бардак! — глухо выругался он. — Вселенское паскудство!» Ягуар, мчавшийся со скоростью 220 км, резко тормознул, тоже чуть не врезавшись в ограждение, и под рев клаксонов унесся вдаль. Брюно выскочил и погрозил ему вслед кулаком. «Педик! — проорал он. — Сучий педик!» Потом он развернул машину и продолжил путь.

Так называемый Край Перемен был создан в 1975 году группой бывших бунтарей шестьдесят восьмого (по правде говоря, в шестьдесят восьмом ни один из них ничего сколько-нибудь заметного не совершил, но, можно сказать, в них чувствовался «душок» шестьдесят восьмого); они обосновались на обширной, поросшей соснами территории чуть южнее Шоле; эта земля принадлежала родителям одного из них. Их замысел, несущий на себе явственный отпечаток модных

в начале семидесятых анархистских идеалов, заключался в том, чтобы осуществить конкретную утопию, то есть «здесь и сейчас» организовать некое пространство, где было бы возможно жить в согласии с принципами самоуправления, уважения к правам личности и подлинной демократии. Однако же Край не был новой общиной; цель была куда скромнее — создать место отдыха, иными словами, приют, где сторонники этой затеи имели бы случай объединяться в летние месяцы для конкретного проведения провозглашаемых идей в жизнь; речь также шла о создании благоприятных условий для совместной деятельности, творческого общения, и все это в духе гуманизма и народовластия; и наконец, если пользоваться терминологией основателей, речь шла о том, чтобы «со вкусом перепихнуться».

Брюно свернул с автотрассы у выезда из Шоле-Сюд и километров десять ехал по прибрежному шоссе. Вразумительного плана местности у него не было, и стояла страшная жара. Он увидел вывеску, как ему показалась, почти случайно. Разноцветные буквы на белом фоне возвещали: КРАЙ ПЕРЕМЕН; ниже на клееной фанерке меньшего размера было красными буквами каллиграфически выписано то, что, видимо, являлось

здешним девизом: *«Свобода других продлевает мою до бесконечности»* (Михаил Бакунин). Справа дорога вела к морю; две девчонки тащили по ней пластиковую утку. Под теннисками у них, у поганок, ничего не было. Брюно смотрел им вслед, у него засвербило в родилке. «Тенниски мокрые, — уныло сказал он себе, — высохнут — липнуть уже не будут». Направлялись они, по-видимому, в береговой кемпинг.

Он припарковал свой 305-й и двинулся к маленькой дощатой конторе с вывеской ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ. Внутри сидела, поджав под себя ноги, женщина лет шестидесяти. Ее тощие морщинистые груди почти вываливались из выреза длинной хлопчатобумажной блузы; появление Брюно для нее было докукой. Ее доброжелательная улыбка выглядела несколько натянутой. «Добро пожаловать в Край», — произнесла она наконец. Потом улыбнулась снова, до ушей (уж не идиотка ли?) «У тебя есть бронь?» Брюно открыл чемодан из искусственной кожи, вытащил свои бумаги. «Прекрасно», — изрекла слабоумная, все еще по-дурацки скалясь.

Езда на автомобилях на территории кемпинга запрещалась; он решил уладить дела в два приема. Сперва подыскать место для палатки, потом

забрать свои вещи. Как раз перед поездкой он приобрел палатку типа иглу в «Самаритене» (изготовлена в Народном Китае, двух-, трехместная, 449 франков).

Когда Брюно выбрался на лужайку, прежде всего в глаза ему бросилась пирамида. Двадцать метров в основании, столько же в высоту: объект безупречно равносторонний. Все стенки стеклянные, поделенные на прямоугольники сеткой рам из темной древесины. Некоторые из прямоугольников сверкали, отражая лучи заходящего солнца; сквозь другие можно было различить структуру внутреннего устройства: лестничные площадки, перегородки, также выполненные из темной древесины. Ансамбль в целом, согласно замыслу, должен был напоминать дерево, и это получалось довольно сносно — цилиндрическая конструкция, проходящая сквозь центр пирамиды, маскируя лестницу, изображала ствол. Из здания поодиночке и группами выходили люди; одни были голыми, другие одетыми. В закатном освещении, от которого посверкивала свежая трава, все напоминало научно-фантастический фильм. Понаблюдав эту сцену минуты две-три, Брюно взял свою палатку под мышку и предпринял восхождение на ближайший холм.

Владение состояло из нескольких лесистых холмов, земли, устланной иголками сосен, иногда попадались полянки; то тут, то там были разбросаны санблоки; возможности размещения оказались не безграничны. Брюно слегка вспотел, его пучило; по-видимому, трапезы в придорожных ресторанах были не в меру обильны. Все это мешало ясно мыслить, однако же он отдавал себе отчет, что выбор места может стать решающим фактором его успешного пребывания здесь.

В тот самый момент, когда ему в голову пришла эта мысль, он приметил веревку, натянутую между двумя деревьями. На ней досушивались девичьи штанишки, мягко колеблемые вечерним бризом. «Может быть, это неплохая идея, — сказал он себе, — между соседями в кемпинге завязывается знакомство, это даст возможность сдвинуться с мертвой точки». Он положил свою палатку на землю и принялся изучать инструкцию по монтажу. Французский перевод был ужасающ, английский — немногим лучше; с другими европейскими языками дело, должно быть, обстояло так же. Сволочные китаезы. Ну что может означать: «вывернуть полужесткое крепление, чтобы закрепить положение купола»?

С возрастающим отчаянием он уставился на

схемы. Неожиданно справа от него появилось некое подобие squaw[4] ; женщина была одета в кожаную мини-юбку; в сумерках виднелась ее пышная тяжелая грудь. «Ты только что приехал? — вопросило видение. — Тебе нужно помочь натянуть палатку?» — «Я справлюсь, — просипел он придушенным голосом, — все в порядке, спасибо. Это очень мило», — прибавил он, и у него перехватило дыхание. Он почуял ловушку. И верно, несколько мгновений спустя из соседнего вигвама (Где они умудрились купить эту штуку? Сами смастерили?) донесся рев Squaw ринулась туда и тотчас воротилась с двумя малолетними бутузами, по одному на каждом бедре, и принялась мягко покачивать бедрами. Вопли усилились. Рысцой примчался самец squaw с членом наружу Это был здоровенный бородатый детина лет пятидесяти с длинными седыми космами. Он взял одного из детенышей и стал его тетешкать; это было омерзительно. Брюно отошел на несколько метров; он взмок от жары. С подобными монстрами бессонная ночь ему обеспечена. Ясное дело, она их кормит грудью, эта корова; грудь, однако же, хороша.

---

[4] Примечание: 4
Индеанки (англ.)

Брюно отступил на несколько шагов по склону, стремясь незаметно удалиться от вигвама; однако ему не слишком-то хотелось оказаться вдалеке от маленьких штанишек. Это была деликатная штучка, прозрачная, вся в кружавчиках; невозможно вообразить, чтобы такие могли принадлежать squaw. Он отыскал местечко между палатками двух канадок (кузин? сестер? лицейских однокашниц?) и принялся за работу.

Когда он закончил, было уже почти совсем темно. При последних проблесках заката он спустился за своими пожитками. По дороге ему встретилось несколько человек: и пар, и одиночек. Одинокие женщины в большинстве лет сорока. То и дело попадались на глаза воззвания, прибитые к стволам деревьев: БУДЬТЕ ВЗАИМНО ВЕЖЛИВЫ; он подошел к одному из них. Под ним помещалась маленькая купель, доверху полная презервативами отечественного производства. Чуть ниже помещалась белая пластиковая урна для мусора. Он нажал на педаль, включил карманный фонарик: внутри оказались в основном банки из-под пива, но также и несколько использованных презервативов. «Это вселяет надежду, — сказал себе Брюно, — здесь, похоже, времени даром не теряют».

Возвращаться наверх было мучительно; чемоданы калечили руки, дыхание перехватывало; ему пришлось остановиться на полдороге. Какие-то люди болтались по кемпингу, лучи их карманных фонариков скрещивались во мраке. Поодаль, на прибрежной дороге, еще наблюдалось бойкое движение. В «Династии», что на Сен-Клеманском шоссе, ожидалось шоу голых бюстов, но у него уже не было сил туда идти — ни туда, ни куда-либо еще. Брюно еще с полчаса не двигался с места. «Я смотрю на огни фар, мелькающие за деревьями, — говорил он себе, — это и есть моя жизнь».

Вернувшись к своей палатке, он налил себе виски и стал полегоньку онанировать, листая «Свинг мэгезин» (раздел «право на наслаждение»); свежий номер он купил на автостоянке близ Анжера. Он не предполагал, что сможет воспользоваться всевозможными предложениями этого издания; не чувствовал себя на высоте для подвигов самца-производителя или мощных семяизвержений. Женщины, готовые на интимные встречи с мужчинами, как правило, предпочитали чернокожих и требовали таких минимальных размеров члена, до которых ему было далеко. Штудируя номер за номером, он поневоле проникся смиренным

сознанием, что его шурупчик слишком мелок: с таким не вольешься в ряды порногигантов.

Тем не менее его по большей части устраивали собственные физические возможности. Капиллярные имплантанты хорошо принялись: врач ему попался компетентный. Он регулярно посещал Жимназ-клуб и, если начистоту, находил, что для сорокадвухлетнего мужчины он отнюдь не так уж плох. Он опять налил себе виски, отфонтанировал прямо на журнал и уснул почти что умиротворенный.

2
Тринадцать часов полета

Очень скоро Край Перемен столкнулся с проблемой старения. Молодежи восьмидесятых идеалы его основателей казались обветшалыми. Если не считать павильонов *спонтанного театра* и *калифорнийского массажа.* Край по своей сути был прежде всего кемпингом; с точки зрения удобств жилья и качества питания он не мог тягаться с официальными центрами отдыха. К тому же свойственная ему известная анархичность затрудняла четкий контроль посещаемости и оплаты; поэтому со временем становилось все труднее поддерживать финансовое равновесие, впрочем с самого начала довольно шаткое.

Первая мера, единогласно одобренная основателями, состояла в том, чтобы учредить тарифы, предоставляющие молодежи откровенно льготные условия; оказалось, этого недостаточно. В 1984-м, в начале бюджетного года, Фредерик Ледантек на ежегодном общем собрании предложил нововведения, призванные обеспечить благосостояние Края. Для 80-х годов предприни-

мательство — таков был итог его анализа — одна из самых многообещающих авантюр. Ведь все присутствующие располагают драгоценным опытом в области оздоровительных практик, берущих свое начало в гуманистически ориентированной психологии (гештальтпсихология, учение о реинкарнации, хожденье по раскаленным углям, трансактный анализ, медитация дзен, анализ паранормальных способностей). Так почему бы не пустить все это в ход с целью разработки основополагающих методик, предназначенных для собственной практики? После бурных дебатов предложение было принято. Именно тогда и была построена пирамида, а также десятков пять бунгало с ограниченным, но приемлемым комфортом, для сезонных постояльцев. В то же время был проведен интенсивный, но узконацеленный мейлинг, адресованный администраторам по кадровой политике крупных фирм. Кое-кто из представителей крайне левой политической ориентации принял в штыки подобные новшества. Имела место жесткая недолгая борьба внутри руководства Края, и «Ассоциация в поддержку закона 1901 года» была распущена, ее место заняло общество с ограниченной ответственностью, где держателем контрольного пакета акций являлся

Фредерик Ледантек. Помимо всего прочего, поместье принадлежало его родителям, и отделение «Взаимного Кредита» департамента Марна-и-Луара, видимо, было расположено поддержать этот проект.

Пять лет спустя Краю удалось обзавестись красивым каталогом согласований (Национальный парижский банк, бюджетное ведомство, Управление парижского городского транспорта). Международные путевки, договоры с фирмами о коллективных поездках обеспечивали круглогодичную работу центра, а его функционирование как «места отдыха», питавшее старинную ностальгию, давало не более пяти процентов от общей цифры годового оборота.

Брюно проснулся с сильной головной болью и без особых иллюзий. О Крае он услышал от одной секретарши, вернувшейся с практики «Личное развитие — позитивная установка» по цене 5000 франков за сутки. Он попросил дать ему брошюру о летнем отдыхе, увидел, что по стилю она симпатична, тяготеет к культурной открытости с анархическим оттенком. К тому же его внимание привлекла статистическая справка внизу страницы: прошлым летом, в июле-августе, 63 процента обитателей Края составляли женщины. То есть

чуть ли не две бабы на одного мужика; это был фактор решающий. Он сразу решил потратить одну неделю июля на то, чтобы посмотреть, каково это, тем паче что, когда он выбирал кемпинг, выяснилось, что Край обойдется дешевле, чем, к примеру, Клуб-мед и даже путевки в рамках студенческого туризма. Видимо, насчет типа женщин он угадал: бывшие левачки, подкисшие, не исключено, что с серопозитивной реакцией. Ну да ладно, две на одного — это его шанс; если пошустрить, он, кто знает, сможет вытащить и оба счастливых билетика.

Что касается секса, то этот год у него начался весьма недурно. Прибытие девочек из стран Востока привело к падению цен; теперь можно без проблем обеспечить себе релаксацию за 200 франков против 400 несколько месяцев тому назад. На беду, в апреле ему пришлось оплачивать основательный ремонт своего автомобиля после аварии, к тому же всю вину свалили на него. Банк начал прижимать его, пришлось себя ограничивать.

Он приподнялся на локте и налил себе первую порцию виски. «Свинг мэгезин», купленный на автостоянке близ Анжера, лежал открытый; красовавшийся там тип, не снявши носки, с ви-

димым усилием нацеливался членом в объектив; звали его Жерве. «Не чета моему гвоздю, — вздохнул Брюно, — совсем не чета». Он натянул трусы и двинулся к санитарному блоку. Как бы то ни было, с надеждой сказал он себе, если взять, к примеру, вчерашнюю squaw, она относительно съедобна. Толстые, малость отвисшие груди — это идеальный вариант для доброй испанской сосалки; а у него уже года три как такого не было. А между тем он падок на испанские сосалки; но шлюхи, как правило, этого не любят. Может, их раздражает фонтан спермы прямо в лицо? Разве это требует большей траты времени и личных усилий, чем минет? Или так всегда бывает, когда повинность оказывается нетипичной; испанская сосалка обычно дурно выполняется, а значит, не предусматривается, стало быть, насчет ее трудно столковаться. Для девок это трюк скорее интимный. Только для своих, вот так. Не раз Брюно, взыскующему именно испанской сосалки, приходилось, умерив свои аппетиты, сходиться на простой сосалке, то есть минете. Иногда, впрочем, удавалось настоять на своем; но все равно, в структурном отношении по части испанской сосалки товар всегда оставлял желать лучшего. Так полагал Брюно.

Добравшись в своих размышлениях до этого пункта, Брюно подошел к корпусу №8. Более или менее покорившись неизбежности путаться со старыми потаскухами, он пережил жестокое потрясение, столкнувшись с девочками-подростками. Их было четыре, от пятнадцати до семнадцати, они стояли возле душевой, прямо напротив ряда умывальников. Две из них, в купальниках, ждали; две другие резвились, словно уклейки, щебеча и брызгаясь, повизгивая: эти были совершенно голые. Зрелище было неописуемо грациозным и эротичным, он такого не заслуживал. В трусах у него напряглось; он достал свой болт и прижался к стойке умывальника, одновременно тыкая в челюсть зубной щеткой. От усердия он поранил десну и вытащил изо рта окровавленную щетку. Меж тем головка члена раздулась, горела, охваченная ужасающим зудом; уже начинала формироваться капля.

Одна из девочек, хрупкая брюнетка, вышла из-под душа и схватила махровое полотенце; она удовлетворенно похлопала себя по юной груди. Рыжеволосая крошка сбросила трусики и нырнула под душ; шерсть ее киски была светло-золотистой. Брюно испустил легкий стон, у него кружилась голова. Он имеет право скинуть тру-

сы, подойти к душевой, встать там в ожидании. Это его право — подождать своей очереди возле душа. Он представил себе, как онанирует перед ними; как произносит что-нибудь вроде: «Вода теплая?» Расстояние от одного душа до другого было сантиметров пятьдесят; если бы он принимал душ рядом с рыженькой, она бы, может быть, случайно задела его член. При такой мысли головокружение усилилось; он вцепился в фаянсовую раковину умывальника. В тот же миг две девицы с оглушительным хохотом выкатились вон через дверь справа. На них теперь были черные шорты, расшитые сверкающими полосками. Брюно сразу ослаб, затолкал свой штырь в трусы и сосредоточился на проблемах с зубами.

Позже, все еще не оправившись от шока после этой встречи, он спустился в столовую позавтракать. Он расположился особняком, ни с кем не затевал разговора; жуя свои витаминизированные злаковые кашки, он размышлял о вампиризме сексуального поиска, о его фаустианском аспекте. Все это абсолютная ложь — то, что толкуют о гомосексуализме, думал, например, Брюно. Большинство педерастов интересуются молодыми людьми от пятнадцати до двадцати пяти лет; за пределами этого возраста, по их мнению, суще-

ствуют лишь старые дряблые задницы. Поглядите на парочку старых педиков! — мысленно восклицал Брюно. Всмотритесь в них повнимательней; иногда между ними есть симпатия, а то и взаимная привязанность; но разве они вожделеют друг к дружке? Да ни в коем случае! Стоит только какому-нибудь маленькому круглому заду продефилировать мимо, и они рвут друг друга в клочья, как старые пантеры-климактерички, лишь бы прибрать к рукам тот кругленький задок. Вот о чем раздумывал Брюно.

И ведь во многих случаях, мыслил он далее, так называемые гомосексуалисты служат моделью для всего остального общества. Взять, к примеру, его самого: ему сорок два года; внушают ли ему желание женщины тех же лет? Никоим образом. Напротив, он чувствует, что за маленькой киской, спрятанной под мини-юбкой, все еще готов идти на край света. Ну ладно, пусть не на край, но по меньшей мере до Бангкока. Как-никак тринадцать часов полета.

3

Половое влечение возбуждают в основном юные тела, и то, что пространство соблазна все больше заполоняют совсем молоденькие девчонки, по существу, не более чем возвращение к норме, к истинности желания, подобное тому возврату к подлинным масштабам цен, что происходит, когда спадет жар биржевой лихорадки. Это отнюдь не облегчает той мучительной ситуации, в которую годам к сорока попадают женщины, чье двадцатилетие пришлось на «эпоху шестьдесят восьмого». Как правило, разведенные, они ни в коей мере не могут рассчитывать на брак — страстный или постылый, — институт, в дело скорейшего упразднения какового они внесли свою посильную лепту. Будучи представительницами поколения, которое с размахом, доселе невиданным, утверждало превосходство юности над зрелостью, они лишены права удивляться тому, что поколение, пришедшее им на смену, в свой черед обливает их презрением. В конце концов, культ тела, который они некогда столь яростно провозглашали, по мере увядания их собственной плоти неминуемо приводил их ко

все более острому отвращению к самим себе — отвращению, мало отличающемуся от того, которое они могли прочесть во взглядах окружающих.

Мужчины их возраста находились, в общем и целом, не в лучшем положении; однако такой схожести жребия отнюдь не суждено было породить солидарности между теми и другими: мужчины, перевалив за сорок, в массе своей продолжали увиваться за молоденькими — и подчас с известным успехом, удача могла выпадать по меньшей мере тем, кто, сумев ловко ввязаться в житейскую игру, достиг известности, определенного интеллектуального либо финансового уровня; а для женщин в подавляющем большинстве случаев приход зрелости был чреват поражением, мастурбацией и стыдом.

Являясь привилегированным приютом сексуальной раскрепощенности и свободы желания, Край Перемен, само собой, должен был скорее, чем любое другое место, стать краем горечи и депрессии. Прощайте, объятия на траве лужаек, в сиянии полной луны! Прощайте, квазидионисийские торжества во славу нагих, умащенных маслом тел под лучами полуденного солнца! Так нудно бубнили сорокалетние, взирая на свои повисшие члены и жирные округлости.

К 1987 году в Крае стали появляться первые кружки полурелигиозной направленности. Разумеется, христианство оставалось вне игры; но инициаторы — люди, по существу, довольно терпимые — смогли примирить мистическую, в достаточной мере туманную экзотику с культом тела, который они рассудку вопреки продолжали проповедовать. Кабинеты сенситивного массажа или раскрепощения плотского начала, само собой, держались на плаву; но становилось все заметнее стремительное нарастание интереса к астрологии, египетским картам таро, медитации по поводу чакр[5], к особым энергиям. Имели место «встречи с ангелом»; кое-кто научился улавливать кристаллические вибрации. Сибирское шаманство впечатляюще проявило себя в 1991-м, когда вследствие удлиненного сеанса инициации около жаровен с освященными углями один из участников действа скончался от сердечной недостаточности. Тантрический культ, соединяющий сексуальные упражнения, туманную медитацию и глубокий эгоизм, имел особо выдающийся успех. За несколько месяцев Край — подобно многим другим подобным

[5] Примечание: 5

Чакра — в индуистской мифологии оружие в одной из четырех рук бога Вишну, обладающее сверхъестественной силой

заведениям Франции и Западной Европы — в общем-то превратился в центр *NewAge*[6], относительно модный, сохраняющий к тому же гедонистическую и анархическую специфику «в стиле семидесятых», что обеспечивало ему особое место на рынке.

После завтрака Брюно вернулся к себе в палатку, поколебался, не заняться ли онанизмом (воспоминание о девчонках еще не утратило остроты), но в конце концов решил воздержаться. Эти обалденные юные созданья, должно быть, являли собой потомство все тех же представительниц поколения 68-го года, чьи сплоченные группы в пределах кемпинга всюду попадались на глаза. Значит, некоторые из этих престарелых шлюх наперекор всему умудрились продолжить свой род. Сей факт навел Брюно на смутные, но малоприятные размышления. Резким движением он дернул молнию, на которую запиралась его палатка-иглу, небо над ней синело. Белые облачка, словно брызги спермы, плыли над

[6] Примечание: 6

Новая эра (англ.). Название восходит к астрологической идее наступления в начале третьего тысячелетия эры Водолея, которая принесет на землю мир и спокойствие. Эта идея легла в основу движения New Age, призывающего к предельной терпимости и включающего в себя элементы как традиционных религий, так и оккультизма и эзотерики

верхушками сосен; день будет погожим. Он заглянул в свою недельную программу и остановил внимание на пункте первом: «Креативность и релаксация». На утро ему предлагались на выбор: пантомима и психодрама, занятия акварелью, композиция. Насчет психодрамы — нет уж, спасибо, это уже устраивали в замке возле Шантийи, на уик-энд: пятидесятилетние аспирантки-социологини катались по гимнастическим матам, требуя плюшевых мишек у папаши; этого удовольствия лучше избежать. Акварель была соблазнительна, но придется выбираться под открытое небо, садиться на сосновые иголки, иметь дело с муравьями и всякими неудобствами. И все это чтобы сотворить какую-нибудь мазню, стоит ли?

У ведущей в группе композиции были длинные черные волосы, крупный, обведенный кармином рот (того типа, что обычно называют «рот для минета»); на ней были спортивные брюки и блуза-хитон. Красивая женщина, высокий класс. «И тем не менее старая шлюха», — подумал Брюно, занимая первое попавшееся место в малочисленном кружке участников. Справа от него оказалась жирная седовласая тетка в очках с толстыми стеклами, с устрашающе землистым лицом; она шумно сопела. От нее несло вином, а ведь сейчас

не позже чем половина одиннадцатого.

— Чтобы почтить нашу встречу, — приступила ведущая, — чтобы почтить Землю и пять направлений пути, мы начнем наше занятие с упражнения хатха-йоги, которое называется «поклонение солнцу». — Засим последовало словесное описание невообразимой позы; тут пьянчужка рядом с ним впервые рыгнула, — Ты утомилась, Жаклин, — заметила йогиня. — Не надо делать упражнение, если ты его не чувствуешь. Приляг. Немного позже к тебе присоединится вся группа.

И в самом деле пришлось лечь; между тем кармическая руководительница пустилась в слащавое, пустопорожнее словоблудие в духе Контрексевиля:

— Вы погружаетесь в дивную, чистую влагу. Эта влага омывает ваши члены, ваш живот. Вы благодарите мать Землю. Ощутите ваше желание. Возблагодарите самих себя за то, что это желание дано вам, — и т.д. и т.п.

Растянувшись на засаленном татами, Брюно чувствовал, как от раздражения у него стучат зубы; рядом с равномерными интервалами рыгала пьяная баба. Между двумя отрыжками она издавала протяжное «Гаааах!», призванное

наглядно выразить достигнутое ею состояние непринужденности. Кармическая потаскуха продолжала свой скетч, взывая к земным силам, чьи излучения пронизывают чрево и половые органы. Пробежавшись по четырем стихиям, она, удовлетворенная собственным выступлением, заключила:

— Теперь вы достигли предела рациональной ментальности; вы установили контакт с вашими глубинными планами. Прошу вас: откройтесь навстречу безграничным пространствам творения.

«Пошла в задницу!» — мысленно выбранился разъяренный Брюно, с немалым трудом поднимаясь на ноги.

Далее имел место сеанс писания, за коим последовали общее вводное слово и зачитывание текстов. На этом занятии была всего одна терпимая куколка: ладненькая рыжая крошка в джинсах и тенниске, которая отзывалась на имя Эмма и сотворила безукоризненно глупый стишок, где шла речь о лунных баранах. Впрочем, остальные тоже исходили восторгом и благодарностью по поводу обретенного контакта с матерью нашей Землей и отцом нашим Солнцем, все как один. Дошел черед до Брюно. Мрачным голосом он прочел свое краткое сочинение:

Таксисты – педерасты, черт их дери,
Не останавливаются, хоть умри!

— Это воспоминание, которое не оставляет тебя, — проронила йогиня. — Ты все еще переживаешь давнюю обиду, потому что не поднялся над своими темными энергиями. Твои глубинные планы отягощены, я ощущаю это. Мы можем помочь тебе, здесь и сейчас. Мы встанем и образуем круг.

Они поднялись на ноги и, взявшись за руки, расположились кольцом. Брюно волей-неволей взял за руку пьянчужку справа, а слева одного из тех гнусных бородачей, что похожи на Каванна[7]. Сосредоточенно, но вместе с тем и спокойно инструкторша йоги возгласила протяжное «Ом!». Ее крик не остался безответным: остальные тотчас принялись издавать это «Ом!», как будто всю свою жизнь только тем и занимались. Брюно предпринял отважную попытку включиться в гулкий ритм действа, как вдруг почувствовал, что теряет равновесие, заваливаясь вправо: пьянчужка, впав в транс, обвисла мешком. Он выпустил ее руку, но падения избежать не смог и

---

[7] Примечание: 7

Франсуа Каванна (р. 1923) — французский писатель, произведения которого насыщены откровенными эротическими сценами

бухнулся на колени подле этой старой паскуды, которая брыкалась, лежа на спине. Йогиня, на миг прервавшись, невозмутимо констатировала:

— Да, Жаклин, ты права: если чувствуешь, что хочешь лечь, так и надо сделать. — Эти двое, судя по всему, были хорошо знакомы.

Второй сеанс писания прошел немного удачнее; вдохновившись утренним мимолетным видением, Брюно удалось создать следующее поэтическое творение:

Я в бассейне пипку
Выставил, как рыбку,
Чтобы загорела.
(Браво, пипка, смело!)

Бог явился мне
Наверху, в солярии,
С яблоком в руке
И с глазами карими.

А живет где он?
(Браво, мой пистон!)
Там, где все светила.
(Браво, мой торчило!)

— Здесь много юмора, — отметила йогиня с легким упреком.

— Мистики, — встряла рыгающая тетка. — Это скорее не юмор, а бессодержательная мистика…

Что с ним станется? До каких пор он сможет выдерживать это? И стоит ли труда? Брюно всерьез задавался этим вопросом. Как только занятие кончилось, он устремился к своей палатке, даже не попытавшись завязать разговор с рыжей малюткой; ему было необходимо глотнуть перед завтраком виски. Невдалеке от своего привала он столкнулся с одной из тех девчонок, на которых глазел в душевой; грациозным жестом, от которого приподнялись ее груди, она отцепила с веревки кружевные трусики, накануне вывешенные сушиться. Он почувствовал, что готов взлететь на воздух и расплескаться по кемпингу шматами жира. Что, в сущности, изменилось со времен его собственного отрочества? У него были те же вожделения, то же сознание, что ему вряд ли удастся их удовлетворить. Мир, не уважающий ничего, кроме юности, мало-помалу *пожирает* человеческое существо. К завтраку он присмотрел себе одну католичку. Определить было не трудно, она носила на шее большой железный крест; к тому же у нее были припух-

шие нижние веки, что придает взгляду глубину и часто изобличает умонастроение глубоко католическое, если не склонность к мистицизму (иногда, сказать по правде, также и к алкоголизму). С длинными черными волосами, очень белой кожей, она была малость тощевата, но недурна. Напротив нее сидела белокурая с рыжиной девица швейцарско-калифорнийского типа, ростом по меньшей мере метр восемьдесят, с великолепным телом, по виду ужасающе здоровая. Это была руководительница тантрических занятий. На самом деле она была родом из Кретейя и звалась Брижит Мартен. В Калифорнии она поднарастила себе бюст и прошла посвящение в тайны восточной мистики, да к тому же сменила имя: возвратясь в Кретей, она в течение года вела тантрические занятия для всякого бездельного сброда под именем Шанти Мартен. Католичке она, по-видимому, внушала безмерное восхищение. Поначалу Брюно сумел подключиться к разговору, который вертелся вокруг диеты из натуральных продуктов, — у него имелись сведения насчет пшеничных проростков. Но дамы очень скоро переключились на религиозные темы, и тут ему было за ними не угнаться. Можно ли приравнять Иисуса к Кришне, и если нет,

то к кому? Стоит ли отдать Рентентену предпочтение перед Расти? Католичка, хоть и будучи католичкой, папу не жаловала: Иоанн Павел II с его средневековой ментальностью тормозит духовное развитие Запада — таков был ее тезис.

— Верно, — согласился Брюно, — он такая лопушенция… — Малоупотребительное выражение подогрело интерес к нему со стороны обеих собеседниц. — А вот далай-лама умеет шевелить ушами, — грустно заключил он, приканчивая свой соевый бифштекс.

Католичка бодро вскочила на ноги, не притронувшись к кофе. Она не желала опаздывать на свои «Правила да-да» — занятия по самораскрытию личности.

— Ах да, «да-да» — это класс! — с жаром вскричала швейцарка, в свою очередь вставая.

— Спасибо за беседу, — обронила католичка, с милой улыбкой обернувшись к нему.

Ну, он не так уж плохо выкрутился. «Разговаривать с этим бабьем, — думал Брюно, возвращаясь к себе в кемпинг, — все равно что отливать в писсуар, полный окурков; или еще как хезать в унитаз, забитый гигиеническими прокладками: они не пролезают в трубу, а потом от них воняет». Слово упруго пронизывает пространство, то про-

странство, что разделяет тела. Не пробившись к цели, лишенное отзыва, оно по-дурацки зависает в воздухе, такие слова начинают загнивать и смердят, это бесспорный факт. Служа для налаживания взаимосвязей, слово равным образом способно их разрушать.

Он расположился в шезлонге у бассейна. Девчонки глупо егозили, подзуживая парней, чтобы те столкнули их в воду. Солнце стояло и зените. Голые лоснящиеся тела сновали взад-вперед вокруг клочка голубой глади. Сам того не замечая, Брюно погрузился в чтение «Шести приятелей и человека в перчатке», по-видимому подлинного шедевра Поля Жака Бонзона, недавно переизданного в серии «Библиотека для юношества». Под почти нестерпимо палящим солнцем приятно было перенестись в лионские туманы, побыть в успокоительном обществе славного пса Капи.

Послеобеденная программа предоставляла ему выбор между сенситивным гештальт-массажем, рассвобождением голосовых связок и перерождением в горячей воде. Кстати, массаж по своему характеру был как нельзя более hot, горяченький. Представление о рассвобождении голоса он получил мимоходом, по пути на сеанс массажа. Всего там было около десятка пациентов; крайне

возбужденные, они скакали туда-сюда под водительством тантристки, повизгивая, словно перепуганные индюки.

Массажные столики, покрытые банными полотенцами, стояли на вершине холма, образуя широкий круг. Участники были нагишом. Вступив в центр круга, ведущий — низенький, малость косоватый брюнет — принялся излагать краткую историю сенситивного гештальт-массажа: берущий свое начало в трудах Фрица Перлса о гештальт-массаже, или массаже по-калифорнийски, он постепенно вобрал в себя некоторые сенситивные достижения, став — по крайней мере, таково было мнение лектора — наиболее полноценной методикой массажа. Ему известно, что не все в Крае разделяют эту точку зрения, но вступать в полемику он не желает. Как бы то ни было — это он сообщил в заключение — массаж массажу рознь; в конечном счете даже можно сказать, что нет двух одинаковых массажей. Покончив с преамбулой, он приступил к демонстрации, уложив на стол одну из участниц.

— Ощутить затруднения своей партнерши… — поучал он, поглаживая ее плечи; его член покачивался в нескольких сантиметрах от белокурых волос девушки. — Гармонизировать,

неустанно гармонизировать… — продолжал он, обливая маслом ее груди. — Уважать неприкосновенность телесной структуры… — Его руки соскользнули к ее животу, девушка зажмурилась и с видимым удовольствием раздвинула ляжки. — Вот, — заключил он, — теперь вы будете работать совместно. Действуйте, обретайте друг друга в пространстве; спешите сблизиться друг с другом.

Огорошенный предшествующей сценой, Брюно отреагировал с запозданием, а ведь тут-то и надо было ловить момент. Следовало невозмутимо приблизиться к вожделенной партнерше, с улыбкой остановиться перед ней и спокойно спросить: «Хочешь потрудиться вместе со мной?» Остальные, по-видимому, знали, с какого конца спаржу едят, и за тридцать секунд порасхватали всех. Брюно растерянно огляделся и обнаружил, что остался один на один с мужчиной, коренастым, низеньким волосатым брюнетом с толстой колбасой. Он вовремя не сообразил, что здесь было всего пять девиц на семерых мужиков.

Благодарение богу, этот второй не был похож на голубого. Явно взбешенный, тот, ни слова не говоря, улегся на живот, положил голову на скрещенные руки и ждал. «Ощутить затрудне-

ния… уважать неприкосновенность телесной структуры…» Брюно не пожалел масла, но дальше колен продвинуться не смог; этот тип лежал недвижимо, словно бревно. У него даже ягодицы поросли шерстью. Масло стало стекать, капая на банное полотенце, икры волосатого, наверное, уже пропитались им насквозь. Брюно поднял голову. Совсем рядом он увидел двух мужчин, они лежали на спине. Сосед справа подставлял для массажа свой торс, груди девушки мягко покачивались; ее киска располагалась на уровне его носа. Кассетник ведущего разливал в воздухе широкие волны музыкальной пены из синтезатора; небо сияло безукоризненной синевой. Вокруг Брюно, лоснясь от массажного масла, плавно вздымались озаренные солнцем члены. Все это было беспощадно *реальным.* Он был не в силах продолжать. В отдаленной точке круга ведущий расточал советы одной из пар. Брюно торопливо схватил свой рюкзак и пустился вниз по склону к воде. Вокруг бассейна был самый час пик. Нагие женщины, растянувшись на травке, болтали, читали или просто принимали солнечные ванны. Куда бы приткнуться? Перекинув полотенце через плечо, он принялся бродить по лужайке; в известном смысле он заблудился среди вульв.

Он уже начал убеждать себя, что пора бы проявить решительность, когда увидел католичку, беседующую со смуглым крепким коротышкой, черноволосым и курчавым; его глаза смеялись. Брюно приветствовал ее неопределенным жестом узнавания — она этого не заметила — и растянулся рядом. Какой-то субъект мимоходом окликнул чернявого коротышку: «Привет, Карим!» Тот, не прерывая разговора, махнул рукой. Она слушала молча, раскинувшись на спине. Промеж ее тощих бедер была премиленькая штучка, приятно выпуклая, с черной, упоительно волнистой шерсткой. Продолжая болтать, Карим легонько поглаживал свои яички. Брюно прижался щекой к земле, сосредоточил внимание на лобковой поросли католички, находившейся в метре от него: то был мир нежности. Он весь расслабился, отяжелел и заснул.

Четырнадцатого декабря 1967 года Национальное собрание приняло в первом чтении закон Ньеверса о легализации противозачаточных средств; таблетки, хоть их выпуск еще и не был оплачен Министерством социального обеспечения, отныне поступили в открытую продажу в аптеках. Это и был тот самый момент, начиная с которого широким слоям населения открылся

доступ к «сексуальной свободе», доселе приберегаемой для себя привилегированными кругами, представителями свободных профессий и богемой, равно как и руководителями мелких и средних предприятий. Отметим пикантную подробность: эта «сексуальная свобода» поначалу иногда представала в обличье коллективной мечты, между тем как в действительности речь шла о новой ступени исторического возвышения индивидуализма. Из такого старого доброго словосочетания, как «общее хозяйство», явствует, что супружеская пара, семья представляли собой последний островок первобытного коммунизма в лоне либеральной цивилизации. Следствием сексуального освобождения явился распад этих сообществ переходной эпохи — последнего препятствия, стоящего между индивидом и рынком. Процесс такого распада длится и поныне.

В послеобеденные часы руководящий комитет Края Перемен чаще всего устраивал *танцвечера.* Кстати, примечательно, что в подобном месте, где особое значение придается новациям в области духовности, такого рода выбор подтверждает незаменимость танцевальных вечеров как способа общения полов в некоммунистическом социуме. Как подчеркивал Фредерик Ледантек,

первобытные общества тоже основывали свои празднества на танцах, другими словами — на впадении в транс. Итак, звуковая аппаратура и бар были расположены на центральной лужайке, и люди до поздней ночи дрыгали ногами под луной. Брюно это давало еще один шанс. По правде говоря, молоденькие девицы, которые имелись в кемпинге, на эти вечера забредали редко. Они предпочитали бегать на окрестные дискотеки (в «Бильбокэ», в «Династию», в «2001», случалось, и в «Пиратов»), там закатывали тематические вечера, где можно побеситься, с мужским стриптизом или поп-звездами из первой десятки. Одинокими в Крае оставались только два-три юнца с мелкими членами и сонным темпераментом. Они довольствовались тем, что торчали в своей палатке, вяло пощипывая струны расстроенной гитары, в то время как все прочие взирали на них с долей презрения. Брюно чувствовал, что он недалеко ушел от этих молокососов; но как бы то ни было, за отсутствием девчонок, угнаться за которыми в любом случае почти немыслимо, хорошо бы «воткнуть дротик в какой-нибудь жирный кусочек», если пользоваться терминологией читателя «Ньюлука», которого он встретил в кафетерии «Анжер-Нор». Движимый этой на-

деждой, он в одиннадцать вечера, натянув белые брюки и матросскую рубаху, спустился туда, откуда доносился самый сильный шум.

Окинув взглядом полукруг танцующих, он прежде всего заметил Карима. Тот, забросив католичку, сосредоточил свои усилия на обворожительной розенкрейцерской красавице. Они с мужем прибыли сюда после обеда, высокие, стройные, серьезные, на вид уроженцы Эльзаса. Устроились они в огромной замысловатой палатке, она была вся в навесах и заклепках, муж ставил ее часа четыре. Тогда же он насел на Брюно, расписывая ему потаённые красоты Розы и Креста. Глаза его горели за стеклами круглых маленьких очков; это был сущий фанатик. Брюно слушал вполуха. По утверждениям этого субъекта, движение розенкрейцеров зародилось в Германии, оно, само собой, было вдохновлено некими алхимическими трудами, однако равным образом его следовало увязать с рейнским мистицизмом. «Все это штучки педиков и нацистов на самом деле, — рассудил Брюно. — Засунь свой крест себе в задницу, милейший, — сонно думал Брюно, косясь на откляченный круп его красавицы жены, елозившей на коленях вокруг газовой плитки. — И розу отправь туда же», — мысленно

заключил он, когда она выпрямилась, показав груди, и велела мужу пойти переодеть ребенка.

Как бы то ни было, сейчас она танцевала с Каримом. Диковинная из них вышла парочка: он на добрых полметра ниже, упитанный мужичок себе на уме, рядом с этой высоченной тевтонской кобылой. Танцуя, он улыбался и болтал без умолку, рискуя потерять из виду свою изначальную цель обольстителя; тем не менее дело, похоже, продвигалось: она тоже улыбалась, глядя на него с любопытством, почти очарованно; один раз она даже громко расхохоталась. На дальнем конце лужайки ее супруг растолковывал новому потенциальному адепту, откуда в 1530 году в земле Нижняя Саксония взялись розенкрейцеры. Его трехлетний белобрысый сынок, несносный сопливый задохлик, через равные промежутки времени принимался реветь, требуя, чтобы его отнесли в кроватку. Короче, и здесь приходилось быть свидетелем достоверного момента *реальной жизни.* Рядом с Брюно два щуплых типа, по виду священнослужители, комментировали действия сердцееда. «Он, понимаешь ли, горяч, — говорил один. — У него нет бумажек, чтобы ей заплатить, он не так красив, и с брюшком, и даже ростом ниже ее. Но он, паршивец, страстен, этим и берет».

Другой с унылой миной подтверждал сказанное, перебирая пальцами воображаемые четки. Допивая свою апельсиновую водку, Брюно увидал, что Кариму удалось завлечь розенкрейцершу на поросший травой склон. Одной рукой обнимая ее за шею, он, не прерывая разговора, осторожно просунул другую ей под юбку. «Вот ведь, даже ноги расставила, сучка нацистская», — подумал Брюно, отходя прочь от танцующих. Прежде чем выйти из освещенного круга, он мельком приметил, как католичка подставляла свой зад какому-то типу, похожему на инструктора по лыжному спорту, а тот лапал ее за ягодицы. Брюно оставалось лишь вернуться в палатку, где его ждала пачка равиолей.

В палатке он машинально, движимый лишь безнадежностью, проверил свой автоответчик. Там было послание. «Ты, наверное, уехал в отпуск, — прозвучал спокойный голос Мишеля. — Позвони мне, когда вернешься. Я тоже в отпуске, и надолго».

4

Он шел и шел, он достиг границы. Стая хищных птиц кружила в небе, тяготея к невидимому центру — к падали, должно быть. Мышцы его ног пружинисто играли, отзываясь на неровности дороги. Пелена желтеющей травы одевала холмы; в восточном направлении глазу открывалась бесконечная панорама. Со вчерашнего дня он ничего не ел; ему не было страшно.

Проснулся он совсем одетый, лежа поперек кровати. Перед входом в магазин единых цен разгружали грузовик с товарами. Было чуть больше семи часов утра.

Уже много лет Мишель вел жизнь в чистом виде интеллектуальную. Чувства, определяющие жизнь человеческую, не являлись объектом его внимания; он плохо в них разбирался. В наши дни можно организовать свое существование с безукоризненной четкостью; кассирши в супермаркете откликались на его скупое приветствие. За десять лет, проведенных им в стенах общежития, его обитатели многажды сменялись. Иногда образовывались парочки. Тогда он наблюдал

за переездом: друзья съезжающихся перетаскивали по лестнице коробки и лампы. Все были молоды, смеялись. Иной раз (но не всегда) после очередного разрыва оба сожителя съезжали одновременно. Квартира освобождалась. Что из этого следует? Как интерпретировать происходящее? Тут мудрено прийти к какому-либо заключению.

Сам он хотел бы только любить, по крайней мере он не желал ничего иного. Ничего определенного. Жизнь, полагал Мишель, должна быть чем-то простым, чтобы ее можно было прожить как череду маленьких обрядов, исполнение которых бесконечно повторяется. Эти ритуалы подчас глуповаты, но на них тем не менее можно положиться. Жизнь без игры случая, без драм. Но человеческое существование было устроено не так. Иногда он выходил прогуляться, наблюдал за молодежью, смотрел на дома. Ему было ясно: никто больше не понимает, как надо жить. Тут он в конечном счете преувеличивал: некоторые все же выглядели собранными, увлеченными своим делом, отчего их жизнь, казалось, была преисполнена смысла. Так, поборники «Неусыпного действия» считали важным проталкивание на телеэкраны кое-каких рекламных лент (осуждаемых кое-кем за порнографию), крупным планом

представляющих съемки всевозможных гомосексуальных утех. Как правило, жизнь персонажей выглядела занимательной и динамичной, усеянной разного рода происшествиями. У них было множество сексуальных партнеров, они с ними совокуплялись во всяких засекреченных лавочках. Иногда презервативы слезали или лопались. Тогда они умирали от СПИДа, но и сама их кончина приобретала вид доблестный и достойный. Телевидение, чаще всего первая программа, имело обыкновение постоянно поучать насчет достоинства. В юности Мишель верил, что особое достоинство придают человеку страдания. Теперь приходилось признать: он заблуждался. Если что и придавало смертному дополнительное достоинство, то это само телевидение.

Несмотря на непреходящие невинные радости, доставляемые телевизором, он считал нужным выходить на люди. Хотя бы за покупками. Без точных ориентиров человек разбрасывается, из такого уже пользы не выжмешь.

Утром 9 июля (в день святой Амандины) он заметил, что тетради, папки и картотечные ящики уже выстроились на полках магазина единых цен. Начиналась кампания, которую называли в газетах «Начало учебного года без головной

боли», что представлялось ему не вполне убедительным. Ведь что такое учение, накопление знаний, если не сплошная головная боль?

На следующий день он обнаружил в своем почтовом ящике осенне-зимний каталог фирмы «Три швейцарца». На упаковке из толстого картона не было указано никакого адреса; быть может, его засунул туда какой-нибудь коммивояжер. Как давний клиент дешевых магазинов с доставкой на дом, он привык к этим маленьким знакам внимания, свидетельствам взаимной приязни. Лето определенно на переломе, коммерческие стратеги уже ориентируются на осенний спрос; однако небо по-прежнему сияет, и, в сущности, на дворе еще только начало июля.

Мишель с юных лет читывал разного рода романы, где все вертелось вокруг темы абсурда, экзистенциального отчаяния, неизбывной пустоты бытия. Литература такого рода убедила его лишь отчасти. В ту пору он часто виделся с Брюно. Брюно мечтал стать писателем; он марал страницу за страницей и много мастурбировал; с его легкой руки Мишель открыл для себя Беккета. Вероятно, Беккет действительно был, что называется, великим писателем, однако Мишелю не удалось дочитать ни одной из его книг. Это

было на исходе семидесятых; ему и Брюно было по двадцать лет, и они уже не чувствовали себя молодыми. Так все и пойдет дальше: они будут ощущать себя все более старыми и стыдиться этого. Эпохе удалось совершить в них невиданную трансформацию: утопить трагическое предчувствие смерти в обыденном и вялом ощущении старения. Два десятилетия спустя Брюно все еще по-настоящему не думал о смерти; он начал сомневаться, что когда-либо о ней задумается. Он до самого конца будет жаждать жизни, оставаясь по уши в ее проблемах, в борьбе с невзгодами и осложнениями конкретного существования и недугами дряхлеющего тела. Ему суждено до конца дней добиваться хоть малой отсрочки, продления своего земного бытия. А главное, до конца дней он будет искать последнего сладкого мгновения, надеяться урвать себе последний лакомый кусочек. Хорошо проведенная фелляция, сколь бы ничтожна она ни была перед лицом вечности, доставляет реальное удовольствие; отрицать это было бы неразумно, думал Мишель, переворачивая посвященные тонкому белью («Поясок на талии — чувственный силуэт!») страницы каталога.

Что касается Мишеля, то он занимался она-

низмом мало; сексуальные фантазии, которые ему, молодому исследователю, могли внушить реальные молодые женщины (по большей части коммерческие представительницы больших фармацевтических лабораторий) посредством «Минителя», постепенно выцветали в его воображении. Теперь он мирно контролировал угасание собственной мужественности посредством легкого безобидного потряхивания, и тут ему для вдохновения с лихвой хватало его каталога «Три швейцарца», да иной раз сверх того премиленького CD-ROM за 79 франков. Брюно же, как он знал, наоборот, растрачивал свои зрелые годы, преследуя непостоянных Лолит с пухлыми грудками, круглыми ягодицами и зазывными устами; благодарение богу, у Брюно было прочное положение государственного служащего. Не то чтобы он жил в мире абсурда; скорее в некой мелодраматической мешанине, среди винных паров и эротических грез. Мишель существовал в мире точном, исторически нестойком, но подчиненном общему ритму некоторых коммерческих церемониалов вроде лётных соревнований, Рождества, Нового года или выхода в свет двухгодичного каталога «Три швейцарца». Будь он гомосексуалистом, он мог бы принимать участие

в «Спидафоне» или «Гей-прайде». Окажись он распутником, его приводил бы в восхищение «Эротический салон». Если бы он был поспортивнее, в эту самую минуту он бы следил за пиренейским этапом велогонок «Тур де Франс». Будучи потребителем без особых пристрастий, он тем не менее всякий раз с радостью переживал двухнедельные итальянские каникулы, не выходя из магазина единых цен. Все эти вещи были хорошо организованы, поистине гуманным образом; во всем этом он мог бы находить свою долю счастья; ничего лучше он не придумал бы, даже если бы захотел.

Утром 15 июля он вытащил из мусорной урны у подъезда проспект религиозного содержания. Разнородные житейские сюжеты сводились к одинаковому блаженному концу: встрече с воскресшим Христом. Его заинтересовал случай с одной молодой женщиной («Изабель была в шоке, ведь она рисковала пропустить учебный год в университете»), хотя пришлось признать, что к его собственному опыту ближе история некоего Павла («Для Павла, офицера чехословацкой армии, высшей точкой его военной карьеры стала должность командира противоракетной установки»). Он без труда мог применить к самому себе

следующее замечание: «Будучи сведущим в технике специалистом, выпускником престижного учебного заведения, Павел мог бы быть доволен своим положением. Он же, несмотря на это, был несчастлив и пребывал в неустанном поиске смысла жизни».

Каталог «Три швейцарца», со своей стороны, казалось, давал читателю исторически более обоснованное представление о болезненной немощи европейцев. Подразумеваемая с первых же страниц мысль о близких коренных изменениях цивилизации на семнадцатой странице вызревала до окончательной формулировки; Мишель потратил несколько часов, размышляя над сообщением, содержавшимся в тех двух фразах, что подводили окончательный итог: «Оптимизм, великодушие, согласие, гармония — залог преображения мира. ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ БУДЕТ ЖЕНСКИМ».

Брюно Мазюр в вечерних новостях возвестил, что американский зонд только что обнаружил на Марсе окаменевшие следы жизни. Речь шла о бактериальных формах, по-видимому о метановых археобактериях. Таким образом, на планете, близкой к Земле, было возможно возникновение макромолекулярных биоорганизмов, они могли

выработаться из аморфных самовоспроизводящихся структур, образованных из примитивного ядра и малоизученной мембраны; потом этот процесс остановился, наверное, под воздействием климатических изменений: воспроизведение все более затруднялось, потом и вовсе прекратилось. История жизни на Марсе явила собой довольно скромный сюжет. Тем не менее (хотя Брюно Мазюр, похоже, не вполне сознавал это) сей маленький, немножко вялый рассказ о неудаче самым жестким образом противоречил всем мифическим и религиозным построениям, которыми обычно тешит себя человечество. Не было единственного, грандиозного акта творения; не было избранного народа, ни даже избранного пространства или планеты. Было лишь множество разбросанных там и сям по просторам Вселенной мелких, ненадежных и по большей части малоубедительных попыток. К тому же все это происходило ужасающе однообразно. ДНК марсианских и земных бактерий оказалась, по-видимому, идентична. Это соображение было главной причиной охватившей его легкой грусти, которая сама по себе уже являлась симптомом депрессии. Исследователя, пребывающего в нормальном, то есть бодром и деятельном

состоянии духа, подобная идентичность, напротив, должна бы обрадовать, он бы увидел в ней залог многообещающих обобщений. Если ДНК повсюду одинакова, тому должны быть причины, глубокие причины, связанные с молекулярной структурой пептидов или, может статься, с топологическими условиями самовоспроизводства. Эти глубинные основания он мог бы обнаружить; он помнил, что когда был помоложе, такая перспектива привела бы его в восторг.

К моменту своего знакомства с Деплешеном, случившегося в 1982 году, Джерзински защитил первую диссертацию в университете в Орсэ. В своем новом качестве он должен был принять участие в блестящих опытах Алена Аспе, подтверждавших нерелевантность различий в поведении двух фотонов, испущенных одним и тем же атомом кальция; в этой команде он был самым молодым ученым.

Точные, строгие, отменно документированные, опыты Аспе должны были вызвать значительный отклик в ученом мире: по общему мнению, они являлись первым исчерпывающим опровержением доводов, в 1935 году выдвинутых Эйнштейном, Подольским и Розеном против доказательного аппарата теории квантов. Нера-

венства Белла, вычисленные исходя из гипотез Эйнштейна, были перечеркнуты напрочь, причем результаты безупречно совпадали с тем, что предполагала квантовая теория. После этого оставалось только две гипотезы. Согласно одной, скрытые свойства, определявшие поведение частиц, не поддавались локализации, то есть две частицы были способны оказывать друг на друга влияние на произвольном взаимоудалении. Согласно другой, требовалось отказаться от самого понятия элементарной частицы ввиду полнейшей невозможности определения ее внутренних состояний: и тогда исследователь оказывался перед максимальной онтологической пустотой, если только не скатывался к радикальному позитивизму, ограничиваясь математическим оформлением предсказания наблюдаемых явлений и полностью отрекаясь от прояснения их физической сути. Естественно, именно к этой гипотезе и должно было склониться большинство ученых.

Первый отчет об экспериментах Аспе появился в сорок восьмом номере «Физикл ревью» под заголовком: «Экспериментальное подтверждение мысленного эксперимента Эйнштейна — Подольского — Розена: новое опровержение принципа

неэквивалентности Белла». Джерзински был одним из соавторов статьи. Несколько дней спустя Деплешен явился к нему с визитом. Он, в ту пору сорокатрехлетний, руководил Институтом молекулярной биологии Национального научно-исследовательского центра в Жиф-сюр-Иветт Чем дальше, тем отчетливее он сознавал, что в механизме генных мутаций от них ускользает нечто основополагающее и это нечто, по всей вероятности, связано с более глубокими феноменами, проявляющимися на атомном уровне.

Их первая встреча состоялась в комнате Мишеля, в университетском здании. Аскетическая унылость обстановки не удивила Деплешена: он ожидал чего-то в этом роде. Разговор затянулся до глубокой ночи. Именно существование завершенного списка базовых химических элементов, напомнил Деплешен, уже в десятых годах послужило для Нильса Бора первотолчком к размышлениям. Теория гравитационных и электронных полей в планетарной модели атома с неизбежностью должна была привести к существованию бесконечного множества химических веществ. Меж тем в основе всего мироздания — всего какая-нибудь сотня элементов, их список строго выверен и неизменен. Столь

ненормальное с точки зрения классических теорий электромагнетизма и уравнений Максвелла положение должно было, снова напомнил Деплешен, укрепить правомерность квантовой механики. По его мнению, и биология в настоящий момент оказалась в подобном положении. То, что во всем животном и растительном царстве выявляются идентичные макромолекулы, неизменные клеточные структуры, не может, по его мнению, достаточно убедительно объясняться в рамках классической химии. Тем или иным образом (каким, пока невозможно предположить) теория квантов здесь должна непосредственно вмешаться в учение о регуляции биологических феноменов. Именно здесь открывается абсолютно новое поле для исследований.

В тот первый вечер Деплешен был поражен широтой мысли и невозмутимостью своего молодого собеседника. Он пригласил его на обед к себе домой, на улицу Эколь Политекник, в следующую субботу. Там же присутствовал один его коллега-биохимик, автор трудов по транскрипции РНК.

Когда Мишель вошел в апартаменты Деплешена, ему показалось, будто он попал в декорацию кинофильма. Мебель из светлого дерева, пол, выложенный терракотовой плиткой, афганские

тканые ковры, репродукции Матисса… До сих пор он имел лишь смутное представление о жизни этой благополучной, культурной среды с ее тонким, уверенным вкусом; теперь ему было легко вообразить остальное: фамильное поместье в Бретани, возможно, сельский домик в Любероне. «Ну да, квинтеты Бартока и всякое такое», — мельком подумал он, принимаясь за первое блюдо. Обед был с шампанским, потом десерт — шарлотка с клубникой и малиной под великолепное розовое полусухое. Тут-то Деплешен и выложил ему свой план. Он сможет добиться создания договорного места в своем исследовательском объединении в Жифе; Мишелю надо будет создать себе сколько-нибудь лестную репутацию в кругах биохимиков, но сделать это надлежит побыстрее. В то же время Деплешен будет курировать подготовку его докторской диссертации, а сразу после защиты Мишель сможет получить подобающую штатную должность.

Мишель бросил взгляд на маленькую кхмерскую статуэтку, стоявшую в центре на каминной полке; выполненная весьма изящно, она изображала проповедующего Будду. Он откашлялся, прочищая горло; потом сказал, что принимает предложение.

Чрезвычайный прогресс, достигнутый за последующее десятилетие в области приборостроения и техники меток с помощью радиоактивных изотопов, позволил собрать значительное количество данных. Однако, как размышлял теперь Джерзински, в том, что касается теоретических вопросов, поднятых Деплешеном при их первой встрече, они не продвинулись ни на пядь.

Стояла глубокая ночь, когда марсианские бактерии снова возбудили его острое любопытство: он обнаружил в Интернете добрый десяток сообщений на сей счет, по большей части они исходили от американских университетов. Аденин, гуанин, тимин и цитозин обнаруживались там в нормальных пропорциях. Частью от нечего делать он заглянул на сайт Энн Арбор и нашел там сообщение о проблемах старения. Алисия Марсия-Коэльо обращала внимание читателей на потерю кодирующих сегментов в ДНК во время повторных репликаций фибропластов из тканей гладких мускулов; в этом тоже не было ничего удивительного. Он знал эту Алисию; более того, именно она десять лет тому назад лишила его невинности в Балтиморе, где был тогда конгресс генетиков, после ужина, сопровождаемого не в меру обильными возлияниями. Она была так

пьяна, что не смогла даже помочь ему снять с нее лифчик. Это был утомительный и даже тягостный момент; она только что рассталась со своим мужем, о чем сообщила ему, пока он сражался с ее застежками. Потом все пошло как надо; он сам удивился тому, что сумел воткнуть свое орудие в вагину исследовательницы и даже эякулировать, не испытав ни малейшего удовольствия.

5

Подобно Брюно, многие курортники, посещавшие Край Перемен, были сорокалетними; как и он, большинство из них работали в социальной сфере либо в области просвещения и по своему статусу являлись должностными лицами, материально вполне обеспеченными. Практически все они могли быть причислены к левым, и опять-таки практически все вели одинокую жизнь, по большей части вследствие развода. Короче, для данного места Брюно был фигурой довольно типичной, и через несколько дней он осознал, что начинает чувствовать себя чуть лучше, чем обычно, вернее, не настолько скверно. Мистически настроенные тетки, во время утреннего завтрака совершенно нестерпимые, к тому часу, когда подавали аперитив, превращались в женщин, вовлеченных в безнадежное соперничество с конкурентками помоложе. И вот под вечер в среду он свел знакомство с Катрин, пятидесятилетней отставной феминисткой, принадлежащей к разряду «темных лошадок». Брюнетка с матовой кожей, она лет в двадцать была, наверное, весьма привлекательной. Груди

у нее все еще держались на должной высоте, как он отметил в бассейне, но зад ожирел вконец. Она зациклилась на египетской символике, солнечных картах таро и т. п. Брюно спустил штаны в то время, когда она распространялась о боге Анубисе; он чувствовал, что по части эрекции она придираться не станет, так что между ними, может быть, зародится дружба. К несчастью, никакой эрекции вообще не получилось. У нее на бедрах были жировые складки, и ног она не раздвинула; расстались они довольно холодно.

В тот же вечер, незадолго до ужина, с ним разговорился субъект по имени Пьер-Луи. Он представился преподавателем математики, о чем можно было догадаться по его виду. Брюно его приметил двумя днями раньше, во время вечера, посвященного креативистским теориям; там он выдал скетч на тему доказательства математической теоремы, топтавшегося по замкнутому кругу, нечто в стиле комического абсурда, впрочем совсем не смешное. Его рука быстро-быстро бежала по белому пластику, временами вдруг спотыкаясь; тогда кожа на его огромном лысом черепе вся покрывалась морщинами умственного напряжения, лицо корчилось в гримасах, которые бедняга считал забавными; он застывал

на несколько мгновений, сжимая в руке фломастер, потом снова принимался марать доску и бубнить, бубнить. По окончании скетча человек пять-шесть зааплодировали скорее по доброте душевной. Он аж побагровел от смущения, тем все и кончилось.

В последующие дни Брюно несколько раз приходилось ускользать от его общества. Он неизменно разгуливал в парусиновой шляпе. Был тощеват и крайне долговяз, ростом как минимум метр девяносто; однако у него намечалось брюшко, и смешно было глядеть, как он с этим своим маленьким пузиком взбирается на вышку для прыжков в воду. Ему было лет сорок пять.

В тот вечер Брюно удалось быстренько смыться: воспользовавшись тем, что придурковатый верзила вместе со всеми прочими затеял импровизированные африканские танцы, он пустился вверх по склону в направлении ресторанчика где обычно обедала вся компания. Место рядом с экс-феминисткой было свободно; напротив сидела одна из ее единомышленниц-символисток. Он едва успел приступить к своему рагу, когда в дальнем конце прохода между сдвинутыми вплотную столами возник Пьер Луи; при виде свободного стула напротив Брюно его

физиономия радостно просияла. Он начал разглагольствовать еще прежде, чем Брюно вполне осознал его присутствие; сказать по правде, бубнил он что-то терпимое, так что его соседки по столу прямо-таки раскудахтались от восторга. Тут тебе и реинкарнация Озириса, и египетские марионетки… на Брюно они не обращали абсолютно никакого внимания. В какой-то момент до него дошло, что этот шут гороховый спрашивает о его профессиональных занятиях. «О, ничего особенного…» — обронил Брюно туманно; он был готов разговаривать о чем угодно, только не о государственной системе образования. Ужин начал действовать ему на нервы; он встал, чтобы пойти выкурить сигарету. К несчастью, в то же мгновение обе символистки, мощно вильнув бедрами, поднялись из-за стола, не взглянув на собеседников; вероятно, именно это и спровоцировало инцидент.

Брюно был метрах в десяти от стола, когда услышал громкое сопение или скорее хрип, странный, поистине нечеловеческий звук. Он оглянулся: лицо Пьера-Луи было ярко-красным, кулаки сжаты. Одним прыжком, без разбега — ноги вместе — он вскочил на стол. С удушьем он совладал: хрип больше не вырывался из его груди. Теперь

он топтался по столу, что есть силы колотя себя кулаками по голове; тарелки и стаканы плясали вокруг него; он расшвыривал их ногами выкрикивая: «Вы не смеете! Вы не можете так со мной обходиться!..» Чтобы справиться с ним, понадобилось пять человек. В тот же вечер его отправили в психиатрическую клинику, в Ангулем.

Около трех ночи Брюно внезапно проснулся, вышел из палатки: его прошиб пот. Кемпинг мирно дремал; было полнолуние; слышались монотонные песнопения лягушек. Он решил подождать завтрака на берегу пруда. Перед самым рассветом слегка продрог. Утренние занятия начинались часов в десять. В четверть одиннадцатого он направился к пирамиде. Поколебался перед дверью, где шел сеанс писания, но раздумал и спустился этажом ниже. Секунд двадцать разбирал программку занятий акварелью, затем поднялся на несколько ступеней вверх. Лестница состояла из прямых маршей с врезанными в них на середине пролета короткими изогнутыми сегментами со ступенями трапециевидной формы; на стыках прямой и изогнутой частей располагалась ступень, превышавшая по ширине все остальные. Именно на нее он и сел. Прислонился спиной к стене. Ему было хорошо.

Редкие минуты счастья, выпадавшие Брюно в лицейские годы, он именно так и проводил: после начала занятий усаживался на ступеньку лестницы между этажами, спокойно прислонялся к стене на равном расстоянии между двумя площадками и ждал, то прикрывая, то широко распахивая глаза. Конечно, кто-нибудь мог появиться; тогда ему придется встать, забрать свой ранец и быстрым шагом направиться в класс, где уже идет урок. Но зачастую никто не появлялся, все было так мирно. И мало-помалу, тихонько, словно украдкой, легкими короткими шажками по ступеням, выложенным серой плиткой (он тогда еще ни истории не знал, ни в физике не разбирался), его душа начинала возноситься к истинной радости.

Теперь, само собой, обстоятельства были иными: он по собственному выбору оказался здесь, принял участие в жизни центра отдыха. Этажом выше занимались писаниной, этажом ниже — малевали акварелью; под ними, вероятно, работают массажисты либо проводятся курсы холотропного дыхания; еще ниже, по всей видимости, организовалась группа африканских танцев. Человеческие существа жили, дышали, старались получить удовольствие либо улучшить свои лич-

ные возможности. Это происходило повсюду. На всех этажах человеческие индивиды продвигались или тщились продвинуться в социальном, сексуальном, профессиональном или космическом отношении. Если воспользоваться наиболее употребительным выражением, все они «работали над собой». Сам же он мало-помалу начинал погружаться в спячку; он ничего больше не просил, ничего уже не искал, ни в чем не принимал никакого участия; медленно, постепенно его дух восходил к царству небытия, к чистому экстазу не-присутствия в мире. Впервые с тех пор, как ему было тринадцать, Брюно чувствовал себя почти счастливым.

Не укажете ли основные места продажи сладостей?

Он возвратился в свою палатку и проспал три часа. Проснувшись, он снова был в полной форме, и его распирало. Сексуальная фрустрация у мужчины порождает беспокойство, которое проявляется в сильном напряжении, сосредоточенном на уровне желудка; кажется, будто сперма раздувается в нижней части живота, как спрут, чьи щупальца дотягиваются до груди. Сам орган болезнен, все время горит, из него слегка

сочится. Он не мастурбировал с самого воскресенья; вероятно, это было ошибкой. Последний западный миф гласит, что надо заниматься сексом, что это вполне возможно — заниматься сексом. Он натянул плавки, сунул в дорожную сумку презервативы, сопроводив этот жест отрывистым смешком. Годами он постоянно таскал презервативы при себе, и никогда ему не было от них никакого толку: как-никак у шлюх-то они имелись всегда.

На пляже было полным-полно верзил в шортах и почти голых девиц, это вселяло большие надежды. Он купил пакет чипсов и стал бродить среди отдыхающих, пока не остановил свой выбор на девушке лет двадцати с роскошной грудью — округлой, высокой, крепкой, с большими светло-коричневыми кружками у сосков. «Добрый день, — произнес он и сделал паузу; лицо красотки сморщилось в гримасе озабоченности. — Добрый день, — повторил он, — не могли бы вы указать мне основные места продажи сладостей?» — «Чего?» — буркнула она, приподнимаясь на локте. Тут Брюно заметил, что на голове у нее наушники; он пошел своей дорогой, помахивая рукой при ходьбе, этакий Питер Фальк из сериала «Коломбо». Упорствовать

нет смысла: подобная «двухступенчатая» затея слишком сложна для исполнения.

Кружным путем двигаясь в сторону моря, он старался сохранить в памяти девицыны дыньки. Внезапно прямо перед ним из волн вышли три девчонки; он дал бы им не более четырнадцати лет. Приметив, где лежат их полотенца, он разостлал свое в нескольких метрах; они не обратили на него ни малейшего внимания. Он быстро сбросил тенниску, прикрыл ею бедра, повернулся на бок и вытащил свой член. Девчонки. двигаясь с бесподобной согласованностью, разом спустили свои лифчики, чтобы дать грудям позагорать Брюно, не успев даже притронуться к себе, бурно разрешился прямо в тенниску. Он издал слабый стон и опрокинулся навзничь. Дело было сделано.

Примитивные ритуалы за аперитивом

Аперитив в Крае Перемен обычно принимали под музыку, за весь день это был самый сближающий момент. В тот вечер три молодца били в тамтамы, а десятков пять курортников топтались на площадке, размахивая во все стороны руками. На самом деле предполагалось, что это танец урожая, который отрабатывался на нескольких

занятиях африканского танца; по традиции, через несколько часов кое-кто из танцоров начинал испытывать — либо притворяться, будто испытывает, — состояние транса. В буквальном, то есть устаревшем, смысле транс свидетельствует о сильнейшей тревоге, ужасе перед лицом неминуемой опасности. «Я предпочитаю оставлять ключ под дверью, чем снова пережить подобный транс» (Эмиль Золя). Брюно предложил католичке стаканчик шарантского пино.

— Как тебя зовут? — спросил он.

— Софи, — отвечала она.

— Ты не танцуешь? — спросил он.

— Нет, — сказала она. — Африканские танцы не в моем вкусе, это слишком…

Что «слишком»? Он понимал ее замешательство. Слишком примитивно? Видимо, нет. Слишком ритмично? Это уже замечание на грани расизма. Решительно ничего нельзя сказать против этих дурацких африканских танцев. Бедная Софи, она старалась выразиться как лучше. У нее красивое лицо, черные волосы, голубые глаза, очень белая кожа. Грудь у нее, наверное, маленькая, зато весьма чувствительная. Она, должно быть, бретонка.

— Ты из Бретани? — спросил он.

— Да, из Сен-Бриёка! — радостно отозвалась она и прибавила: — Но я обожаю бразильские танцы… — видимо, с целью оправдаться за свою неспособность оценить танцы Африки.

Чтобы вывести Брюно из себя, ничего более не требовалось. Его приводила в бешенство эта идиотская пробразильская мания. Почему Бразилия? Судя по всему, что он о ней слышал, это дерьмовая страна, населенная фанатичными кретинами, балдеющими от футбола и автогонок. Насилие, нищета и коррупция достигают там предельного развития. Если есть на свете мерзкое, выдающееся по своей гнусности место, это определенно Бразилия.

— Софи! — вскричал Брюно вдохновенно, — я бы мог отправиться в отпуск в Бразилию. Я бы мотался среди фавелл. В бронированном микроавтобусе. Я бы любовался желторотыми убийцами лет восьми, мечтающими стать главарями банды, и малолетними шлюшками, в тринадцать лет умирающими от СПИДа. Так я проводил бы утро, а после обеда шел бы на пляж в компании разбогатевших торговцев наркотой и сутенеров. Среди этой привольной бесшабашной жизни я бы позабыл меланхолию западного человека. Софи, ты права: вернувшись, я наведу

справки в агентстве «Новые границы».

Некоторое время Софи разглядывала его, лицо ее стало задумчивым, между бровей наметилась складка.

— Ты, наверное, много страдал, — наконец проговорила она печально.

— Софи, — опять воскликнул Брюно, — знаешь, что сказал Ницше о Шекспире? Что этот человек должен был много выстрадать, чтобы почувствовать такую потребность разыгрывать шута. Мне Шекспир всегда казался дутой величиной, но шут он и впрямь редкостный… — Он осекся, с удивлением заметив, что и вправду начинает испытывать боль. Женщины иногда бывают такими милыми; на агрессивность они отвечают пониманием, на цинизм — мягкостью. Какой мужчина стал бы вести себя так? — Софи, мне хочется лизнуть твою киску, — пробормотал он с чувством; но на сей раз она его не поняла. Она повернулась к инструктору по лыжам, который мял ей задницу три дня назад, и завела разговор с ним.

Брюно, сбитый с толку, на несколько мгновений остолбенел, потом зашагал через лужайку назад к автостоянке. Центр Леклерк де Шоле был открыт до десяти вечера. Болтаясь между прилав-

ков, он размышлял, что, если верить Аристотелю, женщины маленького роста принадлежат к биологическому виду, отличному от прочих представителей рода людского. «В маленьком мужчине я еще вижу мужчину, — писал философ, — но маленькая женщина, как мне кажется, относится к новой разновидности существ». Как объяснить это странное утверждение, столь резко противоречащее обычному для Стагирита здравому смыслу? Он купил виски, пачку равиолей и бисквиты с имбирем. Когда он возвращался, уже стемнело. Проходя мимо джакузи, он различил шепот, придушенный смех. Он остановился со своей сумкой фирмы Леклерка в руках, глянул сквозь ветви. Там, кажется, были две или три парочки; явственно слышался легкий плеск пульсирующей воды. Луна выплыла из-за облаков. В то же мгновение подошла еще одна пара, принялась раздеваться. Шушуканье возобновилось. Брюно поставил наземь свою полиэтиленовую сумку, достал член и принялся онанировать. Эякуляция наступила очень быстро, как только женщина вошла в теплую воду. Уже наступил вечер пятницы, надо будет продлить свое пребывание здесь на неделю. Он перестроится, найдет себе девушку, станет общаться с людьми.

6

В ночь с пятницы на субботу он плохо спал, его мучили дурные сны. Он видел себя в обличье молодого кабанчика с пухлым и гладким телом. Вместе со своими собратьями-свиньями он был увлекаем течением в громадный темный тоннель, извилистый, с покрытыми ржавчиной стенами. Поток воды, несущий его, был не особенно мощным, порой ему удавалось упереться ногами в дно; потом набегала волна посильнее, и его опять сносило на несколько метров вниз по течению. Время от времени он различал смутно белеющее тело кого-нибудь из своих товарищей, которого беспощадно засасывало в глубину. Они боролись в потемках, в тишине, нарушаемой лишь отрывистым скрежетом, с которым их копытца задевали металлические стены. Уносимый куда-то вниз, он вместе с тем все явственнее улавливал доносящийся из глубины тоннеля глухой шум механизмов. Постепенно до его сознания дошло, что поток тащит их к турбинам с гигантскими режущими лопастями.

Потом его отрубленная голова валялась на лужайке, расположенной несколькими метрами

выше жерла тоннеля. Его череп был раскроен надвое, сверху вниз; однако та его часть, что осталась нетронутой, лежа среди травы, еще сохраняла рассудок. Он понимал, что муравьи будут постепенно забираться все глубже в обнажившуюся мозговую ткань, чтобы пожирать нейроны; тогда он бесповоротно погрузится в бессознательность. Его единственный глаз на миг обратился к горизонту. Травянистая равнина, казалось, уходила в бесконечность. Огромные зубчатые колеса вращались вспять под небом цвета платины. Возможно, он присутствовал при конце времен; по крайней мере, тот мир, что был ему знаком, достиг своего конца.

За завтраком он познакомился с бретонцем лет около семидесяти, который вел кружок акварели. Его звали Поль Ледантек, он приходился братом нынешнему директору Края и принадлежал к числу первых его основателей. В своей индейской куртке, с длинной седой бородой и трискелем на перевязи он как нельзя больше напоминал симпатичного доисторического хиппи. Перейдя пятидесятипятилетний рубеж, старый пень стал вести умиротворенное существование. Он поднимался с рассветом, бродил среди холмов, наблюдал за птицами. Потом среди людской

суеты усаживался перед пиалой кофе с кальвадосом и свертывал сигаретку. Кружок акварели начинал свою работу не раньше десяти, так что времени поболтать у него было предостаточно.

— Будучи старым завсегдатаем здешних мест, — Брюно хихикнул, дабы наладить хоть видимость взаимопонимания, — ты должен помнить первоначальные годы Края, освобождение пола, эпоху семидесятых…

— Освобождение моей задницы! — буркнул пращур. — Девки, готовые служить подстилками в групповухе, были всегда. И всегда были парни, которые трясли своими макаронинами. Что было, то и есть, приятель.

— Однако же, — настаивал Брюно, — мне говорили, что СПИД изменил положение…

— Верно, — согласился акварелист, прокашливаясь, — для мужчин прежде дело обстояло попроще. Иной раз, бывало, все тебе открыто, что рты, что промеж ног, иди себе напрямик, и представляться не надо. Но это лишь когда устраивалась настоящая групповуха, к тому же производилась первоначальная селекция: обычно приходили парами. Я не раз видел: баба заголится, сидит, вся аж соком истекает, лучше не надо, а целый вечер проводит, сама себя ди-

намя, никто и не подойдет, не всунет ей, так-то, дружище.

— Короче, — заметил Брюно в раздумье, — никакого сексуального коммунизма никогда не было, была просто расширенная система соблазна.

— Это да, — подтвердил старый хрен, — насчет соблазна, он-то всегда был.

Все это отнюдь не вдохновляло. Тем не менее подошла суббота, будет новый заезд. Брюно решил расслабиться, принимать вещи такими, как они есть, по рок-н-рольному, благодаря чему день проходил без неприятностей и даже, если начистоту, без малейших происшествий. Около одиннадцати вечера он прохаживался около джакузи. Над ласково журчащей водой поднимался легкий парок, пронизанный сиянием полной луны. Брюно приблизился в молчании. Бассейн был три метра в диаметре. У противоположного края развлекалась парочка; кажется, женщина сидела на мужчине верхом. «Имею право», — подумал Брюно, обозлясь. Он быстро скинул одежду, погрузился в джакузи. По контрасту с прохладой ночного воздуха теплая вода была упоительна. Над бассейном сквозь сплетенные ветви сосен посверкивали звезды; он малость расслабился.

Парочка не обратила на него никакого внимания: девица по-прежнему скакала верхом, да еще стонать принялась. Черт ее лица он разглядеть не смог. Мужчина тоже принялся шумно сопеть. Движения девушки ускорились; на мгновение она откинулась назад, луна резко озарила ее груди; лицо скрывала темная масса волос. Потом она прильнула к партнеру, обхватив его руками; он задышал еще сильнее, издал продолжительное рычание и умолк.

Минуты две они не меняли положения, затем мужчина поднялся и вышел из бассейна. Прежде чем одеться, он сдернул со своего члена презерватив. Брюно с удивлением заметил, что женщина не шевелится. Шаги мужчины удалялись, опять воцарилась тишина. Она вытянула ноги в воде. Брюно поступил так же. Его стопа, задев ее киску, легла ей на бедро. С легким всплеском она оттолкнулась от края бассейна и оказалась рядом. Теперь облака скрывали луну; женщина была в полуметре от него, но разглядеть лицо он все еще не мог. Одну руку она положила ему на бедро, другой обвила его плечи. Брюно прильнул к ней, уткнувшись лицом ей в грудь; бюст у нее был маленький и крепкий. Отдавшись ее объятиям, он отдалился от края, чувствуя, как она увлекает

его к центру бассейна. Потом она стала медленно поворачиваться. Мышцы его шеи внезапно ослабли, голова стала очень тяжелой. Стоило опустить ее на несколько сантиметров ниже, и шум воды, сверху едва слышный, превратился в мощный рокот подводной турбины. Звезды мягко вращались прямо над его лицом. Он расслабился в ее руках, его член, встав, вынырнул из воды. Она легонько поглаживала его тело, ласка ее рук была едва ощутима, он испытывал полнейшее умиротворение. Длинные волосы девушки щекотали ему живот, потом ее язык коснулся кончика его члена. Он затрепетал всем телом от счастья. Она сомкнула губы и медленно, очень медленно взяла его в рот. Он зажмурился, дрожь экстаза пронизала его. Подводный рокот был бесконечно отраден. Когда губы женщины добрались до основания его члена, он стал ощущать движения ее горла. Волны блаженства, пробегавшие по его телу, стали мощнее, и в то же время он чувствовал, как его баюкает подводное течение; мгновенный жар охватил его. Стенки ее горла мягко сжались, и вся его энергия разом сосредоточилась в члене. Оргазм исторг у него вопль; никогда в жизни он не испытывал подобного наслаждения.

7
Разговор в трейлере

Трейлер Кристианы находился метрах в пятидесяти от его палатки. Войдя, она включила свет, достала бутылку вина, наполнила два стакана. Хрупкая, ниже Брюно ростом, она наверняка когда-то была очень красива; но тонкое лицо ее увяло, мелкие красные прожилки испещрили кожу. Только волосы, черные, шелковистые, сохраняли все свое великолепие. Взгляд ее голубых глаз был мягок, немного грустен. Ей было, наверное, лет сорок.

— По временам на меня накатывает, тогда я путаюсь с целым светом, — сказала она. — Правда, для проникновения я всегда требую, чтобы был презерватив.

Она смочила губы, отпила глоток. Брюно смотрел на нее; она ничего не надела снизу, лишь натянула серую бумажную фуфайку. Выпуклость ее венерина холма была очаровательна, только большие губы слегка отвисли.

— Я бы хотел сделать так, чтобы ты тоже кончила, — сказал он.

— Не торопи события. Допей свой стакан. Можешь выспаться здесь, места хватит. — Она указала на двуспальную кровать.

Они потолковали о стоимости стоянки трейлера. Кемпинг для Кристианы не подходил, у нее были проблемы с позвоночником.

— И довольно серьезные, — сказала она. — Большинство мужчин предпочитает минет, — сказала она еще. — Проникновение их утомляет, им больно напрягаться. А когда берешь в рот, они становятся как малые дети. У меня впечатление, что феминизм их не на шутку задевает, куда сильнее, чем они в этом признаются.

— Есть вещи и похуже феминизма, — сумрачно обронил Брюно. Он наполовину опустошил свой стакан, прежде чем решился продолжить: — Ты давно знаешь Край?

— Практически с самого начала. Я перестала приезжать, когда была замужем, а теперь возвращаюсь сюда каждый год недели на две, на три. Поначалу это было местечко скорее альтернативное, приют новых левых; теперь оно для поборников *New Age;* не такая уж это перемена. В семидесятых уже возник интерес к восточной мистике; джакузи и массажи здесь сохранились и поныне. Здесь приятно, но немного печально;

и насилия здесь гораздо меньше, чем вокруг. Религиозная атмосфера немного скрадывает грубость приставаний. А все-таки есть женщины, которые и здесь страдают. У мужчин, стареющих в одиночестве, куда меньше причин жаловаться, чем у женщин, попавших в такое же положение. Мужчины пьют скверное вино, засыпают, у них разит изо рта, потом, проспавшись, они все начинают сызнова. И довольно быстро умирают. Женщины принимают транквилизаторы, занимаются йогой, ходят к психологам; они доживают до глубокой старости и тяжко страдают. Выставляют на продажу ослабевшие, обезображенные тела, сами это сознают и терзаются. И все же продолжают в том же духе, так как не в силах отказаться от надежды быть любимыми. Они до самого конца остаются жертвами этой иллюзии. Женщина и после определенного возраста всегда может переспать с мужиком, но возможности быть любимой у нее никогда уже не будет. Таковы мужчины, вот и все.

— Кристиана, — мягко возразил Брюно, — ты преувеличиваешь… К примеру, сейчас мне очень хочется доставить тебе удовольствие.

— Верю. Мне кажется, ты скорее всего славный малый. Эгоист и симпатяга.

Она сбросила фуфайку, растянулась поперек кровати, подложила себе под ягодицы подушку и раздвинула бедра. Брюно сначала довольно долго вылизывал ее лобок, потом быстрыми мелкими движениями языка стал возбуждать клитор. Кристиана глубоко вздохнула.

— Запусти палец, — шепнула она.

Брюно повиновался, затем повернулся так, чтобы, не переставая лизать Кристиану, одновременно ласкать ее грудь. Почувствовав, как твердеют соски, он поднял голову.

— Продолжай, прошу тебя, — взмолилась она. Он передвинулся поудобнее, чтобы шея не затекла, и стал ласкать клитор пальцем. У Кристианы вырвался стон. На какую-то долю секунды в памяти мелькнула тощая, сморщенная вульва его матери; это видение тотчас исчезло, он продолжал все быстрее тереть клитор и дружеским языком щедро вылизывать губы. Живот ее покраснел, дыхание становилось все громче. Она кончила умиротворенно, с продолжительным содроганием. Он замер в неподвижности, прильнув лицом к ее мокрой вульве, воздев руки; и почувствовал, как пальцы Кристианы ласково сжали его запястья.

— Спасибо, — сказала она. Потом встала, натя-

нула фуфайку и снова наполнила стаканы.

— Это было по-настоящему хорошо, тогда, в джакузи, — сказал Брюно. — Мы не произнесли ни слова; в тот момент, когда я ощутил твои губы, я еще не различал черт твоего лица. Ни грана соблазна, это было что-то очень чистое.

— Все основывается на корпускулах Краузе… — Кристиана усмехнулась. — Меня можно извинить, я ведь преподаватель естественных наук. — Она отпила глоток вина. — Основание клитора, головка и желобок полового члена выстланы корпускулами Краузе, они очень богаты нервными окончаниями. Когда их ласкают, в мозгу происходит мощный выброс эндорфинов. Итак, клиторы и головки половых членов покрыты корпускулами Краузе — их количество у всех приблизительно одинаково, в этом смысле равенство полное; но есть кое-что другое, ты сам это прекрасно знаешь. Я была без ума от своего мужа. Я ласкала, я лизала его член и делала это благоговейно; я любила ощущать, как он входит в меня. Я была горда тем, что вызываю у него эрекцию, у меня есть фотография его вставшего члена, я всегда ее храню в сумочке: для меня это вроде священного изображения, моей величайшей радостью было доставлять удовольствие

ему. В конце концов он меня бросил ради более молодой. Я только что вполне убедилась, что мои гениталии не внушают тебе истинного влечения; это уже отчасти гениталии старухи. В зрелом возрасте повышение побочных связей между коллагенами, фрагментация эластина в ходе митозов постепенно приводят к потере крепости и гибкости тканей. В двадцать лет у меня была прекрасная вульва; ныне я вполне отдаю себе отчет, что большие и малые губы несколько отвисли.

Брюно осушил свой стакан; ему было абсолютно нечего ей возразить. Чуть погодя они улеглись. Он обвил рукой талию Кристианы. Они заснули.

8

Брюно проснулся первым. Далеко в вышине, в древесных кронах пела птица. Кристиана во сне сбросила одеяло. У нее были прехорошенькие ягодицы, все еще округлые, весьма волнующие. Ему вспомнилась фраза из «Русалочки», у него была дома старая сорокапятка с «Матросской песенкой» в исполнении ансамбля «Братец Жак». Русалочка вынесла все испытания, отказалась от своего голоса, от родины, от красивого русалочьего хвоста, и все из любви к принцу, в надежде стать настоящей женщиной. Глубокой ночью выброшенная бурей на прибрежный песок, она выпивает волшебный эликсир. Ей кажется, будто ее разрубают надвое, боль так невыносима, что она теряет сознание. Следуют несколько музыкальных аккордов в совершенно ином духе, словно бы открывающие взгляду новую картину; затем чтица произносит ту фразу, что так живо тронула Брюно: «Когда она проснулась, солнышко сверкало, и перед ней стоял прекрасный принц».

Он вновь припомнил вчерашний разговор с Кристианой и сказал себе, что, может быть, сумеет полюбить ее слегка отвисшие, но сладкие

губы. Как всегда по утрам, что вообще свойственно большинству мужчин, ему приспичило. В неярком свете ранней зари лицо Кристианы, утопающее в густой массе черных спутанных волос, казалось очень бледным. Она лишь чуть приоткрыла глаза, когда он вошел в нее. Ноги она раздвинула, хотя, похоже, немного удивилась. Он задвигался в ней, но заметил, что с каждой секундой становится все более вялым. Это вызвало в нем глубокую печаль, смешанную с беспокойством и стыдом.

— Ты предпочитаешь, чтобы я надел презерватив? — спросил он.

— Да, пожалуйста. Они в пакете, рядом, на туалетном столике.

Он разорвал упаковку; это были изделия фирмы «Техника». Естественно, что агрегат, едва оказавшись в резине, совершенно размяк.

— Мне жаль, — буркнул он, — мне правда жаль.

— Ничего, — сказала она мягко, — иди, приляг.

Положительно, СПИД был истинным благодеянием для мужчин этого поколения. Иногда достаточно вынуть колпачок, чтобы их орудие тотчас расслабилось.

— Никогда не смогу к этому приспособиться…

Совершив эту маленькую церемонию, защищающую их мужественность в принципиальном смысле, они могут снова улечься в постель, привалиться к телу своей жены и мирно почивать.

После завтрака они спустились с холма, прошлись мимо пирамиды. На берегу пруда не было ни души. Они растянулись на залитой солнцем лужайке; Кристиана стянула с него шорты и принялась его ублажать. Действовала она очень мягко, поразительно чувственно. Позже, когда с ее легкой руки они вошли в тайное сообщество «пар свободного поведения», Брюно пришлось отдать себе отчет в том, насколько это редкостное качество. Большинство женщин из этой среды действовали грубо, без малейших нюансов. Они слишком крепко сжимали, с тупым жаром трясли член, вероятно желая походить на актрис из порнофильмов. На экране это, может быть, и зрелищно, но осязательный результат так себе, если не мучителен. Кристиана же, напротив, прибегала к методу легких касаний, постоянно увлажняла свои пальцы, ласкала чувствительные зоны. Женщина в свободной индейской блузе проследовала мимо них и уселась на берегу. Брюно сделал глубокий вздох, удержался от извержения. Кристиана улыбнулась ему; солнце

начинало жарко пригревать. Он понял, что вторая неделя в Крае обещает быть очень приятной. Возможно даже, что они не расстанутся, будут стареть вместе. По временам она будет дарить ему краткий миг физического блаженства, они вдвоем переживут пору угасания страстей. Так пройдет несколько лет; потом всему придет конец, они постареют, для них комедия плотской любви будет окончена.

Пока Кристиана принимала душ, Брюно изучал инструкцию «омолаживающего крема на основе микрокапсул», которое он накануне приобрел в универсаме Леклерка. В то время как реклама на упаковке подчеркивала новизну средства, более подробный текст вкладыша особо упирал на три пункта: фильтрацию вредоносных составляющих солнечного света, выделение активных увлажнителей на протяжении целого дня и нейтрализацию свободных радикалов. Его чтение было прервано на полпути приходом Катрин, экс-феминистки, зацикленной на египетских гадальных картах. Она не делала секрета из того, что возвращается с занятий кружка по развитию личности «Ваше дельце вытанцуется».

Речь идет о выявлении своих наклонностей с помощью серии символических игр; эти иг-

ры мало-помалу позволяют выпустить на волю «внутреннего героя», скрытого в каждом из участников. В ходе первого дня занятий обнаружилось, что Катрин немножко колдунья, но вместе с тем и немножко львица; сие открытие, само собой разумеется, должно было ориентировать ее на ответственный пост в сфере торговли.

— Гм-м-м, — пробурчал Брюно.

В этот момент вернулась Кристиана, одежда которой состояла из полотенца, обернутого вокруг талии. Катрин осеклась, не сумела скрыть раздражение. Она сослалась на начало занятий кружка «Медитации дзен и аргентинского танго» и поспешно ретировалась.

— А я-то думала, ты занимаешься в группе «Тантра и бухгалтерский учет», — бросила ей вслед Кристиана.

— Ты с ней знакома?

— Ну да, эту дуреху я знаю уже лет двадцать. Она здесь тоже с самого начала, по существу со дня основания Края.

Она тряхнула своей гривой, тюрбаном намотала полотенце на голову. Вышли они вместе. Брюно вдруг захотелось взять ее за руку. Он так и сделал.

— Я всегда терпеть не могла феминисток, —

снова заговорила Христина, когда они были на полдороге вверх по склону. — Эти шлюхи беспрерывно болтают о мытье посуды и разделении обязанностей, они буквально одержимы мытьем посуды. Иной раз им случается проронить словцо-другое насчет кухни или пылесосов, но грязная посуда неизменно остается главнейшим предметом их разговоров. За несколько лет им удается превратить мужиков из своего окружения в бессильных брюзжащих невротиков. Тогда — следствие абсолютно неизбежное — они начинают испытывать ностальгию по мужественности. В конечном счете они посылают к черту своих дружков, предпочитая, чтобы их самих нанизал на таран какой-нибудь латиноамериканский мачо. Меня всегда поражала склонность интеллектуалок к проходимцам, грубым скотам и болванам. Короче, они успевают потрахаться с двумя-тремя, иным, самым аппетитным, перепадает и больше, потом заставляют кого-нибудь заделать им пупса и принимаются готовить домашнее повидло по фирменным рецептам от Мари-Клер. Я такой сценарий наблюдала десятки раз.

— Это старо как мир, — примирительно заметил Брюно.

Вторую половину дня они провели у бассейна. Напротив, по другую его сторону, стайка девчонок прыгала на месте, отнимая друг у дружки плейер.

— Миленькие, правда? — заметила Кристиана. — Вон та блондинка с маленьким бюстом настоящая красотка. — Потом она растянулась на банном полотенце. — Передай-ка мне крем.

Кристиана не принимала участия ни в одном из кружков. Даже испытывала некоторое отвращение к этой, как она выражалась, шизофренической активности.

— Возможно, я жестковата, — говорила она еще, — но знаю я этих выкормышей шестьдесят восьмого года, перешагнувших рубеж сорокалетия, практически я сама одна из них. Они старятся в одиночестве, их влагалища почти мертвы. Потолкуй с ними пять минут, и ты увидишь, что они вовсе не верят в эти россказни о чакрах, кристаллах, светоносных вибрациях. Хотя стараются во все это поверить, иногда им это удается на пару часов, пока длится занятие группы. Они ощущают ангельское присутствие, внутренний цветок, что раскрывается у них в животе, и все такое; потом занятие кончается, и они опять видят, что одиноки, постарели, подурнели. Они страдают

нервическими припадками, ревут. Не замечал? Особенно после занятий дзен. По правде говоря, у них нет выбора, ведь помимо всего прочего их донимают проблемы с деньгами. Они чуть ли не все прошли курс психоанализа, это выпотрошило их кошельки до самого дна. Мантра и таро — жуткая чушь, но это хоть подешевле, чем психоаналитики.

— Ну да, еще и стоматологи… — невнятно проворчал Брюно. Он пристроил голову между ее раскинутых бедер, чувствуя, что так и уснет.

Когда настала ночь, они направились к джакузи. Он попросил ее его не возбуждать. Вернувшись в трейлер, они занялись любовью. Он было потянулся к презервативам, но Кристиана сказала: «Оставь». Войдя в нее, он почувствовал, что она счастлива. Одно из самых удивительных свойств плотской любви — то ощущение близости, которое она вызывает, если к желанию примешивается хоть малая толика взаимной симпатии. С первых же минут от «вы» переходишь к «ты», и кажется, будто любовница, даже встреченная только вчера, имеет право на такую степень откровенности, до какой ты бы не дошел ни с одним человеческим существом. Так и Брюно в ту ночь поведал Кристиане нечто такое, о чем

никому никогда не рассказывал, даже Мишелю, а уж своему психиатру и подавно. Он говорил ей о своем детстве, о смерти бабушки и унижениях, пережитых в пансионе для мальчиков. Он описал ей свое отрочество, мастурбации в электричке в двух шагах от девочек; он ей рассказал о летних месяцах в доме отца. Кристиана слушала, поглаживая его волосы.

Они провели вместе неделю и накануне отъезда Брюно пообедали в ресторане даров моря в Сен-Жорж-де-Дидонн. Воздух был горяч и неподвижен, пламя свечей, озарявших их столик, почти не вздрагивало. Сверху их взгляду открывалось обширное устье Жиронды, вдали виднелся мыс Грав.

— Когда я вижу, как луна сияет над морем, — сказал Брюно, — я с непривычной ясностью осознаю, что нам нечего, абсолютно нечего делать в этом мире.

— Тебе в самом деле необходимо ехать?

— Да, я должен провести две недели с сыном. По существу, мне следовало уехать на прошлой неделе, больше задерживаться нельзя. Послезавтра его мать улетает самолетом; у нее уже все рассчитано.

— Сколько лет твоему сыну?

— Двенадцать.

Кристиана помолчала задумчиво, отхлебнула глоток мюскаде. На ней было длинное платье, она сделала макияж и казалась молодой девушкой. Сквозь кружева корсажа угадывалась грудь; пламя свечей искорками отсвечивало в глазах.

— Я думаю, что немножко влюбилась, — произнесла она. Брюно ждал в полнейшей неподвижности, не решаясь пошевельнуться. — Я живу в Нуайоне, — продолжала она, — вдвоем с сыном. У нас все было более или менее хорошо, пока ему не исполнилось тринадцать. Не знаю, возможно, ему не хватало отца… Хотя и не уверена, вправду ли детям нужен отец. Он-то не нуждался в своем сыне, уж это наверняка. Поначалу он иногда брал его с собой, водил в кино или в «Макдоналдс». Потом это стало случаться все реже и реже, а когда он переехал со своей новой подружкой на юг, совсем прекратилось. Я его вырастила почти что одна, мне, вероятно, не хватало авторитета. Вот уже два года как он начал пропадать из дома, завелись дурные знакомства. Это многих удивляет, но Нуайон город неспокойный. Много черных и арабов, Национальный фронт на последних выборах получил сорок процентов. Я живу в доме на окраине, у почтового ящика выломана дверца,

ничего не могу оставить в подвале. Мне часто бывает страшно, иногда слышится стрельба. Вернувшись из лицея, запираюсь у себя, никогда не выхожу из дому по вечерам. Сын возвращается домой поздно, а часто совсем не приходит. Я ничего не смею ему сказать; боюсь, как бы он меня не ударил.

— Нуайон далеко от Парижа?

Она усмехнулась.

— Вовсе нет, это в департаменте Уаза, километров восемьдесят, не больше… — Она умолкла и опять улыбнулась; ее лицо в эту минуту светилось нежностью и надеждой. — Я любила жизнь, — сказала она. — Любила жизнь и от природы была чувственной и страстной, всегда обожала заниматься любовью. Что-то обернулось не так; я не совсем понимаю что, но что-то в моей жизни не заладилось.

Брюно уже сложил палатку, загрузил багаж в автомобиль; свою последнюю ночь он провел в трейлере. Утром попытался войти в Кристиану, но на этот раз спасовал, он чувствовал себя взвинченным и расстроенным. «Кончай прямо на меня», — сказала она. Она размазала сперму по своему лицу и груди. Когда он выходил за дверь, она попросила: «Приезжай повидаться со мной».

Он обещал. Было это в субботу, первого августа.

9

Вопреки обыкновению, Брюно сейчас избегал больших магистралей. Не доезжая Партене, он сделал краткую остановку. У него была потребность подумать; да, но, в сущности, о чем? Он остановил машину среди мирного, скучного ландшафта, возле канала с почти недвижной водой. Прибрежные кустарники то ли росли, то ли гнили, трудно сказать. Тишину нарушало смутное жужжание, оно доносилось из воздуха, должно быть полного насекомых. Он прилег на поросший травой берег, пригляделся к слабому, чуть заметному движению воды: она медленно текла на юг. Лягушек не было видно — ни одной.

В октябре 1975-го, перед самым поступлением на факультет, когда Брюно обосновался в квартирке, купленной для него отцом, у него возникло ощущение, что начинается новая жизнь. Разочароваться пришлось очень скоро. Конечно, девушки там были, даже много девушек, но все они выглядели уже занятыми или по крайней мере не проявляли желания завязать с ним отношения. С целью установить контакты он таскался на все воскресные дополнительные занятия,

на все лекции и вскоре таким образом вышел в первые ученики. Он видел девушек в кафетерии, слышал их болтовню: они приходили и уходили, встречались с приятелями, приглашали друг друга на вечеринки. Брюно начал много есть. Вскоре он установил для себя продовольственный маршрут — вниз по бульвару Сен-Мишель. Для начала он покупал хот-дог в лавочке на перекрестке с улицей Гей-Люссака; потом чуть дальше съедал пиццу или, реже, сандвич по-гречески. В «Макдональдсе», что на пересечении с бульваром Сен-Жермен, он проглатывал несколько чизбургеров, запивая кока-колой и молочно-банановым коктейлем; затем, спотыкаясь, плелся по улице Ла-Арп, чтобы закончить пиршество в тунисских кондитерских. По дороге домой он останавливался перед кинотеатром «Латен», предлагавшим два порнофильма за один сеанс. Иной раз он по получасу топтался перед входом, притворяясь, будто изучает схему автобусных маршрутов, в надежде — неизменно тщетной — увидеть входящую пару или одинокую женщину. Однако чаще всего он не находил попутчиков. Оказавшись в зале, он сразу чувствовал себя лучше, билетерша была безупречна в своей скромной сдержанности. Мужчины располагались поодаль друг от

друга, между ними всегда оставалась дистанция в несколько свободных мест. Он спокойно онанировал, смотря «Похотливых медсестер», «Путешествуешь автостопом — не носи трусиков», «Профессионалку с раздвинутыми ногами», «Сосалок» и множество тому подобных фильмов. Единственное, что его смущало, — момент, когда наступала пора выйти из кинотеатра прямехонько на бульвар Сен-Мишель, где он распрекрасно мог нос к носу столкнуться с кем-нибудь из факультетских однокашниц. Обычно он выжидал, чтобы какой-нибудь тип поднялся с места, и следовал за ним по пятам: пойти на порнофильм за компанию с приятелем казалось ему менее постыдным. Домой он возвращался обычно около полуночи, на сон грядущий читал Руссо или Шатобриана.

Раз или два в неделю Брюно принимал решение изменить жизнь самым радикальным образом. Вот как это происходило. Для начала он раздевался — совсем, догола — и вставал перед зеркалом: было необходимо дойти до предела самоуничижения, досконально разглядеть всю мерзость своего раздутого брюха, отвислых щек, ягодиц, уже тронутых дряблостью. Потом он выключал все лампы. Сдвигал ноги, скрещивал руки на гру-

ди, слегка наклонял для пущего самоуглубления голову. Тут он делал медленный, глубокий вдох, надувая до крайности свой гадский живот; затем выдох, тоже очень медленный, и при этом он мысленно вел счет. Все цифры были важны, его сосредоточенность не должна была ослабеть ни на миг; но наивысшее значение имели четыре, восемь и, разумеется, шестнадцать — последняя цифра. Когда, выдохнув изо всех сил, он выпрямится, произнеся финальное «шестнадцать!», он станет совершенно другим человеком, наконец-то готовым жить, броситься в круговорот бытия. Он больше не будет знать ни страха, ни стыда; начнет нормально питаться, нормально вести себя с девушками. «Сегодня первый день твоей новой жизни».

Этот маленький церемониал ничего не мог поделать с его робостью, но иногда оказывал некоторое воздействие на его булимию; случалось, проходило двое суток, прежде чем он снова впадал в обжорство. Неудачу он объяснял недостатком собранности, потом, очень скоро, опять начинал верить в успех. Он был еще молод.

Однажды вечером, выходя из кондитерской «Сласти Южного Туниса», он столкнулся с Анник. Он не видел ее со времени их краткой встречи

летом 1974-го. Она еще больше подурнела, теперь она была почти что жирной. Квадратные очки в черной оправе с толстыми стеклами уменьшали ее и без того маленькие карие глазки, подчеркивали нездоровую белизну кожи. Они вместе пили кофе, причем оба испытали минуты довольно заметного смущения. Она тоже была студенткой, изучала в Сорбонне литературу; ее комнатка с окнами на бульвар Сен-Мишель находилась совсем рядом. Уходя, она оставила ему номер своего телефона.

В последующие недели он несколько раз заходил к ней. Она отказывалась раздеваться, собственная наружность слишком ее унижала; зато в первый вечер она предложила Брюно сделать ему минет. О своих физических недостатках она не говорила, сослалась на то, что не приняла таблетки. «Я предпочитаю это, право же, поверь…» Она никуда не ходила, все вечера просиживала дома. Готовила себе настойки, старалась соблюдать режим; но ничто не помогало. Брюно несколько раз пробовал стащить с нее панталоны; она сжималась в клубок, ни слова не говоря, яростно отталкивала его. Он в конце концов уступал, вытаскивал свой член. Она сосала его торопливо, немножко слишком сильно; он

эякулировал ей в рот. Иногда они разговаривали об учебе, но недолго; обычно он довольно скоро уходил. Честно говоря, она была так некрасива, что ему было бы трудно представить себя рядом с ней на улице, в ресторане, в очереди у кинотеатра. Он нажирался в кондитерской до тошноты, потом поднимался к ней, давал себя пососать и удалялся. Наверное, так оно и лучше.

В вечер смерти Анник погода стояла очень теплая. Был еще только конец марта, но вечер выдался совсем весенний. В своей привычной кондитерской Брюно купил длинный рожок, начиненный миндалем, потом спустился к набережной Сены. Звук громкоговорителя с речного трамвая сотрясал воздух, отдаваясь эхом от стен Нотр-Дама. Он дожевал липкий, обмазанный медом рожок, потом, в который раз, почувствовал острое отвращение к самому себе. А может быть, неплохая идея, сказал он себе, опробовать свой метод здесь, в самом сердце Парижа, в центре мира, среди людей. Он зажмурил глаза, сдвинул каблуки, скрестил на груди руки. Войдя в состояние абсолютной сосредоточенности, стал медленно, решительно считать. Произнеся заветное «шестнадцать!», он энергично выпрямился. Речной трамвайчик пропал из виду, набережная

была пустынна. Воздух все еще оставался довольно теплым.

Перед домом Анник теснилась маленькая толпа, двое полицейских сдерживали ее. Он приблизился. Изувеченное тело девушки лежало на земле, нелепо скорчившись. Ее раздробленные руки, будто щупальца, охватывали голову, лужа крови окружала то, что осталось от ее лица; вероятно, перед падением она последним рефлекторным жестом самозащиты поднесла руки к лицу. «Прыгнула с восьмого этажа. Мгновенная смерть», — со странным удовольствием сказала женщина, стоявшая рядом с ним. Подкатила машина скорой помощи, из нее вышли двое мужчин с носилками. В то мгновение, когда они поднимали ее, он увидел расколотый череп и отвел глаза. «Скорая помощь» укатила под вой сирен. Так кончилась первая любовь Брюно.

Лето 1976-го было, может статься, самой жестокой порой его жизни; ему только что исполнилось двадцать лет. Жара стояла несусветная, даже ночи не приносили с собой ни малейшей свежести; в этом смысле лето 76-го должно остаться в памяти потомков. Девушки ходили в коротких прозрачных платьях, от пота ткань липла к телу. Он бродил целыми днями сам не свой от жела-

ния. Вставал по ночам, пешком обходил Париж, задерживаясь на террасах кафе, подкарауливая их у входа на дискотеки. Танцевать он не умел. Возбуждение не утихало ни на мгновенье. Ему казалось, что промеж ног у него кусок мяса, истекающий влагой, гниющий, пожираемый червями. Несколько раз он пробовал заговаривать с девушками на улице, но в ответ слышал только унизительные насмешки. По ночам он смотрел на себя в зеркало. Его потные, прилипшие к голове волосы начинали редеть со лба; под рубашкой прорисовывались складки живота. Он стал посещать секс-шопы и пип-шоу, но не добился ничего, кроме обострения своих мук. Тут в первый раз он прибег к услугам проститутки.

Неуловимый и решающий поворот, сделал вывод Брюно, вот что произошло в западном обществе в 1974-1975 годах. Он все еще лежал на травянистом откосе над каналом; свернутая и засунутая под голову полотняная куртка заменяла ему подушку. Он вырвал пучок травы, ощутил ее влажную шероховатость. В те самые годы, когда он безуспешно пытался приноровиться к жизни, западные общества вступили на какой-то темный путь. В то лето семьдесят шестого было уже очевидно, что все это добром не кончится.

Физическое насилие, самое крайнее проявление индивидуальности, вслед за вожделением снова вступит на Западе в свои права.

10
Джулиан и Олдос

Когда возникает надобность преобразовать или обновить основополагающую доктрину, обреченные поколения, в среде которых происходит такая трансформация, в основном остаются чужды, а зачастую становятся и прямо враждебны ей.

Огюст Конт.
Призыв к консерваторам

Около полудня Брюно вновь сел в машину, добрался до центра Партене. Поразмыслив, он решил выбраться на автотрассу. Позвонил из телефонной кабинки брату — тот мгновенно поднял трубку. Он вернулся в Париж, он охотно увидится с Мишелем сегодня же вечером. Завтра это будет невозможно, у него встреча с сыном. Но нынче вечером он свободен, ему это представляется важным. Мишель не проявил особых эмоций. «Если хочешь», — произнес он после долгого молчания. Как большинство людей, он находил крайне неприятной тенденцию

общества к раздробленности, которую так бойко описывают социологи и комментаторы. Подобно большинству, он считал желательным сохранять некоторые семейные узы, пусть и обрекая себя ради этого на легкую скуку. Так он годами принуждал себя проводить Рождество у тетушки Мари-Терез, которая вместе со своим симпатичным, почти глухим мужем старилась в особнячке в Ренси. Его дядюшка всегда голосовал за коммунистов и отказывался ходить к полуночной мессе, что всякий раз становилось поводом для «сшибки». Попивая настойку из корений горечавки, Мишель слушал, как старик рассуждает об освобождении трудящихся, время от времени бурча в ответ какую-нибудь банальность. Потом приходили другие, в том числе его кузина Брижит. Он любил Брижит, ему хотелось, чтобы она была счастлива; но с ее мужем, порядочным болваном, это представлялось трудно достижимым. Он служил у Байера врачом по вызову и обманывал жену при всяком удобном случае; поскольку он был красивым мужчиной и много ездил, возможностей было хоть отбавляй. Лицо Брижит с каждым годом все более тускнело.

В 1990 году Мишель отказался от этого ежегодного визита; у него теперь остался только

Брюно. Семейные узы сохраняются несколько лет, иногда и десятилетий, на самом деле они много долговечней всех прочих; но потом в конце концов они тоже сходят на нет.

Брюно приехал около девяти вечера, он уже немного выпил и жаждал поговорить на отвлеченные темы.

— Меня всегда поражала, — начал он, еще не успев даже присесть, — чрезвычайная точность предсказаний, сделанных Олдосом Хаксли в «О дивном новом мире». Как подумаешь, что эта книга была написана в 1932-м, — просто невероятно. С тех пор западное общество непрестанно стремилось приблизиться к этому образцу Все более совершенные методы контроля за рождаемостью рано или поздно приведут к тому, что она раз и навсегда потеряет связь с сексуальностью, а род человеческий будет воспроизводиться в лаборатории при условии генетической надежности и полной безопасности. Как следствие — исчезновение родственных связей, понятий отцовства и материнства. Благодаря прогрессу фармакологии — устранение различий между разными возрастами. В мире, описанном Хаксли, в шестьдесят лет человек так же активен. имеет ту же наружность, те же самые желания, что два-

дцатилетний. Потом, когда он более не способен противостоять старости, его ждет добровольное исчезновение посредством эвтаназии; все очень скромно, очень быстро, без драм. Общество, изображенное в «О дивном новом мире», — это счастливое общество, где нет места трагедиям и эмоциональным крайностям. Всеобщая сексуальная свобода, больше никаких препон наслаждению, расцвету желаний. Случаются краткие моменты уныния, печали и сомнения; но все это легко исцелить медикаментозным путем, химия добилась существенного прогресса в области антидепрессантов и анксиолитиков. «Сому ам — и нету драм». Это точь-в-точь такой мир, о котором мы сегодня мечтаем, мир, в каком мы, нынешние, хотели бы жить.

— Я прекрасно знаю, — продолжал Брюно, взмахом руки как бы отметая замечание, которого Мишель не делал, — знаю, что обычно мир Хаксли объявляют тоталитарным кошмаром, пытаясь выдать эту книгу за разоблачение; это просто чистейшее лицемерие. По всем пунктам — генетический контроль, свобода пола, борьба со старостью, цивилизация развлечений — «О дивный новый мир» рисует нам рай, в точности такой, достичь которого мы пытаемся, пока что

безуспешно. Есть только один фактор, несколько противоречащий нашей системе ценностей, — это разделение общества на касты, по своей генетической природе предназначенные для разных работ. Однако это безусловно единственный пункт, в котором Хаксли оказался плохим пророком; это равным образом единственный пункт, который становится почти бесполезным по мере развития механизации и роботизации. Олдос Хаксли, вне всякого сомнения, плохой писатель, его фразы тяжеловесны и лишены изящества, его персонажи невыразительны и ходульны. Но ему присуще одно — притом основополагающее — интуитивное прозрение, что эволюция людских сообществ в продолжение нескольких веков направлялась и в дальнейшем во все большей степени будет направляться научным и технологическим прогрессом. Ему могло при всем том не хватать тонкости, психологизма, чувства стиля; все это легко перевешивается его исходным преимуществом — интуицией. Он первым из писателей, включая сюда и научных фантастов, понял, что, не считая физики, главным двигателем этого процесса теперь станет биология.

Брюно осекся; он только теперь заметил, что его брат слегка похудел, выглядит усталым, оза-

боченным, да, пожалуй, и несколько рассеянным. И в самом деле, вот уже несколько дней Мишель пренебрегал своими занятиями. Не в пример прошлым годам, перед магазином единых цен топталось много нищих и продавцов газет; а ведь лето в разгаре, это пора, когда бедность становится менее гнетущей. «А если война?» — спрашивал себя Мишель, наблюдая сквозь оконное стекло медлительные перемещения клошаров. Брюно снова налил себе стакан вина; он начал ощущать, что проголодался, и был несколько удивлен, когда брат устало ответил ему:

— Хаксли принадлежал к большому семейству английских биологов. Его дед дружил с Дарвином, он много писал в защиту теории эволюции. Его отец и его братДжулиан также были биологами с именем. Это все представители английской традиции, интеллектуалы-прагматики, либералы и скептики. В отличие от французской эпохи Просвещения. Их открытия основываются на наблюдении, на экспериментальных методиках. Все свои юные годы Хаксли провел, общаясь с экономистами, юристами, но главное, с учеными, которые гостили в доме его отца. Среди писателей своего поколения он, несомненно, был единственным, кто мог предсказать грядущие

успехи биологии. Но все это произошло бы куда быстрее, если бы не нацизм. Нацистская идеология способствовала дискредитации теорий евгеники и улучшения породы; потребовалось несколько десятилетий, чтобы к этому вернуться. — Мишель встал, принес из своей библиотеки том под названием «То, что я смею думать». — Эту книгу написал Джулиан Хаксли, старший брат Олдоса; она была опубликована в 1931-м, за год до «О дивного нового мира». Здесь мы находим все те мысли о генетическом контроле и улучшении породы, в том числе человеческой, которые его брат использует в своем романе. Все это здесь представлено, и вполне недвусмысленно, в качестве желанной цели, к которой надлежит стремиться.

Мишель сел, вытер пот со лба. Он продолжал:

— После войны, в 1946 году, Джулиан Хаксли был назначен генеральным директором ЮНЕСКО, созданного как раз в то время. Его брат опубликовал «Возвращение в прекрасный новый мир», в котором старался представить свою первую книгу как обличение, как сатиру. Несколькими годами позже Олдос Хаксли стал идейным вдохновителем большей части экспериментов хиппи. Он всегда был сторонником полной сексуальной

свободы, играл роль первооткрывателя в применении психоделических наркотиков. Его знали все основатели Изалена, они были знакомы с ним и находились под его влиянием. Впоследствии движение *New Age* мало-помалу полностью взяло на вооружения все идеи изаленского направления. По существу, Олдос Хаксли один из наиболее влиятельных мыслителей столетия.

Они отправились перекусить в ресторан на углу улицы, предлагавший двойную порцию фондю по-китайски за 270 франков. Мишель уже три дня не выходил из дому

— Я сегодня не ел, — заметил он с легким удивлением; в руке он держал книгу. — Хаксли опубликовал «Остров» в 1962-м, это его последняя книга, — продолжал он, ковыряя липкий рис. — Действие происходит на райском тропическом острове — растительность и ландшафты, вероятно, навеяны Шри-Ланкой. На этом острове, в стороне от больших торговых путей XX века, развивается своеобразная цивилизация, весьма продвинутая в плане технологий и одновременно уважающая природу: мирная, полностью освобожденная от наследственных неврозов и иудео-христианских запретов. Нагота там естественна; любовь и вожделение проявляются

открыто. Эта книга, посредственная, но легкая для восприятия, имела огромное влияние на хиппи, а через них и на адептов *New Age.* Если приглядеться, гармоническое сообщество, изображенное в «Острове», имеет много общего с тем, что описано в романе «О дивный новый мир». На деле сам Хаксли, вероятно пребывающий в состоянии маразма, похоже, не осознавал этого сходства, однако общество, что представлено в «Острове», так же близко «О дивному новому миру», как анархическое сообщество хиппи сродни обществу буржуазного либерализма или скорее его шведскому социал-демократическому варианту.

Он умолк, окунул креветку в соус пикан, отложил в сторону свои палочки.

— Олдос Хаксли, подобно своему брату, был оптимистом, — произнес он наконец с гримасой едва ли не отвращения. — Метафизическая мутация, породившая материализм и современную науку, имела два великих условия: рационализм и индивидуализм. Ошибка Хаксли в том, что он плохо рассчитал соотношение сил между этими двумя условиями. Недооценил возрастание индивидуализма в результате более интенсивного осознания смерти. Индивидуализм породил сво-

боду, ощущение собственного «я», потребность выделиться и возвыситься над другими. В том рациональном обществе, что описано в романе «О дивном новый мир», борьба может быть смягчена. Экономическое соревнование, метафора захвата жизненного пространства, теряет смысл в богатом обществе, где все экономические колебания под контролем. Соревнование в области секса, окольным путем олицетворяющее зарождение победы над временем, утрачивает смысл в обществе, где в полной мере осуществлен распад системы сексуального самовоспроизводства; но Хаксли забывает принять в. расчет индивидуализм. Он не сумел понять, что секс, будучи отделен от функции размножения, существует не столько как источник удовольствия, сколько как принцип самоутверждения: это то же самое, что страсть к обогащению. Почему шведской социал-демократической модели никогда не удавалось возобладать над либеральной? Почему она даже никогда не была испробована в области сексуальных проблем? Потому что метафизическая мутация, производимая современной наукой, влечет за собой индивидуализм, тщеславие, ненависть и желание. В противоположность наслаждению желание по самой своей

сути есть источник страдания, злобы и беды. Все философы — не только буддисты, не только христиане, но все, кто заслуживает имени философов, — знали об этом и этому учили. Выход, предлагаемый утопистами от Платона до Хаксли, в том числе и Фурье, состоит в погашении желания и страданий посредством организации незамедлительного удовлетворения. Общество рекламно-эротическое, в котором живем мы, напротив, стремится к организации желания, к его разрастанию в неслыханных масштабах, удерживая его удовлетворение в пределах интимной сферы. Чтобы такое общество функционировало, чтобы соревнование не прекращалось, необходимо приумножать желание, нужно, чтобы оно, распространяясь, пожирало человеческую жизнь.

Изнуренный, он утер со лба пот. К еде он больше не притронулся.

— Существуют коррективы, маленькие гуманистические поправки, — мягко возразил Брюно. — В конце концов, есть вещи, позволяющие забывать о смерти. В «О дивном новом мире» речь идет об анксиолитиках и антидепрессантах; в «Острове» все дело скорее упирается в медитацию, психоделические наркотики, кое-какие

туманные элементы индуизма. Практически современные люди пытаются создать маленький коктейль из обоих этих способов.

— Джулиан Хаксли в книге «То, что я смею думать», тоже обращается к вопросам религии, он посвящает им всю вторую часть, — с возрастающим омерзением заметил Мишель. — Он полностью сознает, что научный прогресс и материализм подорвали основы всех традиционных религий; равным образом он понимает и то, что никакое общество существовать без религии не может. На протяжении более сотни страниц он пытается заложить фундамент такой религии, которая могла бы согласоваться с современным состоянием науки. Нельзя сказать, что результаты его усилий так уж убедительны; не скажешь также, чтобы развитие нашего общества особенно продвинулось в этом смысле. В действительности все надежды на синтез сводятся на нет очевидностью смерти материи, тщеславием и жестокостью, распространение которых неостановимо. В порядке компенсации, — странновато усмехнувшись, заключил он, — нам тем не менее остается любовь.

11

После визита Брюно Мишель провалялся в кровати ровным счетом две недели. А и впрямь, спрашивал он себя, как общество может существовать без религии? Ведь это представляется затруднительным, даже если говорить об отдельном индивидууме. Несколько дней подряд он разглядывал батарею, расположенную слева от кровати. Во время отопительного сезона ее ребра заполняет горячая вода, это полезное, ловко придуманное сооружение; но все-таки сколько времени западное общество сможет обходиться без какой бы то ни было религии? Когда он был ребенком, ему нравилось поливать растения в огороде. У него сохранилась маленькая прямоугольная черно-белая фотокарточка, он там с лейкой в руках, под присмотром своей бабушки; ему, наверное, лет шесть. Позже он полюбил ходить за покупками. На сдачу от хлеба ему позволялось купить немного карамели. Потом он отправлялся на ферму за молоком; он нес в вытянутой руке, покачивая, как ведерко, алюминиевый солдатский котелок с теплым еще молоком, и ему было немножко жутко, когда

приходилось возвращаться уже в потемках по ухабистой дороге, окаймленной колючим кустарником. Теперь любой поход в супермаркет был для него сущей мукой. Однако ассортимент менялся, то и дело возникали новые типы быстрозамороженных продуктов для холостяков. Недавно в мясном отделе своего универсама он — в первый раз в жизни — увидел бифштекс из страуса.

Чтобы обеспечить воспроизводство, две нити спирали ДНК расходятся и к каждой присоединяются дополнительные нуклеотиды. Этот момент деления опасен, тут-то и могут вмешаться неконтролируемые мутации, по большей части пагубные. Голодовка стимулирует работу интеллекта — это действительный факт, и на исходе первой недели Мишель интуитивно догадался, что безупречное воспроизводство невозможно, пока молекула ДНК имеет форму спирали. Для обеспечения лишенной изъянов репликации бесконечного числа поколений клеток, вероятно, было бы необходимо придать генетической информации более компактную форму, наподобие, к примеру, тора или листа Мёбиуса.

Ребенком он не мог примириться с естественным разрушением всех вещей, их поломкой,

изнашиванием. Так, он хранил многие годы, бесконечно чинил, обматывал скотчем расколовшуюся надвое маленькую линейку из белой пластмассы. Из-за дополнительных утолщений после обматывания линейка утратила прямизну, по ней стало невозможно провести ровную линию, она уже не могла служить линейкой. И все же он ее берег. Она снова ломалась, он опять ее чинил, наматывал скотч еще толще и клал упорно в ранец.

Одним из свойств гения Джерзински, как напишет годы спустя Фредерик Хюбчеяк, было то, что он сумел пойти дальше своего первого озарения, согласно которому воспроизводство половым путем несет в себе самом источник вредоносных мутаций. На протяжении тысячелетий, подчеркивает Хюбчеяк, все культуры человечества несли на себе более или менее отчетливый отпечаток интуитивного осознания неразрывной связи между сексом и смертью; для исследователя, только что подтвердившего эту связь посредством неопровержимых доказательств из области молекулярной биологии, было бы естественно остановиться на этом, посчитать, что его цель достигнута. Однако Джерзински почувствовал, что должен выйти за пределы про-

блемы воспроизводства половым путем, чтобы рассмотреть топологические условия клеточного деления во всей их совокупности.

С первого же года своего учения в начальной школе в Шарни Мишель был поражен жестокостью в мальчишеской среде. Правда, то были крестьянские дети, то есть маленькие звереныши, еще недалеко ушедшие от дикой природы. Но поистине можно было изумляться той естественной, инстинктивной радости, с которой они протыкали лягушек иглами циркулей или перьями ручек; фиолетовые чернила затекали под кожу несчастного создания, медленно погибавшего от удушья. Они собирались в кружок, с горящими глазами следили за этой агонией. Их другой излюбленной забавой было отрезать ножницами рожки улиток. Рожки у улитки единственный чувствительный орган; на конце у них маленькие глазки. Лишенная рожек, улитка становится всего лишь вялым, страдающим и не способным сориентироваться кусочком плоти. Мишель быстро сообразил, что в его интересах установить дистанцию между собой и этими малолетними зверенышами; напротив, бояться девочек, созданий более кротких, у него было мало оснований. Эту первую догадку о законах

мира сего затем подкрепила «Жизнь животных» — телепередача, которая шла каждую пятницу по вечерам. Среди всей гнусной подлости, непрерывного душегубства, составляющего животную природу, единственным проблеском преданности и самопожертвования представлялась материнская любовь или же нечто такое, что от инстинкта защиты постепенно, незаметно ведет к тому же материнскому чувству. Так, самка кальмара, крошечное трогательное созданье двадцати сантиметров в длину, без колебаний нападает на пловца, если он приблизится к отложенным ею яичкам.

Тридцать лет спустя ему придется еще раз прийти к тому же заключению: решительно женщины лучше мужчин. Они ласковее, более способны к любви, сочувствию, нежности; меньше склонны к насилию, эгоизму, самоутверждению, жестокости. К тому же они благоразумнее, умнее и трудолюбивее.

По существу, спрашивал себя Мишель, следя, как солнце, просвечивая сквозь занавески, плывет к закату, для чего нужны мужчины? Возможно, что в стародавние времена, когда медведей было много, мужественность могла играть особую и незаменимую роль; но вот уж

несколько столетий надобность в мужчинах, видимо, почти совсем отпала. Иногда они, разгоняя тоску, затевают партии в теннис, что является наименьшим злом; но также случается, что они находят полезным «двигать историю вперед», то есть убежденно разжигают революции и войны. Помимо бессмысленных страданий, которые они несут, войны и революции разрушают то лучшее, что было в прошлом, всякий раз требуя себе чистого места, чтобы строить все заново. Вне равномерного постепенного хода развития человеческая эволюция приобретает вид хаотический, разрушительный, неупорядоченный и буйный. Во всем этом исключительно и напрямую виноваты мужчины с их любовью к игре и риску, их непомерным тщеславием, их безответственностью, их врожденной тягой к насилию. Мир, состоящий из женщин, был бы во всех отношениях бесконечно предпочтительнее; он бы эволюционировал медленнее, зато непрерывно, без откатов назад и погибельных срывов он продвигался бы ко всеобщему счастью.

Утром 15 августа он встал, вышел из дому, тайно надеясь, что улицы безлюдны; так оно почти и было. Он сделал несколько заметок, к которым ему придется вернуться лет десять спустя, когда

наступит время готовить к печати свою важнейшую работу «Пролегомены к безукоризненной репликации».

А Брюно в то же самое время привез сына к своей бывшей жене. Он чувствовал себя измученным и подавленным. Анна возвращалась из экспедиции по программе «Новые границы» не то на остров Пасхи, не то в Бенин, он в точности не помнил; она, вероятно, нашла себе подруг, обменялась адресами — они еще повидаются раза два-три, пока не надоест; но с мужчинами она не встречалась — у Брюно возникло впечатление, что она полностью отказалась от всего, что связано с мужчинами. Анна отвела его в сторонку на пару минут, ей хотелось знать, «как все прошло». Он ответил: «Хорошо», приняв тот спокойный, самоуверенный тон, который импонирует женщинам; однако прибавил не без самоиронии: «Однако Виктор много смотрел телевизор». Без сигареты во рту он чувствовал себя не в своей тарелке: с тех пор как сама бросила курить, Анна не выносила, чтобы при ней курили. Квартира была обставлена со вкусом. Он знал, что в момент ухода испытает сожаление, лишний раз будет спрашивать себя, почему все так устроено, как этого избежать Торопливо поцелует Виктора,

потом отправится восвояси. Вот и все: тем и кончится отпуск, проведенный с сыном.

По существу эти две недели были мученьем. Растянувшись на своем матраце, поставив бутылку бурбона на расстояние вытянутой руки, Брюно слушал звуки. производимые его сыном в соседней комнате: как тот, пописав, спускает воду, как щелкает пульт дистанционного управления. Сам того не зная, он точь-в-точь как его сводный брат в это же время — и также часами — тупо разглядывал трубы парового отопления. Виктор лежал в гостиной на диван-кровати; он смотрел телевизор по пятнадцать часов в сутки. По утрам, когда Брюно просыпался, уже был включен канал M6, показывающий мультики. Чтобы громкий звук никому не мешал, Виктор надевал шлемофон. Он не был грубияном, не старался доставлять неприятности; но ему и его отцу абсолютно нечего было сказать друг другу. Два раза в день Брюно разогревал готовые блюда; они ели, сидя друг перед другом, практически не говоря ни слова.

Как они до такого дошли? Виктору совсем недавно исполнилось тринадцать. Всего несколько лет назад он рисовал и показывал свои рисунки отцу. Он перерисовывал персонажей комиксов

Марвела: там были Фаталис, Фантастикус, Фараон будущего, он их изображал в самых небывалых ситуациях. Иногда они играли в «Тысячу вех» или отправлялись воскресным утром в Луврский музей. Ко дню рождения Брюно Виктор — ему тогда было десять — огромными разноцветными буквами вывел на мелованном листке: ПАПА Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. Теперь с этим было покончено. И Брюно знал, что в дальнейшем дело обернется еще хуже: от взаимного равнодушия они перейдут к ненависти. Самое позднее через два года начнутся пробные попытки сына гулять с девочками-сверстницами; к этим пятнадцатилетним девчонкам и он сам, Брюно, будет вожделеть. Приближалась пора соперничества, состояния, естественного для мужчин. Они были подобны зверям, бьющимся в одной клетке, имя которой время.

Возвращаясь к себе, Брюно купил у арабского бакалейщика две бутылки анисового ликера; потом, прежде чем надраться до полусмерти, позвонил брату, чтобы договориться назавтра о встрече. Когда он явился к Мишелю, тот после своего голодного периода переживал внезапный приступ зверского аппетита, ломоть за ломтем пожирал итальянскую колбасу, заглатывал вино

большими стаканами. «Накладывай себе, наливай», — невнятно бурчал он. Брюно казалось, что тот его почти не слушает. Это было похоже на разговор с психиатром, а то и с глухой стеной. Тем не менее он рассказывал:

— Несколько лет подряд мой сын тянулся ко мне, он хотел от меня любви; я хандрил, был недоволен своей жизнью, и я его отталкивал — в ожидании лучших времен. Я тогда не понимал, как быстро пройдут эти годы. Ребенок от семи лет до двенадцати — чудесное созданье, милое, разумное, открытое. Он живет в полной гармонии с разумом и живет радостно. Он сам полон любви, и его удовлетворяет та любовь, которую другие готовы дать ему. Потом все портится. Все меняется к худшему и непоправимо.

Мишель проглотил два последних ломтя колбасы, снова налил себе стакан вина. Его руки тряслись. Брюно продолжал:

— Трудно вообразить существо более глупое, агрессивное, более несносное и злобное, чем подросток, особенно если он окружен огольцами того же возраста. Подросток — это монстр и одновременно болван, его конформизм почти невероятен; подросток являет собой продукт внезапной и вредоносной (притом непредви-

денной, если исходить из характера ребенка) кристаллизации всего самого худшего, что есть в мужчине. Как после этого сомневаться в том, что сексуальность есть абсолютное зло? И как только люди умудряются выносить необходимость жить под одной крышей с подростком? Мой тезис состоит в том, что это им удается лишь потому, что их собственная жизнь абсолютно пуста; однако и моя жизнь пуста, но мне это не удается. Как бы то ни было, все врут, причем доходят в своем вранье до гротеска. Разводятся, но остаются добрыми друзьями. Берут сына к себе на каждый второй уик-энд — это же гадость. Полнейшая, совершеннейшая гадость. На самом деле мужчины никогда не интересуются своими детьми, никогда не чувствуют к ним любви, да мужчины обычно и не способны испытывать любовь, это чувство им абсолютно чуждо. Что им знакомо, так это желание, половое влечение, доходящее до скотства, и соперничество между самцами; потом, много позже, уже состоя в браке, они иной раз могут испытывать к своей супруге некоторую признательность — за то, что та подарила им детей, ловко ведет домашнее хозяйство, показала себя хорошей кухаркой и хорошей любовницей; тогда мужчине доставляет

удовольствие спать с ней в одной постели. Это, возможно, не то, чего желают женщины, вероятно, здесь имеет место недоразумение, но это все же чувство, которое может быть сильным — и даже если мужчины испытывают возбуждение, впрочем непродолжительное, хлопая время от времени по какому-нибудь маленькому задку, они уже буквально жить не могут без своей жены, и если, на беду, ее не станет, они начинают пить и быстро умирают, по большей части в течение нескольких месяцев. Что до детей, то раньше они были нужны, чтобы стать наследниками состояния, общественных и фамильных традиций. Разумеется, это касалось прежде всего родовитых семейств, но то же можно сказать и о коммерсантах, крестьянах, ремесленниках — по сути, обо всех классах общества. Сегодня все это несущественно: я живу на жалованье, у меня нет состояния, мне нечего оставить в наследство сыну. У меня нет и ремесла, которому я мог бы его обучить, я даже не знаю, чем он сможет в будущем заниматься; правила, по которым я жил, для него ценности не имеют, ему предстоит обретаться в другом мире. Принять идеологию бесконечных перемен — значит признать, что жизнь человека жестко замыкается в пределах

его индивидуального бытия, а прошлые и будущие поколения в его глазах ничего не значат. Так мы теперь и живем, и сегодня мужчине нет никакого смысла заводить ребенка. Для женщин все иначе, ведь они продолжают испытывать потребность в существе, которое можно любить, — это не нужно и никогда не было нужно мужчинам. Было бы заблуждением предполагать, что у мужчин тоже есть склонность нянчиться с детьми, играть с ними, ласкать. Можно сколько угодно утверждать противоположное, все равно это останется ложью. Как только разведешься, разорвешь семейные узы, все отношения с детьми теряют смысл. Ребенок — это ловушка, которая захлопывается, враг, которого ты обязан содержать и который тебя переживет.

Мишель встал, пошел на кухню, чтобы налить себе стакан воды. В воздухе перед его глазами вращались разноцветные круги, он почувствовал позыв к тошноте. Прежде всего ему было необходимо справиться с дрожанием рук. Брюно прав, отцовская любовь — ложь, фикция. Ложь полезна, подумал он, если она позволяет преобразить действительность; но если преображение не удалось, тогда остается только ложь, горечь и стыд.

Он вернулся в комнату. Брюно съежился в

кресле: даже будь он мертв, он не смог бы сидеть неподвижнее. Многоэтажки погружались в ночь; после очередного удушающе знойного дня температура становилась терпимее. Мишель вдруг заметил опустевшую клетку, в которой несколько лет прожил его кенарь; надо ее выбросить, заводить новую птицу он не собирался. Мимоходом вспомнилась соседка из дома напротив, редактриса «Двадцати лет»; он не видел ее несколько месяцев, вероятно, она переехала. Он постарался сосредоточить внимание на своих руках, отметил, что дрожь немного унялась. Брюно по-прежнему не двигался; молчание длилось еще несколько минут.

12

— Анну я встретил в 1981-м, — вздохнув, продолжал Брюно. — Она была не так уж красива, но мне надоело парить лысого в одиночку. Что в ней было недурно, так это большая грудь. Я толстые груди всегда любил… — Он опять испустил продолжительный вздох. — Моя протестантская грудастенькая коровка-производительница! — к величайшему изумлению Мишеля, его глаза промокли от слез. — Потом груди у нее отвисли, и наш брак тоже дал трещину. Я прохезал ее жизнь, пустил на ветер. Вот чего я никогда не смогу забыть: я прохезал жизнь этой женщины. У тебя вино осталось?

Мишель отправился на кухню за бутылкой. Все это было немного из ряда вон; он знал, что Брюно ходил к психиатру, а потом бросил это. Ведь, по сути, всегда ищешь способа облегчить свои страдания. Поскольку мука исповеди кажется менее тяжкой, человек высказывается; потом он замолкает, сдается, остается в одиночестве. Если Брюно вновь почувствовал потребность обратиться к своей жизненной катастрофе, это, быть может, означает, что у него появилась на-

дежда, возможность новой попытки; вероятно, это добрый знак.

— Не то чтобы она была безобразна, — продолжал Брюно, — но лицо у нее было так себе, без особой тонкости. В ней никогда не было того изящества, того сияния, что порой озаряет лица молодых девушек. Со своими толстоватыми ногами она и помыслить не могла о том, чтобы носить мини-юбки; но я ее научил носить совсем короткие блузочки и ходить без лифчика; это очень возбуждает, когда большая грудь выглядывает из-под блузки. Ее это немного смущало, но в конце концов она согласилась; она ничего не смыслила в эротике, в белье, у нее не было никакого опыта. Впрочем, что я тебе рассказываю, ты ведь, по-моему, ее знал?

— Я был на твоей свадьбе….

— Да, верно — согласился Брюно растерянно. — Помнится, меня тогда удивило, что ты приехал. Я думал, что ты больше не желаешь иметь со мной ничего общего.

— Я больше не желал иметь с тобой ничего общего.

Мишель в эту минуту снова призадумался, спрашивая себя, что в самом деле могло побудить его явиться на эту унылую церемонию. Ему

вспомнился храм в Нейи, зал с почти голыми стенами, угнетающе суровый, более чем наполовину заполненный толпой соблюдавших внешнюю скромность богачей: отец новобрачной занимался финансами.

— Они были тогда левыми, — сказал Брюно (впрочем, по тем временам левыми были все!). — Они находили совершенно нормальным, что я сошелся с их дочерью до брака: мы поженились, потому что она забеременела, — в конце концов, это дело обычное.

Мишелю вспомнилась проповедь пастора, его голос гулко отдавался в холодной пустоте зала: он толковал о Христе как истинном Человеке и истинном Боге, о новом союзе, который он заключил в Вечности со своим народом… впрочем, было трудно уразуметь, о чем, в сущности, шла речь. Так протекло минут сорок пять, Мишель впал в состояние, близкое к дремоте, но вдруг пробудился, уловив следующую формулировку: «Пусть благословит вас Господь Бог Израиля, он, который пожалел двух одиноких детей». Поначалу, с трудом приходя в себя, он подумал: «Неужто они все — евреи?» Ему понадобилась целая минута размышлений, чтобы сообразить, что, по существу, речь идет о «том же самом» Боге.

Ловко связав одно с другим, пастор продолжал с нарастающей убедительностью: «Любить свою жену — то же, что любить себя самого. Никто никогда не питал ненависти к собственной плоти, напротив, каждый питает ее, заботится о ней, как Христос о Церкви; ведь все мы члены единого тела, плоть от плоти и кровь от крови ее. Вот почему мужчина покинет отца своего и матерь свою и прилепится к жене своей, и станут двое плотью единой. Тайна сия велика, я утверждаю это, и подобна связи между Христом и Церковью». Вот уж, как говорится, в самую точку: «станут двое плотью единой». Некоторое время поразмышляв над этой перспективой, Мишель глянул на Анну: спокойная, сосредоточенная, она, похоже, задерживала дыхание; от этого она сделалась почти красивой. Видимо, вдохновившись положением из Святого Павла. пастор продолжал с возрастающей страстью: «Господи, воззри милостиво на служанку Твою: готовясь соединиться с супругом, она уповает на Твое благословение. Помоги ей всегда пребывать во Христе супругой верной и целомудренной, и да последует она неизменно примеру святых жен: да будет мила своему мужу, как Рахиль, разумна, как Ревекка, верна, как Сарра. Да останется привержена закону и заповедям

Господним, едина со своим супругом, да избегнет она всех дурных связей, да заслужит уважение своей скромностью и почтение — своей чистотой, да вразумит ее Господь. Пусть ее чрево будет плодовито, пусть они оба увидят и детей своих, и детей своих детей, до третьего и четвертого колена. Пусть доживут они до счастливой старости и среди избранных познают покой в царствии небесном. Во имя Господа нашего Иисуса Христа, аминь». Мишель, расталкивая толпу, двинулся к алтарю, навлекая на себя со всех сторон встревоженные взгляды. Он остановился в четвертом ряду, и тут произошел обмен кольцами. Пастор взял новобрачных за руки, склонил голову с выражением впечатляющей сосредоточенности; абсолютная тишина воцарилась в стенах храма. Потом он вскинул голову и громким голосом, страстным и одновременно безнадежным, с невероятной силой выразительности мощно возопил: «Да не расторгнет человек того, что соединил Господь!»

Немного погодя Мишель приблизился к пастору, который прибирал на место свою утварь. «Меня очень заинтересовало то, что вы только что говорили…» Служитель Господень учтиво улыбнулся. Тогда он заговорил об опытах Аспе

и парадоксе взаимодействий элементарных частиц: когда две частицы соединяются, они образуют нерасторжимое единство, «по-моему, это совершенно то же самое, что ваш сюжет про единую плоть». Улыбка пастора малость перекосилась. «Я хочу сказать, — продолжал Мишель вдохновляясь, — в онтологическом плане можно ввести в гилбертово пространство новый вектор единого состояния. Вам понятно, что я имею в виду?» — «Конечно, само собой, — процедил служитель Божий озираясь. — Извините, — резко бросил он и повернулся к отцу новобрачной. Они долго жали друг другу руки, обнимались. „Очень красивое богослужение, великолепное“, — с чувством произнес финансист.

— Ты не остался на праздничный ужин, — напомнил Брюно. — Мне там было не совсем ловко, я никого не знал, но тем не менее это была моя свадьба. Мой отец прибыл с большим опозданием, но все-таки появился: он был плохо выбрит, галстук съехал набок, ни дать ни взять видавший виды одряхлевший распутник. Я убежден, что родители Анны предпочли бы другого зятя, но что поделаешь, к тому же они, как левые буржуа-протестанты, наперекор всему питали некоторое почтение к людям образованным. И потом, я

— агреже, а у нее только и было, что право преподавать в средней школе. Но самое ужасное, что ее малышка сестра была очень хорошенькой. Она очень походила на старшую, и грудь у нее тоже не подкачала, но лицо было другое, просто класс. Сразу не определишь, в чем разница. Скорее всего, дело в соразмерности черт, в деталях. Трудно сказать…

Он еще раз вздохнул, наполнил свой стакан.

— Свое первое место я получил в восемьдесят четвертом, в лицее Карно, в Дижоне, это было начало учебного года. Анна на седьмом месяце. Мы оба преподаватели, культурная супружеская пара, все условия для нормальной жизни. Мы сняли квартиру на улице Ваннери, в двух шагах от лицея. «Наши цены не сравнить с парижскими, — сказала девица из агентства. — Жизнь у нас тоже парижской не чета, но вы увидите, как здесь весело летом, много туристов, а во время фестиваля барочной музыки полно молодежи». Барочная музыка?..

Я сразу понял, что проклят. Что жизнь «не чета парижской», на это мне было чихать, в Париже я был постоянно несчастен. Просто-напросто я желал всех женщин, кроме собственной жены. В Дижоне, как в любом провинциальном горо-

де, множество красоток, это еще тяжелее, чем в Париже. Мода в ту пору становилась с каждым годом все более сексуальной. Это было нестерпимо, все эти девчонки со своими ужимочками, коротенькими юбчонками, игривыми смешками. Я видел их целыми днями на занятиях, видел в полдень в «Пенальти» — баре по соседству с лицеем. Они болтали с парнями, а я отправлялся завтракать со своей женой. По субботам я снова их видел: во второй половине дня на торговых улицах — они покупали шмотки и пластинки. Я был с Анной, она разглядывала детскую одежду, ее беременность проходила гладко, и она была немыслимо счастлива. Много спала, ела все, что захочется; любовью мы больше не занимались, но, кажется, она этого даже не осознавала. Во время сеансов подготовки к родам она подружилась с другими беременными, легко сходилась с людьми, выглядела общительной и симпатичной, это была женщина из тех, кому жизнь в радость. Когда я узнал, что ожидается мальчик, я испытал жестокое потрясение. Все сразу оборачивалось плохо, мне, видно, на роду написано переживать худшее. Я бы должен ликовать, мне было всего двадцать восемь, но я уже чувствовал себя мертвецом.

Виктор родился в декабре; я помню его крещение в церкви Сен-Мишель, это была мука мученическая. «Крещеные становятся живыми камнями для построения здания духовного, для святого служения Господу», — вещал священник. Виктор лежал в платьице из белых кружев, весь красный, сморщенный. Крещение оказалось коллективным, как в раннехристианских церквах, там был добрый десяток семейств. «Крещение приводит в лоно Церкви, — говорил священник, — мы все члены тела Христова». Анна держала мальчика на руках, он весил четыре кило. Был очень спокоен, совсем не кричал. «Разве отныне, — вопрошал патер, — мы не так же близки друг другу, как члены единого тела?» Родители стали переглядываться, похоже, с некоторым сомнением. После этого священник в три приема полил голову моего сына святой водой; затем он помазал ее елеем. Это ароматное масло, освященное епископом, символизирует дар Духа Святого, пояснил священник. Он обращен непосредственно к сему младенцу. «Виктор, — провозгласил святой отец, — теперь ты стал христианином. Через это помазание Духа Святого ты приобщился ко Христу. Отныне ты разделяешь его пророческую, священническую, царственную миссию». Все это

меня так проняло, что я записался в группу «Вера и жизнь», которая собиралась каждую среду. Туда заходила одна молоденькая кореянка, очень красивая, мне сразу захотелось ее трахнуть. Это было не просто, она знала, что я женат. Однажды в субботу Анна пригласила всю группу к нам в гости, кореянка сидела на канапе, на ней была короткая юбка, и я весь вечер пялился на ее ноги, однако никто ничего не заподозрил.

В феврале Анна вместе с Виктором отправилась на каникулы к своим родителям; я остался в Дижоне один. И предпринял новую попытку сделаться истинным католиком; валялся на своем матраце «Эпеда» и, потягивая анисовый ликер, читал «Мистерию о святых праведниках». Он очень хорош, этот Пеги[8], просто блистателен, но и он под конец вогнал меня в полнейшее уныние. Все эти истории греха, отпущения грехов, Господь, который радуется покаянию грешника больше, чем тысяче праведников… а я-то хотел быть грешником, да не мог. Мне казалось, что у меня украли молодость. Все, чего я желал, это давать молоденьким шлюшкам с мясистыми

[8] Примечание: 8

Шарль Пеги (1873-1914) французский поэт, прозаик, публицист, автор ряда религиозных поэм. Выступал за христианство вне официальной церкви. Погиб в сражении на Марне

губами пососать мой хвост. На дискотеках было много губастых потаскушек, и я за время отсутствия Анны несколько раз захаживал в «Slow Rock» и в «Ад»; но они уходили с другими, не со мной, сосали не мой, а чужие хвосты; и черт возьми, я просто не мог больше этого выносить. Как раз тогда наступила пора бурного расцвета «Розового минителя», вокруг него был всеобщий ажиотаж, и я подключался к нему на целые ночи. Виктор спал в нашей комнате, ему-то хорошо спалось, у него этой проблемы не было. Когда пришел первый телефонный счет, я перепугался ужасно, вытащил его из почтового ящика и распечатал по дороге в лицей: четырнадцать тысяч франков. К счастью, у меня еще со студенческих времен сохранилась сберегательная книжка, я все перевел на наш общий счет, Анна ничего не узнала.

Хочешь выжить — оглянись вокруг. Постепенно я стал замечать, что мои коллеги, преподаватели лицея Карно, смотрят на меня без злобы и насмешки. Они не видели во мне соперника; мы были заняты одинаковой работой, я был «одним из своих». У них я научился будничному взгляду на вещи. Получил водительские права, начал проявлять интерес к каталогам автосалонов.

Когда пришла весна, мы стали проводить послеобеденные часы у Гильмаров на лужайке. Это семейство обитало в довольно безобразном доме на Фонтен-ле-Дижон, но там была большая очень приятная лужайка с деревьями. Гильмар был учителем математики, мы с ним преподавали примерно и одних и тех же классах. Он был долговяз, сухопар, сутул, со светлыми рыжеватыми волосами и обвислыми усами; несколько смахивал на немецкого бухгалтера. Он со своей женой готовил барбекю. Вечер длился, шел разговор о каникулах, настроение у всех было игривое; обычно присутствовали три-четыре учительские пары. Жена Гильмара служила медицинской сестрой, у нее была репутация сверхшлюхи; факт тот, что, когда она садилась на лужайку, всякий видел, что у нее под юбкой ничего нет. Свои каникулы они проводили на мысе Агд, в секторе нудистов. Я также полагаю, что они посещали сауну для парочек на площади Боссюэ, в конце концов и такие слухи до меня доходили. Я никогда не осмеливался заговорить об этом с Анной, но мне они казались симпатичными, у них сохранились социал-демократические наклонности — совсем не такие, как у тех хиппи, что в семидесятых таскались по пятам за нашей матерью. Гильмар

был хорошим учителем, всегда без колебаний оставался после конца занятий, чтобы помочь ученику разобраться в трудной задаче. Думаю, он не отказывал в помощи и обиженным судьбой.

Внезапно Брюно умолк. Подождав несколько минут, Мишель встал, открыл застекленную дверь и вышел на балкон подышать ночным воздухом. Большинство тех, кого он знал, вели такую же жизнь, как Брюно. Исключая некоторые весьма привилегированные сферы, вроде рекламы и моды, получить доступ в профессиональную среду относительно легко, достаточно приобрести ограниченное число необходимых «условных рефлексов». После нескольких лет работы сексуальные вожделения угасают, люди переориентируются на услады желудка и выпивку; некоторые из его коллег, много моложе его, уже начали обзаводиться погребками. Случай Брюно был не таков, он ни слова не сказал о вине, а то было «Старое Папское» за 11 франков 95 сантимов.

Почти забыв о присутствии брата, Мишель облокотился о перила, окинул взглядом дома. Уже настала ночь, почти во всех окнах свет был потушен. Это была ночь с воскресенья на понедельник, 15 августа. Он вернулся к Брюно, сел

рядом; их колени почти соприкасались. Можно ли рассматривать Брюно как индивидуальность? Его дряхлеющий организм принадлежит ему, и ему как личности предстоит познать физический распад и смерть. С другой стороны, его гедонистическое видение мира, силовые поля, что структурируют его сознание, его потребности характерны для поколения в целом. Так же как при анализе экспериментального препарата, когда выбор одного или нескольких доступных наблюдению компонентов позволяет получить на атомном уровне картину корпускулярных либо волновых свойств всего объекта. Брюно способен проявлять себя как индивид, но с другой точки зрения он не более чем пассивный элемент исторического процесса. Его мотивации, ценности, желания — ничто ни в малейшей степени не выделяет его из среды современников. Первая реакция фрустрированного животного обычно состоит в том, чтобы приложить еще больше сил, пытаясь достигнуть своей цели. К примеру, голодная курица (Gallus domesticus), которой проволочная ограда мешает добраться до корма, будет предпринимать все более лихорадочные попытки протиснуться сквозь эту ограду. Однако мало-помалу это поведение сменится

другим, по видимости бессмысленным. Так и голуби (Columba livia), когда не могут получить желанную пищу, нервически клюют землю, даже если она не содержит ничего съедобного. Они не только предаются этому безрассудному занятию, но зачастую принимаются чистить свои перышки; подобное совершенно неуместное поведение характерно для ситуаций, предполагающих фрустрацию или конфликт, — это называют «замещающей активностью». В начале 1986-го, вскоре после того как достиг своего тридцатилетия, Брюно стал писать.

13

«Никакая метафизическая мутация, — годы спустя напишет Джерзински, — не совершается без совокупности малых мутаций, которые предвещают, подготавливают и облегчают ее, в качестве исторических случайностей часто проходя незамеченными. Лично я рассматриваю себя как одну из таких малых мутаций».

Имея дело с европейской публикой, Джерзински при жизни не встречал понимания. Мысль, развивающаяся при отсутствии реального собеседника, как подчеркивает Хюбчеяк в своем предисловии к «Клифденским заметкам», порой способна выскользнуть из сетей идеосинкразии и психоза; однако не было примера, чтобы она в своем выражении могла избрать доводы формально неопровержимые. К этому можно добавить, что Джерзински было суждено до самого конца считать себя прежде всего ученым; его вклад в развитие человечества, как ему казалось, состоял именно в его трудах по биофизике, выполненных в духе полного соответствия вполне классическим критериям неопровержимости и самодостаточности доказательств. Философские

элементы, содержащиеся в его последних записях, в его собственных глазах представляли собой лишь случайные пропозиции, даже несколько безумные, основанные не столько на логике, сколько на побуждениях чисто личных.

Его слегка клонило в сон; луна плыла над спящим городом. Он знал: достаточно одного его слова, и Брюно встанет, наденет куртку, скроется в кабине лифта; а поймать такси на Ламотт-Пике можно всегда. Рассматривая текущие обстоятельства собственной жизни, мы без конца колеблемся между верой в случайность и очевидностью того факта, что все предопределено. Однако когда речь идет о прошлом, сомнения быть не может: нам кажется бесспорным, что все обернулось так, как по существу только и должно было произойти. Эту иллюзию восприятия Джерзински уже в немалой степени преодолел; нет сомнения, что именно по этой причине он не произнес простых, привычных слов, которые оборвали бы исповедь этого хнычущего, погибающего существа, связанного с ним половинчатой общностью происхождения, существа, которое, развалившись на канапе, давным-давно вышло за все установленные правилами приличия рамки человеческой беседы. Он не испытывал ни

сочувствия, ни уважения, и все же им руководило слабое, подсознательное, непобедимое ощущение: в изворотливых, исполненных ложного пафоса речах Брюно на сей раз проглянет какое-то сообщение; если дать ему договорить, в его словах — впервые — обозначится определенное намерение. Он встал, пошел в туалет, заперся. Очень осторожно, не производя ни малейшего шума, сблевал. Потом, ополоснув лицо, вернулся в гостиную.

— Ты не гуманен, — кротко сказал Брюно, поднимая на него глаза. — Я с самого начала это почувствовал, когда увидел, как ты обошелся с Аннабель. И все же ты собеседник, которого мне послала судьба. Я полагаю, ты не был удивлен, когда в свое время получил мои записки об Иоанне Павле Втором.

— Все цивилизации, — печально отозвался Мишель, — все цивилизации были вынуждены сталкиваться с необходимостью оправдания родительской жертвенности. Учитывая исторические обстоятельства, у тебя не было выбора.

— Но я действительно восхищался Иоанном Павлом Вторым! — запротестовал Брюно. — Я помню, это было в 1986-м. В ту же пору, когда создавались «Канал-плюс» и M6, когда стали

выпускать «Глоб», открывались «Харчевни сердечности». Иоанн Павел Второй был абсолютно одинок, он единственный понимал смысл того, что творится на Западе. Я был изумлен, когда дижонская группа «Вера и жизнь» приняла мои заметки в штыки; они критиковали позицию Папы в отношении абортов, презервативов, всех этих глупостей. Ну да по правде говоря, я тоже не предпринимал особых усилий, чтобы их понять. Помнится, собрания происходили поочередно в домах разных супружеских пар, подавали всякие винегреты, салаты, пирог. Я весь вечер по-дурацки скалился, покачивал головой и глушил вино; я совсем не слушал того, что там говорилось. Анна, наоборот, была крайне воодушевлена, она записалась в группу борьбы с неграмотностью. В те вечера я подсыпал снотворного в детский рожок Виктора, а потом вытряхивал себя при посредничестве «Розового минителя»; но мне никогда не удавалось с кем-нибудь встретиться.

В апреле, ко дню рождения Анны, я ей купил расшитый серебром корсет с подвязками. Она вначале запротестовала, потом согласилась надеть его. Пока она пыталась застегнуть эти боевые доспехи, я выдул остаток шампанского. Потом услышал ее голос, слабый и немного

дрожащий: «Я готова…» Вернувшись в спальню, я тотчас осознал, до чего все отвратительно. Ее ягодицы, прижатые подвязками, отвисли; грудь была испорчена кормлением. Требовались удаление жира, инъекции силикона, полная перестройка… она бы на это никогда не пошла. Зажмурившись, я сунул палец к ней в трусики; я был совсем как ватный. В это мгновение Виктор в соседней комнате яростно завопил — знаешь, этот продолжительный рев, резкий, нестерпимый. Она накинула купальный халат и бросилась туда. Когда она вернулась, я напрямик попросил ее пососать. Сосала она плохо, я чувствовал ее зубы; но я закрыл глаза и наглядно представил себе рот одной из девушек моего второго класса, она была из Ганы. Воображая ее розовый, чуть шероховатый язык, я сумел разрядиться в рот жены. У меня не было намерения заводить других детей. На следующий день я сочинил свой текст о семье, тот, что был опубликован.

— Он у меня сохранился, — вставил Мишель. Он встал, отыскал на книжных полках нужный журнал. Брюно с легким удивлением полистал его, нашел страницу.

Еще существуют, в какой-то мере, на свете семьи

(Искры веры среди безбожья,

Искры нежности среди толстокожья),

Непонятно,

Откуда идет их свеченье.

Мы живем под ярмом ежедневной работы в каких-то

загадочных учрежденьях,

И один только путь остается у нас, чтобы как-то себя сохранить,

чтобы жизнь несмотря ни на что состоялась, – это секс.

(Да и то лишь для тех, для кого секс доступен,

Для кого он возможен.)

Брак и верность супругу отрезают сегодня для нас

единственный доступ к существованию,

Ведь не в офисе и не в учительской обретаем мы силу,

которая требует музыки, игр, ликования,

И мы ищем свое назначенье, судьбу, на

дорогах любви,

с каждым годом все более трудных,

Тщетно ищем, кому предложить свое тело, все менее свежее,

менее крепкое и уже не такое послушное,

И исчезаем

Во тьме печали,

Дойдя до предела отчаянья.

Мы идем одиноким путем туда, где сгущается мрак,

Без детей и без женщин,

Входим в озеро

В сердце ночи

(И вода на телах наших старых так холодна!).

Сразу после написания этого текста Брюно впал в нечто вроде этиловой комы. Два часа спустя он очнулся, разбуженный воплями сына. Между двумя и четырьмя годами дети человеческие все более приближаются к осознанию собственного «я», что порождает в них припадки эгоцентрической мегаломании. Отныне цель

ребенка — превратить свое социальное окружение (обычно состоящее из его родителей) в послушных рабов, покорных малейшим перепадам его настроения; его эгоизм уже не ведает пределов; таково условие индивидуального существования. Брюно встал с паласа гостиной; вопли усилились, выдавая бешеную ярость. Он раздавил пару таблеток лексомила в ложку конфитюра, направился в комнату Виктора. Дитя обкакалось. Где болтается Анна? Ее сеансы обучения негров грамоте с каждым разом заканчиваются все позже. Он схватил испачканный подгузник, швырнул на пол; распространилась жуткая вонь. Ребенок без затруднений проглотил сладкую смесь и напряженно застыл, будто убитый наповал. Брюно надел куртку и двинулся к «Мэдисону», ночному бару на улице Шодронри. С помощью голубой карточки заплатил три тысячи франков за бутылку «Дом Периньон», которую распил в компании очень красивой блондинки; в одной из верхних комнат девушка долго теребила его штырь, время от времени ловко оттягивая кульминацию. Ее звали Элен, она была местной уроженкой и училась на менеджера по туризму; ей было девятнадцать. В то мгновение, когда он проник в нее, она изнутри сильно сдавила его

член, — он пережил не менее трех минут полного блаженства. Уходя, Брюно поцеловал ее в губы и настоял на том, чтобы она взяла деньги — у него еще завалялось триста франков наличными.

На следующей неделе он решился показать свои тексты одному из коллег — пятидесятилетнему преподавателю литературы, марксисту, очень утонченному типу, имевшему репутацию гомосексуалиста. Фажарди был приятно удивлен. «Влияние Клоделя… или, может быть, скорее Пеги, верлибров Пеги… Но это безусловно оригинально, такого теперь больше не встретишь». Насчет того, какие демарши следует предпринять, у него не было ни малейших сомнений: «Бесконечность» — вот где сегодня создается литература. Ваши тексты нужно послать Соллерсу». Несколько удивленный, Брюно просил повторить ему эту фамилию, отметил, что она похожа на марку дивана, потом отправил свои тексты. Через три недели позвонил в издательство «Деноэль» — к его немалому изумлению, Соллерс откликнулся, предложил встречу. В среду у него не было занятий, за день легче легкого смотаться туда и обратно. В поезде он попытался углубиться в чтение «Странного одиночества», довольно быстро оставил эту затею, однако успел прочесть

несколько страниц «Женщин» — особенно пассажи относительно зада. Встретились они в кафе на Университетской улице. Издатель явился с десятиминутным опозданием, помахивая мундштуком, вероятно непременным атрибутом его известности.

— Вы живете в провинции? Это плохо. Надо незамедлительно перебираться в Париж. У вас талант.

Он объявил Брюно, что тексты об Иоанне Павле II будут опубликованы в ближайшем номере «Бесконечности». Это озадачило Брюно; он не знал, что у Соллерса в самом разгаре его «период католической контрреформации», и пустился расточать хвалы Папе.

— Пеги, я от него тащусь! — пылко вскричал издатель. — И Сад! Сад! Главное, читайте Сада!..

— Мой текст насчет семьи…

— Да, это тоже очень хорошо. Вы реакционер, вот и отлично. Все великие писатели реакционеры. Бальзак, Флобер, Достоевский: вон сколько реакционеров. Но и трахаться тоже надо, а? Групповушка нужна. Это важно.

Соллерс покинул Брюно минут через пять, оставив его в состоянии легкого нарциссического опьянения. По дороге домой он мало-помалу

успокоился. Филипп Соллерс, наверное, известный писатель; однако если почитать «Женщин», становится очевидно, что ему не удается потрахать никого, кроме старых шлюх из культурной среды; красотки, видимо, предпочитают певцов. А если так, чего ради публиковать в дерьмовом журнале дурацкие стишки?

— Когда «Бесконечность» в очередной раз вышла в свет, — рассказывал Брюно, — я все же купил пять номеров. К счастью, заметок об Иоанне Павле Втором они печатать не стали. — Он вздохнул. — На самом-то деле это был плохой текст… У тебя вина не осталось?

— Всего одна бутылка. — Мишель прошел на кухню, достал из коробки со «Старым папским» седьмую, и последнюю, бутылку; он начинал испытывать настоящее изнеможение. — Тебе, кажется, завтра на работу? — спросил он.

Брюно не отзывался. Он сосредоточенно разглядывал что-то на паркете; но разглядывать там было нечего — разве что несколько комочков грязи. Тем не менее когда звякнула пробка, он оживился, протянул свой стакан. Пил он медленно, мелкими глотками; теперь его взгляд был рассеян, блуждал где-то на уровне батареи отопления; казалось, он совершенно не распо-

ложен продолжать разговор. Поколебавшись, Мишель включил телевизор. Там шла передача на зоологическую тему, о кроликах. Он вырубил звук. На самом деле, возможно, речь шла о зайцах — Мишель их путал. Он был удивлен, когда рядом снова раздался голос Брюно:

— Я пытаюсь вспомнить, сколько времени прожил в Дижоне. Четыре года? Пять лет? Стоит только войти в рабочий ритм, и все годы становятся похожими один на другой. События, которые нам приходится переживать, имеют медицинскую природу — ну и еще дети, они растут. Виктор подрос; он называл меня «папа».

Внезапно Брюно разрыдался. Скорчившись на канапе, он сотрясался от плача, всхлипывал. Мишель посмотрел на часы, было начало пятого. На экране дикий кот держал в зубах мертвого зайца.

Брюно достал из кармана бумажную салфетку, промокнул глаза. Слезы продолжали литься. Он думал о своем сыне. Бедный маленький Виктор, он перерисовывал картинки из «Стрэндж», он любил отца. А Брюно подарил ему так мало счастливых минут, так мало любви — а теперь мальчику идет четырнадцатый год, пора счастья для него миновала.

— Анна хотела бы иметь еще детей, по существу жизнь матери семейства ей подходила наилучшим образом. Но я подбивал ее обратиться в парижский округ в поисках места. Конечно, отказаться она не посмела: профессиональная деятельность — залог расцвета женщины, так в наше время все считают или притворяются, что считают; а она прежде всего стремилась думать так же, как все. Я прекрасно отдавал себе отчет, что, по сути, смысл нашего возвращения в Париж в том, чтобы развестись без шума. В провинции наперекор всему люди видятся, общаются; мне не хотелось, чтобы мой развод вызвал комментарии, хотя бы и мирные, одобрительные. Летом 89-го мы ездили отдыхать в Марокко в «Клабмед», это был последний отпуск, проведенный вместе. Я помню дурацкие аперитивы и часы на пляже, высматривание красоток; Анна болтала с другими матерями семейств. Когда она переворачивалась на живот, было заметно, что у нес целлюлит; когда ложилась на спину, бросались в глаза красные полоски на коже. Арабы были неприятны, держались агрессивно, солнце пекло слишком жарко. Для мастурбирования не стоило вылезать из дома: можно было легко подхватить рак кожи. А вот Виктор хорошо использовал свое

пребывание там, он много развлекался в «Миниклабс»… — Голос Брюно вновь сорвался. — Я был скотиной и знал, что был скотиной. Нормально, чтобы родители приносили себя в жертву, это естественный путь. А я не мог примириться с тем, что моя молодость подошла к концу; перенести мысль, что мой сын будет расти, станет юношей вместо меня, что, может быть, ему его жизнь удастся, тогда как я свою загубил. Я жаждал снова стать обособленной личностью.

— Монадой, — мягко произнес Мишель. Брюно не отозвался, допил свой стакан.

— Бутылка пуста… — заметил он с легким замешательством. Он встал, надел куртку. Мишель проводил его до двери. — Я люблю своего сына, — еще прибавил Брюно. — Если с ним случится несчастье, какая-нибудь беда, я этого не перенесу. Я люблю этого ребенка больше всего на свете. И все же я никогда не мог примириться с его существованием.

Мишель понимающе кивнул. Брюно направился к лифту.

Мишель возвратился к своему бюро, набросал на листке бумаги: «Отметить кое-что по поводу крови»; потом он прилег, чувствуя потребность подумать, но почти тотчас уснул. Несколько дней

спустя он нашел тот листок, аккуратно приписал пониже предыдущей строки: «Голос крови» — и минут десять стоял озадаченный.

14

Утром первого сентября Брюно ждал Кристиану на Северном вокзале. Из Нуайона она доехала автобусом до Амьена, потом прямым поездом до Парижа. День был прекрасный; ее поезд прибыл в 11.37. На ней было длинное платье в мелких цветочках, с кружевными манжетами. Он сжал ее в объятиях. Их сердца бились с невиданной силой.

Они позавтракали в индийском ресторане, потом отправились к Брюно, чтобы заняться любовью. Он натер воском паркет, расставил вазы с цветами; простыни были чисты и хороню пахли. Ему удалось надолго войти в нее, дождаться момента ее оргазма; солнечный луч пробивался в щель между занавесками, играл в ее черных волосах — в них поблескивали седые волоски. Она испытала оргазм первой, и сразу же, через мгновение, ее влагалище стало резко, конвульсивно сжиматься; тотчас же он излился в нее. И сразу прикорнул, съежился в ее руках; оба заснули.

Когда они проснулись, солнце в прогале между многоэтажками садилось; было около семи часов. Брюно откупорил бутылку белого вина. Он никому никогда не рассказывал о годах, что прошли

после его возвращения из Дижона; теперь он сделает это.

— В восемьдесят девятом, в начале учебного года, Анна получила место преподавателя в лицее Кондорсе. Мы сняли квартиру на улице Родье, маленькую, темноватую, из трех комнат. Виктор ходил в подготовительный класс, теперь в дневные часы я был свободен. Тогда-то я и стал ходить к шлюхам. В квартале было много салонов тайского массажа — «Новый Бангкок», «Золотой лотос», «Маи Лин»; девушки были любезны, улыбчивы, все проходило отлично. В ту же пору начались мои консультации у психиатра; я уж и не помню в точности, кажется, он был с бородой, но возможно, я его путаю с персонажем фильма. Я принялся описывать ему свое отрочество, много распространялся о массажных салонах; я чувствовал, что он меня презирает, и мне это доставляло удовольствие. В январе я его сменил. Новый был добряк, он вел прием неподалеку от Страсбур-Сен-Дени, так что на обратном пути можно было завернуть в пип-шоу. Звали его доктор Азуле, у него в приемной всегда имелись номера «Пари-матч»: в общем-то, у меня сложилось впечатление, что это хороший специалист. Мой случай его не слишком заинтересовал, но я

на него обиды не держу — ведь все это и впрямь ужасно банально, я был типичным стареющим мудаком, фрустрированным и утратившим вкус к своей жене. В тот же период его пригласили как эксперта на судебный процесс группы молодых сатанистов, которые расчленили и сожрали слабоумную — такое, что ни говори, эффектнее. В конце каждого сеанса он советовал мне заняться спортом, это у него был прямо пунктик — он и сам уже начал отращивать брюшко. В конечном счете его сеансы были забавны, хотя несколько унылы; единственная тема, при которой он слегка оживлялся, — мои отношения с родителями. В начале февраля я получил возможность рас сказать ему на сей счет по-настоящему забавный анекдот. Это случилось в зале ожидания «Маи Лин»; входя, я заметил сидящего в сторонке субъекта, чье лицо мне кого-то смутно напомнило — очень смутно, впечатление было абсолютно туманное. Потом его вызвали, вскоре наступила и моя очередь. Массажные кабинки отделялись друг от друга полиэтиленовыми занавесками, кабинок было всего две, так что я поневоле оказался рядом с тем типом. В то мгновение, когда девушка своей намыленной грудью принялась поглаживать мне низ живота, меня осенило:

человек в соседней кабинке, заказавший сеанс «тела с телом», — мой отец. Он постарел и походил теперь на настоящего пенсионера, но это был он, вне всякого сомнения он. В то же мгновение я услышал, как он излился, уловив слабый звук, с каким опорожняется мошонка. В свою очередь излившись, я несколько минут помедлил с одеванием; мне не хотелось столкнуться с ним на выходе. Однако я в тот же день рассказал психиатру об этом случае, и вернувшись домой, позвонил старику. Казалось, он удивился, и, судя по тону, радостно удивился, услышав мой голос. Он и впрямь вышел на пенсию, перепродав свою долю в каннской клинике. За последние годы мой родитель потерял немало денег, но еще держался, прочие были в куда более жалком положении. Мы договорились повидаться в ближайшие дни; сделать это незамедлительно не получалось.

В начале марта мне позвонили из академической инспекции. Какая-то преподавательница ушла в декретный отпуск ранее, чем предполагалось, ее место освобождалось вплоть до завершения учебного года, речь шла о лицее в Мо. Я немного колебался, у меня, как-никак, сохранились прескверные воспоминания об этом городишке; сомнения одолевали меня часа

три, пока я не понял, что на воспоминания мне чихать. Вероятно, это и есть старость: эмоциональные реакции притупляются, в тебе остается мало злобы и мало радости; интересуешься в основном функционированием собственных органов, их ненадежной сбалансированностью. Выйдя из поезда, затем пересекая город, я больше всего был поражен его небольшими размерами, уродством и безликостью. В детстве, воскресными вечерами возвращаясь в Мо, я чувствовал, что попадаю в огромный ад. На самом деле ад был совсем маленький, напрочь лишенный какой-либо выразительности. Дома, улицы… все это не вызывало у меня никаких воспоминаний; лицей и тот был модернизирован. Я посетил интернат, теперь преображенный в музей местной истории. В этих самых залах меня били и унижали, в меня плевали, писали мне в лицо, совали мою голову в унитаз с дерьмом. И все же я не испытал никакого волнения, разве что легкую грусть — самого общего порядка. «Даже Господь не властен сделать небывшим то, что было», — утверждает где-то уже не помню какой писатель-католик; но судя по тому, что осталось от моего детства в Мо, это не такая уж трудная задача.

Несколько часов подряд я блуждал по городу,

забрел даже в Пляжный бар. Вспоминал Каролину Иессайян, Патрицию Хохвайлер, но, говоря по правде, я их никогда не забывал; ничто на этих улицах особенно не обостряло эти воспоминания. Мне встречалось много молодежи, приезжих — в особенности черных, их стало куда больше, чем в пору моего отрочества, только это и было по-настоящему ново. Затем я отправился в лицей, знакомиться. Директора позабавило, что я один из бывших здешних учеников, он собрался было отыскать мое личное дело, но я заговорил о другом, мне удалось его отвлечь. Мне дали три класса: второй, первый «А» и первый «В». Я сразу смекнул, что всего тяжелее будет с первым «А»: там было трое парней и три десятка девиц. Тридцать шестнадцатилетних девчонок. Блондинок, брюнеток, рыжих. Француженки, арабки, азиатки… все аппетитные, все желанные. И они спали с парнями, это было видно, спали, меняли их, напропалую прожигали свою юность; я каждый день проходил мимо автомата, торгующего презервативами, они брали их при мне, не стесняясь.

Все началось с того, что я принялся внушать себе, будто у меня, может статься, есть шанс. Здесь должно быть много дочек из разведенных

семей, я сумею высмотреть такую, что ищет образ отца. Это может сработать, я чувствовал: может. Но отцу положено быть мужественным, уверенным, плечистым. Я отпустил бороду и записался в гимнастический клуб. Затея с бородой была не слишком удачной, она выросла жиденькая и придавала мне несколько странноватый вид, а ля Сальман Рушди; зато мои мускулы отреагировали хорошо: за несколько недель я по всем правилам развил дельтовидные и грудные мышцы. Но возникла еще одна, новая проблема — мой член. Теперь это может показаться диким, но в семидесятых никого особо не интересовали размеры мужского орудия; в свои отроческие годы я имел все мыслимые комплексы по поводу собственного тела, все, кроме этого. Не знаю, кто первым поднял эту тему, вероятно гомики; впрочем, равным образом интерес к ней проявляют и американские полицейские романы; у Сартра, напротив, она совершенно отсутствует. Как бы там ни было, в душевой гимнастического клуба я осознал, что морковка у меня совсем маленькая. Дома проверил: если прижать конец сантиметра к основанию члена, получается 12, а если очень постараться — от силы 13 или 14 сантиметров. Я открыл новый источник терзаний, и тут уж

ничего нельзя было поделать, это был непоправимый, решающий недостаток. Именно с этого момента я возненавидел негров. Впрочем, в моем лицее их оказалось не много, по большей части они учились в лицее Пьера де Кубертена, том самом, где небезызвестный Дефранс устраивал свои философские стриптизы и упражнялся в пресмыкательстве перед молодежью. В моих классах чернокожий был всего один, в первом «А», ражий детина по имени Бен. Он вечно разгуливал в каскетке и шортах; я уверен, что штырь у него был громадный. Натурально, все девицы так и расстилались перед этим бабуином; а я, который пытался заставить их изучать Малларме, не представлял для них никакого интереса. Так вот какой финал судьба уготовала европейской цивилизации, с горечью говорил я себе: мы снова простираемся ниц перед толстыми фаллосами, вроде как у этого павиана вида hamadryas. Я взял обыкновение являться на занятия без трусов. Негр гулял именно с той, которую я бы выбрал для себя, — хрупкой, с очень светлыми волосами, детским личиком и хорошенькими, как яблочки, грудками. Они приходили на занятия, держась за руки. Во время классных письменных работ я всегда оставлял окна закрытыми; девочкам было

жарко, они стаскивали свои свитера, их футболки липли к груди; я мастурбировал, прячась за письменным столом. Еще помню день, когда я им поручил разбор фразы из романа «У Германтов»:

«Чистота крови, к которой из поколения в поколение не примешивалось ничего, что не принадлежало бы величайшим, знатнейшим родам Франции, лишило этих людей даже тени того, что мы называем „манерностью“, придав им самую безукоризненную простоту».

Я поглядел на Бена: он скреб в затылке, чесал себе яйца, разминал жевательную резинку. Что он тут способен понять, обезьяна? Впрочем, и все остальные, что они могут в этом понять? Я и сам-то начинаю теряться в догадках, что *на самом деле* хотел сказать Пруст. Эти его десятки страниц про чистоту крови, про благородство гения по сравнению с благородством знатности, про особенности среды выдающихся профессоров медицины… все это казалось мне сущим поносом. По видимости, мы теперь живем в упрощенном мире. Герцогиня Германтская имела куда меньше «капусты», чем Сноуп Даджи Дог, у последнего «капусты» меньше, чем у Билла Гейтса, зато девок он пялит куда больше. Два параметра, не более того. Конечно, можно бы задумать написание

прустианского романа для денежных мешков, где бы известность противопоставлялась богатству, или вывести на сцену противоборство между знаменитостью, работающей на широкую публику, и знаменитостью для более узкого круга, для happy few, немногих счастливцев, но все это не представляло бы никакого интереса. Известность в области науки и культуры не более чем посредственный эрзац подлинной славы, славы, тиражируемой mass-media; и эта последняя вкупе с индустрией развлечений выкачивает более значительные денежные массы, нежели любой другой вид человеческой деятельности. Что такое банкир, министр, директор предприятия в сравнении с киноактером или рок-звездой? С финансовой, сексуальной и любой другой точки зрения не более чем ноль. Стратегия исключительности, так тонко описанная Прустом, по нынешним временам утратила всякий смысл. Если рассматривать человека как животное иерархическое, как строителя иерархий, то между обществом XVIII века и нашим не больше общего, чем между Малым Трианоном и радиовышкой. Пруст оставался европейцем до мозга костей, одним из последних европейцев, наряду с Томасом Манном; то, что он писал, уже не

имеет никакой связи с какой бы то ни было реальностью. Разумеется, фраза насчет герцогини Германтской остается великолепной. И тем не менее все это теперь уже малость наводит тоску; и я кончил тем, что обратился к Бодлеру. Тревога, смерть, стыд, хмель, ностальгия, загубленное детство… все это сплошь бесспорные сюжеты, основательные темы. Однако же странно это выглядело. Весна, зной, все эти возбуждающие куколки — и я, декламирующий:

Остынь, моя Печаль, сдержи больной порыв.

Ты Вечера ждала.

Он сходит понемногу

И, тенью тихою столицу осенив,

Одним дарует мир, другим несет тревогу.

В тот миг, когда толпа развратная идет

Вкушать раскаянье под плетью наслажденья,

Пускай, моя Печаль, рука твоя ведет

Меня в задумчивый приют уединенья.[9]

Я выдержал паузу. Стихотворение их взволновало, я это чувствовал, весь класс затаил дыхание. Это был последний урок; через полчаса мне опять идти на поезд, потом возвращаться к своей жене. Вдруг из глубины зала раздался голос Бена: «Ого, старик! Да у тебя смерть в башке засела!» Он сказал это громко, но, по правде говоря, это была не дерзость, в его голосе слышалось даже что-то вроде восхищения. Я так толком и не понял, обращался ли он к Бодлеру или ко мне; по сути, в качестве «комментария к тексту» это было не так уж плохо. Тем не менее я должен был это пресечь. Я просто сказал: «Выйдите вон». Он не двинулся с места. Я подождал тридцать секунд; я вспотел от страха; я чувствовал, что близится момент, когда не смогу выдавить из себя ни звука; тем не менее я нашел в себе силы повторить: «Выйдите вон». Он поднялся, очень медленно собрал свои вещи и двинулся ко мне. Во всех силовых конфликтах есть благословенный момент, та волшебная секунда, когда воля и агрессия обоих противников уравновешивают друг друга. Бен остановился

[9] Примечание: 9

Ш. Бодлер. Раздумье. Из цикла «Сплин и Идеал». (Перевод С. Андреевского.)

передо мной, он был на целую голову выше, я думал, он влепит мне затрещину, но нет, он в конце концов просто направился к двери. Я одержал победу. Маленькую победу: назавтра он снова пришел на занятия. Похоже, он что-то понял, однажды встретившись со мной глазами, так как начал лапать свою подружку прямо на уроках. Он задирал ей юбку, совал руку как можно дальше, мял ее ляжки; потом поглядывал на меня с улыбкой, весьма наглой. Я хотел эту куколку до бешенства. Весь уик-энд я сочинял расистский памфлет, пребывая в состоянии почти непрестанной эрекции; в понедельник я позвонил в «Бесконечность». На сей раз Соллерс принял меня в своем кабинете. Он был игрив, лукав, будто на телеэкране, даже и того лучше. «Вы самый настоящий расист, это чувствуется, это держит, это отлично. Бах-бах!» С весьма изящной ужимкой он выхватил одну из страниц, отметил пассаж на полях: «Мы завидуем неграм, мы ими восхищаемся, потому что жаждем по их примеру снова стать животными, животными, одаренными большим членом и крошечным мозгом рептилии, подчиненным потребностям их члена». Он шаловливо потряс листком: «Это круто, это смело, это очень щеголевато. У вас талант. Кое-что кое-где, правда,

поверхностно, — мне, к примеру, не слишком по душе подзаголовок: „Расистом не рождаются, им становятся“. Второстепенности, оговорки — это всегда немножко… Гм…» Лицо его омрачилось, но он сделал пируэт мундштуком и вновь заулыбался. Настоящий клоун, просто милашка. «Почти не чувствуется влияний, и потом, ничего сверх меры шокирующего. К примеру, вы не антисемит!» Он вытаскивает на свет другой пассаж: «Одни евреи избавлены от сожалений, что они не негры, ибо с давних времен они избрали путь разума, стыда и чувства вины. Ничто в западной культуре не может ни сравниться, ни хотя бы приблизиться к тем высотам, каких евреи достигли, побуждаемые сознанием виновности и стыдом; именно потому негры питают к ним особую ненависть». С блаженным видом он плюхнулся обратно в кресло, закинув руки за голову; на мгновение мне показалось, что сейчас он положит ноги на письменный стол, но этого не случилось. И опять наклонился вперед, ему не сиделось на месте. «Ну-с? Что будем делать?» — «Не знаю, но вы могли бы опубликовать мой текст». — «О-ля-ля! — он расхохотался, как будто я отпустил забавную шутку. — Напечатать такое в „Бесконечности“? Но, дружочек мой, вы не отдаете себе отчета… У нас

теперь, знаете ли, не времена Селина. Есть такие темы, о которых уже нельзя писать что вздумается… подобный текст мог бы на влечь на меня серьезные неприятности. Думаете, у меня мало неприятностей? Если я служу в издательстве „Галлимар“, так, по-вашему, мне можно делать все, что в голову взбредет? За мной, знаете, последживают. Так и ждут промаха. Нет-нет, это было бы затруднительно. А что у вас еще припасено?»

Он, похоже, был непритворно удивлен, что я не принес ему другого текста. Мне было досадно, что я его разочаровал, я бы с величайшей охотой был «его дружочком», и чтобы он водил меня на танцы, поил виски в Пон-Руаяле. Выйдя на улицу, я пережил момент крайнего отчаяния. По бульвару Сен-Жермен проходили женщины, стояла предвечерняя жара, и я понял, что мне никогда не стать писателем; осознал я также и то, что мне на это насрать. Но как же тогда быть? Секс уже стоил мне доброй половины жалованья, просто непостижимо, что Анна до сих пор ни о чем не догадалась. Я мог бы вступить в Национальный фронт, но чего ради жевать кислую капусту в компании недоносков? Как бы то ни было, среди правых мало толку искать женщин, они если и есть, то путаются с десантниками. Мой текст был

полной бессмыслицей, и я швырнул его в первую попавшуюся урну. Мне следовало сохранять свою позицию «левого гуманиста», это мой единственный выигрышный шанс, в глубине души я был уверен в этом. Я уселся на террасе «Эскориала». Разболевшийся пенис был воспален, раздут. Я заказал два пива, затем отправился домой пешком. Переходя Сену, вспомнил Аджилу. Это была арабка из моего второго класса, очень хорошенькая, очень тоненькая. Прилежная ученица, по возрасту на год опережавшая своих одноклассников. У нее было кроткое, умное лицо, в глазах никакой насмешки; ей очень хотелось успевать в учебе, это сразу было видно. Зачастую такие девушки живут в окружении скотов и убийц, им довольно, чтобы их немножечко приласкали. В течение двух следующих недель я часто заговаривал с ней, вызывал к доске. Она не избегала моих взглядов, у меня сложилось впечатление, что она не находит это странным. Следовало поспешить, ведь уже начался июнь. Когда она возвращалась на свое место, я смотрел на ее маленький зад, туго обтянутый джинсами. Она мне так нравилась, что я стал подцеплять проституток. Я воображал, как мой член погружается в мягкую волну ее длинных черных волос; я даже мастурбировал на

одном из классных сочинений.

В пятницу 11 июня она пришла в коротенькой черной юбке; занятия кончались в шесть. Она сидела в первом ряду В ту минуту, когда она скрестила ноги под столом, я был на волосок от обморока. Она сидела рядом с толстой блондинкой, которая выбежала из класса сразу после звонка. Я встал, положил руку на ее блокнот. Она осталась сидеть, было похоже, что она не спешит. Все ученики вышли, в зале воцарилась тишина. У меня в руке был ее блокнот, я даже сумел прочитать некоторые слова: «Remember… ад…» Я сел рядом. положил папку на стол, но заговорить с ней не мог. Мы так и просидели молча не меньше минуты. Несколько раз я погружался взглядом в глубину ее больших черных глаз, но не переставал одновременно улавливать малейшее ее движение, едва заметный трепет ее груди. Она сидела вполоборота ко мне, ее ноги были раздвинуты. Я не помню, как сделал этот жест, наверное, он был полубессознательным. В следующее мгновение я почувствовал, что моя левая ладонь лежит на ее колене, в глазах помутилось, я вспомнил Каролину Исссайян, и молния стыда обожгла меня. Та же ошибка, абсолютно та же ошибка, повторенная через двадцать лет!

Как Каролина Иессайян два десятилетия тому назад, она несколько мгновений оставалась неподвижной, слегка покраснела. Потом очень мягко отвела мою руку, однако не встала, не сделала попытки уйти. Сквозь забранное решеткой окно я видел девушку, которая торопливо шла через двор, в направлении гаража. Правой рукой я расстегнул молнию своих брюк. Она вытаращила глаза, уставившись на мой член. Ее глаза излучали жаркий трепет, я мог бы извергнуться под воздействием одного лишь ее взгляда, и в то же время я сознавал: нужно, чтобы она сделала хоть малое встречное движение, тогда мы стали бы сообщниками. Моя правая рука потянулась было к ее руке, но у меня не хватило сил довершить задуманное. Вместо этого я схватил свой член и с умоляющим видом протянул его ей. Она покатилась со смеху; мне кажется, я тоже засмеялся — и стал мастурбировать. Я продолжал смеяться и наяривать, пока она собирала свои тетрадки и книжки и потом, когда она встала, чтобы уйти. В дверях она обернулась, чтобы взглянуть на меня еще раз; я излился и ничего больше не видел. Только ясно услышал стук захлопнувшейся двери, звук ее удаляющихся шагов. Я был словно оглушен ударом огромного гонга. И все же с вок-

зала мне удалось позвонить Азуле. Я совсем не помню, как поездом возвращался домой, как ехал в метро; он принял меня в восемь часов. Меня била дрожь, я не мог с ней совладать, он тотчас сделал мне укол успокоительного.

Три ночи я провел в больнице Святой Анны, потом меня перевели в психиатрическую клинику министерства национального просвещения, в Верьер-ле-Бюис-сон. Азуле был заметно обеспокоен; пресса в том году начала много писать о педофилии, все будто сговорились «делать упор на педофилию». Скорей всего из ненависти к старикам, от враждебности и отвращения к старости это становилось прямо-таки национальной идеей. Девочке было пятнадцать, я был ее учителем, злоупотребил своей властью; к тому же она была арабкой. Короче, идеальное досье для увольнения с последующим линчеванием. Через две недели я стал понемногу успокаиваться; подошло окончание учебного года, и Аджила, видимо, не заговорила. Мое личное дело приобретало более традиционный характер. Преподаватель, страдающий депрессией, с некоторой склонностью к суициду, нуждающийся в том, чтобы подлечить свою психику. Что в этой истории удивительно, так это то, что лицей города Мо не считался заве-

дением особенно «свирепым»; но возвращение туда растравило психологические травмы моего раннего детства; а в конечном счете дело там было организовано очень хорошо.

В клинике я провел немногим больше полугода; мой отец несколько раз заходил навещать меня, вид у него был с каждым разом все более благожелательный и утомленный. Я был так напичкан транквилизаторами, что более не испытывал никаких сексуальных вожделений; но медсестры время от времени брались за меня. Я прижимался к ним, замирал на одну-две минуты, потом снова ложился. Это приносило мне такое облегчение, что главный психиатр рекомендовал не пренебрегать подобными методами, если они не видят к тому непреодолимых препятствий. Он подозревал, что Азуле сказал ему не все, но у него было много куда более серьезных пациентов, шизофреников и опасных безумцев, у него не нашлось достаточно времени, чтобы заниматься мной; он считал, что у меня есть свой лечащий врач, и это главное.

О преподавании, по-видимому, больше не могло быть речи, но в начале 1991-го министерство национального просвещения пристроило меня на место в Комиссии по программам французско-

го языка. Я потерял почасовую оплату учителя и школьные каникулы, но мое жалованье не уменьшилось. Немного погодя я развелся с Анной. Что касается средств на содержание и очередности общения с сыном, мы сошлись на вполне традиционном решении — практически адвокаты не оставляют вам права выбора, существует нечто вроде типового контракта. На судебном заседании мы проходили в числе первых, судья скороговоркой зачитал текст, и вся церемония развода заняла меньше четверти часа. Мы вместе спустились по лестнице Дворца правосудия, было чуть позже полудня. Начинался март месяц, мне только что исполнилось тридцать пять лет; я знал, что первая половина моей жизни миновала.

Брюно замолчал. Уже была глубокая ночь; ни он, ни Кристиана так и не оделись. Он поднял на нее глаза. И тут она сделала удивительную вещь: придвинулась к нему, обвила рукой его шею и поцеловала в обе щеки.

— В последующие годы все шло по-прежнему, — мягко продолжал Брюно. — Я сделал пересадку волос на голове, она прошла хорошо, хирург был другом моего отца. Гимнастического клуба я тоже не бросал. Когда подходил отпуск, я обращался в

«Новые границы», или опять в «Клаб-мед», или в объединение учительских профсоюзов. У меня было несколько интрижек, в конечном счете очень мало; женщины моих лет по большей части уже не слишком-то хотят трахаться. Они, конечно, утверждают обратное, верно и то, что иногда им бы хотелось снова испытать эмоции, страсти, желание; но этого я был не способен у них вызвать. Прежде я никогда не встречал таких женщин, как ты. Даже не надеялся, что такая женщина может существовать.

— Тут нужно… — выговорила она чуть дрогнувшим голосом, — нужно немного великодушия, надо, чтобы кто-нибудь начал первым. Если бы я была на месте той арабки, не знаю, как бы я реагировала. Но в тебе уже тогда наверняка было что-то трогательное, я в этом уверена. Думаю, во всяком случае мне так кажется, что я бы согласилась доставить тебе удовольствие. — Она прилегла, опустила голову промеж ляжек Брюно, несколько раз лизнула кончик его члена. — Я бы охотно что-нибудь съела… — вдруг сказала она. — Уже два часа ночи, но в Париже это, наверное, возможно?

— Конечно.

— Я могу тебя приголубить сейчас же, или ты

предпочитаешь, чтобы я приласкала твой штырек в такси?

— Нет, сейчас.

15
Гипотеза Макмиллана

Они взяли такси, доехали до Центрального рынка, пообедали в ресторане быстрого обслуживания, открытом всю ночь. На входе Брюно заказал рольмопс — селедку в винном соусе. Он сказал себе, что теперь ему все доступно; но тут же понял, что такая самонадеянность чрезмерна. Возможности его воображения по-прежнему богаты, это так: он может себя вообразить хоть крысой-пасюком, хоть солонкой, хоть энергетическим полем; между тем в действительности его тело остается вовлеченным в процесс медлительного распада; с телом Кристианы дело обстоит так же. Наперекор ночам, что приходят и уходят, индивидуальное сознание до конца пребудет в их разобщенных телах. Рольмопсы ровным счетом ничего не могут с этим поделать; но и от окуня с укропом не стоит ждать разрешения проблемы. Кристиана хранила молчание, рассеянное и, пожалуй, загадочное. Они отведали вместе домашних монбельярских колбасок и квашеной капусты по-королевски. Пребывая в приятно

расслабленном состоянии мужчины, только что пережившего сладкий оргазм в объятиях не безразличной ему женщины, Брюно мельком припомнил свои профессиональные заботы, смысл коих можно было сформулировать следующим образом: какую роль сыграл Поль Валери в формировании мировоззрения представителей французской науки? Покончив с квашеной капустой и заказав мюнстер, он почувствовал искушение ответить: «Никакой».

— Я ни на что не гожусь, — смиренно признался он. — Я не способен растить свиней. Не имею ни малейшего понятия о производстве колбас, вилок и мобильных телефонов. Я не в состоянии изготовить ни одного из тех окружающих меня предметов, которые я использую или пожираю; мне даже не дано постигнуть процесс их изготовления. Если бы завтра производство остановилось, а все специалисты, инженеры и техники, разом куда-то подевались, я бы не сумел и самой малости сделать, чтобы заново пустить что-нибудь в ход. Оказавшись вне экономико-индустриального комплекса, я не смог бы даже обеспечить собственное выживание: я бы не знал, где добыть еду, во что одеться, как уберечься от непогоды; мои личные технические позна-

ния намного уступают тем, какими располагал неандерталец. Находясь в полной зависимости от общества, которое окружает меня, я сам со своей стороны почти что бесполезен для него; все, что я умею, это порождать сомнительные комментарии по поводу устаревших культурных объектов. Тем не менее я получаю жалованье, которое существенно выше среднего. Большинство людей моего круга находится в том же положении. В сущности, единственный полезный человек, которого я знаю, это мой брат.

— Что же он сделал такого из ряда вон выходящего?

Брюно подумал, в поисках достаточно впечатляющего ответа поворошил кусок сыра, лежавший у него на тарелке.

— Он создавал новых коров. Впрочем, это лишь пример, но я помню, что на основании его трудов стало возможным получить новую, генетически модифицированную генерацию коров, дающих молоко улучшенного качества, повышенной питательности. Он изменил мир. А я ничего не сделал, ничего не изменил; я не принес в мир абсолютно ничего нового.

— Ты не причинял зла…

Лицо Кристианы омрачилось, она быстро осу-

шила свой бокал. В июле 1976 года она провела две недели в поместье ди Меолы на склонах Ванту, том самом, куда годом раньше приезжал Брюно с Аннабель и Мишелем. Когда она рассказала Брюно о том лете, они оба были восхищены совпадением; но тотчас ее охватило мучительное сожаление. Она подумала: если бы они встретились в семьдесят шестом, когда ему было двадцать лет, а ей шестнадцать, вся их жизнь могла бы пойти совсем по-другому. То был первый признак, по которому она догадалась, что начинает влюбляться по-настоящему.

— В сущности, — заметила Кристиана, — в этом совпадении нет ничего удивительного. Мои болваны-родители принадлежали к тому же анархическому слою, что-то вроде битников пятидесятых, которые таскались к твоей матери. Возможно даже, что они были знакомы, но у меня нет никакого желания об этом узнать. Я презираю этих людей, могу сказать даже, что ненавижу их. Они носители зла, они творят зло, уж я-то знаю, о чем говорю. Прекрасно помню то лето семьдесят шестого. Ди Меола умер через две недели после моего приезда; у него был далеко зашедший рак, кажется, его уже ничто по-настоящему не интересовало. Тем не менее он попытался меня

завлечь, я в ту пору была недурна собой, но он не настаивал, думаю, он уже начинал испытывать физические страдания. Двадцать лет он ломал комедию, разыгрывая из себя мудрого наставника, посвященного в тайны духа и т. п., все чтобы девок трахать. Надо признать, что роль свою он выдержал до конца. Через две недели после моего прибытия он принял яд, какую-то очень мягкую отраву, которая делает свое дело за несколько часов; потом он позвал всех посетителей, гостивших в поместье, уделив каждому по несколько минут, нечто в жанре «смерть Сократа». К тому же он говорил о Платоне, а еще об упанишадах, Лао Цзы, в общем, сущий цирк. Также много разглагольствовал об Олдосе Хаксли, напомнил, что знал его, описал их разговор; возможно, тут он малость приврал; но как бы то ни было, он, Меола, умирал. Когда подошла моя очередь, я была довольно сильно взволнована, но он меня просто-напросто попросил расстегнуть блузку. Смотрел на мою грудь, потом попытался что-то сказать, но я мало что поняла, ему уже было больно говорить. Внезапно выпрямился на своем кресле, протянул руки к моей груди. Я не противилась. На мгновение он ткнулся мне в грудь лицом, потом снова упал в кресло. Руки у

него сильно дрожали. Движением головы велел мне уходить. В его глазах я не увидела никакой одухотворенности, ничего похожего на мудрость — в этом взгляде был один только страх.

Он скончался на закате. Просил, чтобы погребальный костер развели на вершине холма. Все собирали хворост, потом началась церемония. Давид сам зажег погребальный костер своего отца, глаза у него как-то странно сверкали. Я ничего о нем не знала, только то, что он рок-музыкант; с ним были всякие подозрительные типы, американские мотоциклисты, покрытые татуировкой, все в коже. Я там была с подругой, и когда наступила ночь, мы почувствовали себя не слишком уверенно.

Несколько исполнителей с тамтамами расположились перед костром и медленно, в строгом ритме заиграли. Присутствующие стали танцевать, огонь сильно разгорелся, и они, как обычно, принялись сбрасывать с себя одежду. По правилам, чтобы совершить подобную кремацию, нужны ладан и сандаловое дерево. В погребальный костер ди Меолы вместо этого бросили сухие ветки, смешав их, вероятно, с местными травами — розмарином, тмином, садовым чабёром; так что через полчаса запах стал ни дать ни взять как

от шашлыка. Такое замечание отпустил приятель Давида — толстяк в кожаном жилете, щербатый, с длинными грязными космами. Другой, похожий на хиппи, добавил, что у многих первобытных племен съедение почившего вождя было чрезвычайно почитаемым ритуалом. Щербатый замотал головой и заржал; Давид подошел к этим двоим и заспорил с ними, при свете пламени его тело было поистине великолепно — думаю, он занимался культуризмом. Я смекнула, что стычка грозит перерасти в серьезную потасовку, и поспешила отправиться спать.

Немного погодя разразилась гроза. Не знаю почему, но я встала, вернулась к костру. Там еще было человек тридцать, они танцевали под дождем совершенно голые. Один грубо схватил меня за плечи, подтащил к огню, заставляя посмотреть на то, что осталось от тела. Я увидела череп с пустыми глазницами. Плоть, не полностью истребленная огнем, наполовину смешалась с пеплом, получился как бы небольшой ком грязи. Я стала кричать, этот тип отпустил меня, и мне удалось унести ноги. Назавтра мы с подругой уехали. Я больше никогда ничего не слышала об этих людях.

— И статьи в «Пари-матч» не читала?

— Нет… — Кристиана недоуменно пожала плечами.

Брюно прервал разговор и, прежде чем продолжить его, потребовал два кофе. За долгие годы он выработал для себя концепцию жизни грубую и циничную, типично мужскую. Мир — замкнутое пространство, кишащее живыми тварями; все их движение ограничено жестким, наглухо запертым кольцом горизонта, вполне ощутимым, но недоступным: это кольцо — законы морали. Но сказано все же, что у любви свой закон, и она ему подчиняется. Кристиана не отрывала от него внимательного, нежного взгляда; глаза у нее были немного усталые.

— Эта история до такой степени омерзительна, — начал Брюно неохотно, — что я был удивлен, как это журналисты раньше о ней не заговорили. Короче, случилось это пять лет назад, судебный процесс состоялся в Лос-Анджелесе, для Европы секты сатанисгов были еще в новинку. Давид ди Меола — я сразу вспомнил это имя — был одним из двенадцати обвиняемых; он же был одним из тех двоих, что сумели ускользнуть от полиции. Если верить статье, он, по всей вероятности, бежал в Бразилию. Обвинения, выдвинутые против него, были убийственны. В его

поместье обнаружили добрую сотню видеокассет с картинами пыток и убийств, все они были заботливо систематизированы и снабжены этикетками; на некоторых он появляется без маски. На кассете, которая была продемонстрирована при слушании дела, была заснята сцена кошмарной расправы над старой женщиной, Мэри Макналлаган, и ее крошечной внучкой. Ди Меола на глазах бабушки острыми клещами оторвал у младенца руки и ноги; потом пальцами вырвал у старой женщины один глаз и мастурбировал в кровавую глазницу; в то же время он подключил дистанционно управляемую видеокамеру перед самым ее лицом. Она сидела скорчившись; металлический ошейник, привинченный к стене, надежно удерживал ее; все это происходило в помещении, похожем на гараж. В последнем кадре фильма она валялась в собственных экскрементах; кассета была рассчитана как минимум на сорок пять минут, но только полицейские просмотрели ее всю, присяжные через десять минут попросили прекратить демонстрацию.

Статья в «Матч» в основном воспроизводила интервью Дэниэла Макмиллана, прокурора штата Калифорния, опубликованное в «Ньюсуик». По его словам, речь идет не только о суде над

группой людей: судить надо общество в целом, ибо это преступление кажется ему характерным симптомом разложения общественного сознания и морали, постигшего американское общество начиная с конца пятидесятых. Судья неоднократно призывал его оставаться в рамках рассматриваемых фактов; проводимые им параллели с делом Мэнсона[10] он считал неуместными, тем паче что из всех обвиняемых лишь в отношении ди Меолы могла быть установлена некая туманная связь с движением битников или хиппи.

Год спустя Макмиллан опубликовал книгу «From Lust to Murder: a Generation»[11], довольно скверно переведенную на французский под названием «Поколение убийц». Эта книга меня удивила: я ожидал обычных разглагольствований в духе религиозного фундаментализма о возвращении Антихриста и надобности опять ввести в средней школе обязательные молитвы. На деле это оказалась точная, хорошо доку-

---

[10] Примечание: 10

Чарльз Мэнсон — глава «семьи хиппи», проживавшей на ранчо близ Лос-Анджелеса. промышлявшей наркотиками и совершившей в 60-е годы ряд кровавых ритуальных убийств. Среди жертв Чарльза Мэнсона — жена Романа Поланского голливудская киноактриса Шарон Тейт, зверски убитая на своей вилле вместе с приехавшими к ней гостями

[11] Примечание: 11

«От вожделения к убийству. Поколение» (англ.)

ментированная книга, с подробным анализом многочисленных судебных дел; Макмиллан проявляет особый интерес к случаю Давида, он пересказывает его биографию, проведя с этой целью серьезное расследование.

В сентябре 1976-го, сразу после кончины отца, Давид продал поместье и тридцать гектаров земли, чтобы приобрести в Париже кусок земли со старыми домами; он сохранил для себя большую квартиру на улице Висконти, а все прочее перестроил, приспособив для сдачи внаем. Просторные апартаменты были разгорожены, комнаты для прислуги тоже пошли в ход, присоединены к другим: он приказал устроить там кухни и душевые. Когда все было готово, он оказался владельцем двух десятков маленьких квартирок, которые вполне могли обеспечить ему приличный доход. Он все еще не мог отказаться от идеи преуспеть на поприще рока и надеялся, что в Париже ему повезет больше; но ему уже исполнилось двадцать шесть лет. Прежде чем отправиться попытать счастья в студиях звукозаписи, он решил убавить себе два года. Сделать это было очень легко: достаточно, когда спросят, ответить: «Двадцать четыре». Естественно, проверять никто не станет. Брайан

Джонс поступил таким образом задолго до него. Судя по свидетельствам, добытым Макмилланом, однажды вечером на приеме в Канне Давид столкнулся с Миком Джаггером; он отскочил метра на два, будто наступил на гадюку. Мик Джаггер *уже был* величайшей в мире звездой; богатый, осыпаемый почестями, циничный, он воплощал в себе то, о чем мечтал Давид. Однажды перед Миком Джаггером возникла проблема власти, необходимо было утвердить свое «эго» в группе; соперником оказался именно Брайан Джонс. Все благополучно разрешилось — там очень кстати оказался бассейн… Конечно, это была неофициальная версия, но Давид *знал,* что Мик Джаггер столкнул Брайана Джонса в бассейн; Давид легко представлял себе, как он сделал это. Вот так, начав с убийства, Мик Джаггер, по убеждению Давида, стал лидером величайшей в мире рок-группы. Все, что есть в мире великого, зиждится на убийстве — Давид был уверен в этом, и сейчас, в конце семьдесят шестого, чувствовал, что вполне готов столкнуть в подвернувшиеся бассейны столько народу, сколько потребуется; однако в последующие годы ему только и удалось, что в качестве второго контрабасиста принять участие в записи нескольких дисков.

Зато женщинам он по-прежнему очень нравился. Его эротические притязания росли, он взял за правило ложиться сразу с двумя девушками, желательно — блондинкой и брюнеткой. Большинство из них соглашались, ведь он и впрямь был очень красив — в этаком мощном, мужественном стиле, чуть ли не зверь. Он кичился своим длинным, толстым фаллосом, своими яйцами, большими и волосатыми. Совокупление мало-помалу утрачивало интерес в его глазах, но он с неизменным удовольствием смотрел, как девушки опускаются на колени, чтобы пососать его член.

В начале 1981 года он узнал от одного заезжего калифорнийца, что происходит подбор групп для записи CD heavy metal в честь Чарльза Мэнсона. Он решил еще разок попытать счастья. Распродал все свои квартирки, стоимость которых со временем возросла чуть ли не вчетверо, и перебрался в Лос-Анджелес. Теперь ему был тридцать один год, официально — двадцать девять; уже многовато. Он задумал, прежде чем предстать перед американскими продюсерами, скостить себе еще три года. Судя по физической форме, ему вполне можно было дать двадцать шесть.

Дело затягивалось, Мэнсон из недр своей ис-

правительной тюрьмы требовал непомерных прав. Давид занялся бегом трусцой и начал посещать кружки сатанистов. Секты, проповедующие культ Сатаны, всегда отдавали предпочтение Калифорнии, начиная с «Первой Церкви Сатаны», основанной Антоном Ла Вейем в 1966 году в Лос-Анджелесе, и общества «Церковь Страшного Суда», возникшего 1967-м в Сан-Франциско (Хейт-Эшбери). Эти группировки еще существовали, и Давид вступил в контакт с ними; они довольствовались ритуальными оргиями, иногда принося в жертву какое-нибудь животное, только и всего; однако при их посредничестве он получил доступ в кружки куда более закрытые и страшные. В частности, он сошелся с Джоном ди Джорно, хирургом, организовавшим «аборты-трапезы». После операции зародыша перемалывали, растирали, смешивали с тестом и пекли хлеб, чтобы затем разделить его между участниками. Давид быстро сообразил, что наиболее продвинутые сатанисты в Сатану совсем не верят. Они, как и он, были абсолютными материалистами и вскоре отказались от всего этого по сути кичевого церемониала с пятиконечными звездами, свечами, длинными черными одеяниями; такой декорум, служил в основном для того, чтобы помочь начи-

нающим преодолеть моральные запреты. В 1983 году он был допущен к первому ритуальному убийству

К тому времени Давид уже почти отказался от мысли стать рок-звездой, хотя при появлении на MTV Мика Джаггера его сердце порой мучительно сжималось. К тому же проект «Посвящение Чарльзу Мэнсону» провалился, и пусть его признавали двадцативосьмилетним, но на самом-то деле ему было на пять лет больше, и он начинал чувствовать, что действительно слишком стар. Его жажда власти и всемогущества вылилась в манию величия, он возомнил себя Наполеоном. Его восхищал этот человек, который выжег Европу огнем и залил кровью, который погубил сотни тысяч, не имея даже такого оправдания, как идеология, вера, на худой конец убежденность. В противоположность Гитлеру или Сталину Наполеон не верил ни во что, кроме самого себя, он самым решительным образом отделил собственную личность от остального мира, рассматривал других только как орудие, служащее его властительной воле. Раздумывая о своих итальянских корнях, Давид воображал себе кровную связь, сближающую его с этим диктатором, который, прохаживаясь на заре по полям битв, глядя на

тысячи тел, искалеченных, со вспоротыми животами, мог небрежно заметить: «Пустяки… одна парижская ночь восполнит все».

Месяц за месяцем Давид и другие участники группы все глубже погрязали в ужасах и зверствах. Иногда, запечатлевая свои кровавые забавы на пленке, они снимали маски; один из участников был продюсером в индустрии видео, он имел доступ к изготовлению копий. Хорошее «кино с душком» можно было продать за баснословные деньги, что-нибудь около двадцати тысяч долларов за копию. Однажды вечером, будучи приглашен на очередную оргию к приятелю-адвокату, Давид узнал один из своих фильмов на экране телевизора в спальне. На этой кассете, сделанной месяц тому назад, он распиливал мужской половой член механической пилой. Пользуясь своей редкой привлекательностью, он заманил в спальню девочку лет двенадцати, подружку хозяйской дочери, и принудил ее встать на колени перед его креслом. Девочка немного побрыкалась, потом начала его сосать. На экране он приближает пилу к низу живота мужчины лет сорока, легонько задевая ею его бедра, а тот, намертво связанный, со скрещенными руками, вопит от ужаса. Давид излился в девочкин рот в

тот самый момент, когда лезвие пилы рассекло член; он схватил девочку за волосы, грубо вывернул ей шею и заставил долго смотреть на кадр, где — крупным планом — писал кровью обрубок.

Вот к чему сводились улики, собранные против Давида. Полиция случайно перехватила одну из копий пыточного видеофильма, но Давид, по всей вероятности, был предупрежден; как бы то ни было, он успел вовремя скрыться. Здесь-то Дэниэл Макмиллан и переходил к главной мысли. В своей книге он со всей определенностью утверждал, что так называемые сатанисты не верят ни в Бога, ни в Дьявола, ни в какую бы то ни было иную сверхъестественную силу; кощунство вводилось в их церемониал не иначе как второстепенная приправа, вкус к которой большинство из них вскорости утрачивало. В действительности они, подобно их учителю маркизу де Саду, были абсолютными материалистами, своего рода гурманами, ищущими наслаждения во все более резких нервных встрясках. По Дэниэлу Макмиллану, прогрессирующий распад моральных ценностей в течение шестидесятых, семидесятых, восьмидесятых, потом и девяностых годов является процессом закономерным и неотвратимым. Когда сексуальные наслаждения

приедаются, естественно, что индивид, свободный от ограничений традиционной морали, обращается к более разнообразным усладам жестокости; два столетия назад Саду уже довелось пройти аналогичный путь. В этом отношении серийные убийцы девяностых — прямые потомки хиппи шестидесятых; их общими предками можно признать венских акционистов пятидесятых. Такие венские акционисты, как Нич, Мюэль или Шварцкоглер, в качестве перформанса прилюдно учиняли расправы над животными; в присутствии кретинских сборищ они вырывали, раздирали на куски их органы и внутренности, они погружали руки в их плоть и кровь, доводя до последнего предела страдания безвинных существ, между тем как статист запечатлевал эту резню на фото — или кинопленке, дабы выставить полученные материалы в художественной галерее. Подобная дионисийская жажда высвобождения звериного, злого начала, пробужденная венскими акционистами, будет проявляться в ходе последующих десятилетий. Согласно Дэниэлу Макмиллану, этот поворот, постигший западную цивилизацию после 1945-го, есть не что иное, как возврат к культу грубой силы, отречение от вековых норм, что в течение веков создавались

во имя морали и права. Венских акционистов, битников, хиппи и серийных убийц сближает то, что все они абсолютные анархисты, они проповедуют безоглядное утверждение прав личности в противоположность социальным нормам, всему тому лицемерию, к которому, по их мнению, и сводятся мораль, чувство, справедливость и сострадание. В этом смысле Чарльз Мэнсон вовсе не чудовищное извращение духовного опыта хиппи, но логическое завершение его; Давид ди Меола только продолжил, осуществил на практике идеи освобождения личности, которые провозглашал его отец. Макмиллан принадлежал к партии консерваторов, и некоторые его выпады против личной свободы вызвали скрежет зубовный в недрах его собственной партии; однако его книга сыграла большую роль. Вооруженный своими авторскими правами, он с головой ушел в политическую борьбу и был избран в Палату общин.

Брюно примолк. Свой кофе он давно уже допил, часы показывали четыре утра, и в зале не видно было ни одного венского акциониста. В ту пору Герман Нич гнил в австрийской тюрьме, куда был заключен за изнасилование малолетнего. Этому человеку уже перевалило за шестьдесят, можно было уповать на скорую кончину; таким образом,

один из источников мирового зла пересыхал. Нервничать по этому поводу не было никакого резона. Все вокруг дышало покоем, одинокий служитель блуждал между столиков. Сейчас они оставались здесь единственными клиентами, но ресторан был открыт двадцать четыре часа в сутки, о том говорила вывеска при входе, то же повторялось на обложке меню, таково было обязательство, предусмотренное контрактом. «Они и похезать не сходят, эти гомики», — машинально пробормотал Брюно. Человеческая жизнь в нашем современном обществе подвержена неизбежным кризисам, особенно в области личных проблем. Следовательно, в центре большой европейской столицы непременно должно быть как минимум одно заведение, открытое для посещения всю ночь. Он заказал малиновое желе и два стакана вишневой водки. Кристиана внимательно выслушала его рассказ; в ее молчании было что-то болезненное. Теперь они должны были вернуться к простым радостям.

16
Об эстетике добровольности

С первыми лучами зари юные девы приходят срывать розы. Ветер всепроникновения веет над долами, над столицами, питает воображение самых вдохновенных поэтов, срывает охранительные покровы с колыбелей и лавры, венчающие головы юнцов, выдувает верования в бессмертие из мозгов старцев.

Лотреамон. Стихотворения, II

Большинство тех, с кем Брюно за время своей жизни доводилось встречаться, было занято исключительно погоней за удовольствиями — разумеется, здесь в понятие удовольствия необходимо включить и услады самолюбования, столь тесно связанные с почтением или восхищением окружающих. Таким образом, в ход могла быть пущена та или иная стратегия, определяющая особенности людских судеб.

Тем не менее Брюно признавал, что из этого правила приходится сделать одно исключение — для его сводного брата: с ним, казалось, не

вяжется даже само понятие удовольствия; но, сказать по правде, про Мишеля и не поймешь, задевает его хоть что-нибудь или нет. Равномерное прямолинейное движение при отсутствии трения и без приложения какой-либо внешней силы продолжается до бесконечности. Организованная, рациональная, с точки зрения социологии медиально расположенная по отношению к высшим категориям, жизнь его сводного брата до сих пор, по-видимому, протекала без трения. Хотя, может, в замкнутом мирке исследователей-микробиологов и разворачиваются потаенные, ужасные противоборства самолюбии; последнее, впрочем, представлялось Брюно сомнительным.

— У тебя очень мрачный взгляд на жизнь, — сказала Кристиана, прерывая молчание, которое становилось все тягостнее.

— Ницшеанский, — уточнил Брюно. И, подумав, счел нужным прибавить: — Я, скорее всего, ницшеанец низшего разбора. Прочту-ка тебе одно стихотворение. — Он извлек из кармана записную книжку и продекламировал:

Каждый тянет эту жвачку, сколько можно? –

Насчет вечного возврата и так далее,

А я ем клубничное мороженое

В ресторане «Заратустра» под азалией.

Они опять помолчали, потом она сказала:

— Я знаю, что нужно сделать. Давай съездим на мыс Агд, устроим групповушку в нудистском секторе. Там есть медсестры-голландки, немки из чиновничьей среды, все очень корректно, буржуазно, в северной манере или в духе Бенилюкса. Почему бы не потрахаться в компании люксембургских копов?

— У меня отпуск кончается.

— И у меня тоже, занятия начнутся во вторник; но я еще нуждаюсь в отдыхе. Довольно с меня преподавания, дети такие болваны. И тебе тоже нужно отдохнуть, ты нуждаешься в оргазмах в кругу самых разнообразных женщин. Это возможно. Знаю, ты в это не веришь, но я тебе ручаюсь: возможно. У меня есть приятель-врач, он нам выправит справку о болезни.

На вокзал Агда они прибыли в понедельник утром, взяли такси и поехали в нудистский сектор. У Кристианы почти не было багажа: ей не хватило времени, чтобы заехать в Нуайон.

— Надо бы мне послать сколько-нибудь бабок сыну, — сказала она. — Он меня презирает, но

мне еще несколько лет придется волей-неволей его терпеть. Я всерьез опасаюсь, как бы он совсем не одичал. Он якшается со странными типами: с мусульманами, с нацистами… Если бы он разбился на мотоцикле, мне было бы больно, но, думаю, я бы испытала облегчение.

Уже наступил сентябрь, и они легко нашли себе жилье. Нудистский гостиничный комплекс мыса Агд, состоящий из пяти зданий, построенных в семидесятых и в начале восьмидесятых годов, в общей сложности вмещал десять тысяч спальных мест — мировой рекорд. Их номер, площадью в 22 кв. м, состоял из гостиной, где имелся диван-кровать, кухоньки, спаленки с расположенными друг против друга одноместными кушетками, а также из душевой, санузла и террасы. Все это было рассчитано максимум на четверых — чаще всего то была семья с двумя детьми. Они с первой минуты почувствовали, что им здесь очень понравится. Терраса выходила на запад, смотрела на причал прогулочных катеров и позволяла пить аперитив, наслаждаясь последними лучами заходящего солнца.

Если бы даже там не было трех коммерческих центров, мини-гольфа и пункта проката велосипедов, и тогда край отдыха нудистов на

мысе Агд был бы самым соблазнительным для курортников благодаря простейшим пляжным и сексуальным утехам. В конечном счете это место являет собой некое особое социологическое образование, тем более удивительное, что в основе его лежит не заранее разработанный проект, а простое совпадение личных инициатив. По крайней мере именно так выразился Брюно во вступительной части статьи под названием «Дюны Марсейянского пляжа: об эстетике добровольности», где он подводил итоги своих двухнедельных курортных впечатлений. Статья эта была справедливо отвергнута журналом «Эспри».

«Что с первого взгляда поражает на мысе Агд, — отмечает Брюно, — это сосуществование самых банальных служб, аналогичных тем, какие встретишь на любом европейском курорте, с коммерческими предприятиями, недвусмысленно ориентированными на секс и распутство. Странно, к примеру, видеть булочную или продовольственный магазинчик самообслуживания рядом с магазином одежды, предлагающим исключительно прозрачные крошечные юбочки, белье из латекса и платья, скроенные так, чтобы грудь и ягодицы оставались открытыми. Удивительно также наблюдать, как женщины и супружеские

пары, с детьми или без оных, фланируют среди торговых рядов и прицениваются к товарам подобного рода. Наконец, как не подивиться при виде того, как книготорговые фирмы, помимо обычного ассортимента газет и журналов, предлагают в своих киосках особо широкий выбор всякого рода брошюр с предложениями „приятного досуга“ и порнографических буклетов, а также всевозможных эротических приспособлений, причем ни у кого из потребителей все это не вызывает ни малейшего смущения.

Центры коллективного отдыха обычно распространяются по определенной оси, от «семейных» (таковы «Мини-клаб» и «Кид'с-клаб» с их приборами для нагревания детских бутылочек и столами для пеленания) до «молодежных» (с лыжами, серфингом, буйными вечеринками для полуночников — «до 12 лет не рекомендуется»). Нудистский центр мыса Агд, где такое значение придается сексуальным досугам, избавленным от обычно сопровождающего их контекста «обольщения», далеко выходит за пределы подобной дихотомии. Равным образом он отличается, опять-таки к вящему изумлению новичка, от традиционных нудистских центров. В самом деле, ведь они-то делают акцент на концепции «здоро-

вой» наготы, исключающий всякую возможность прямой сексуальной интерпретации; там в чести экологически чистая пища; табак оттуда практически изгнан. Экологическая впечатлительность зачастую побуждает участников объединяться в разные движения вроде йоги, групп рисовальщиков на шелке, восточной гимнастики; они добровольно приноравливаются к первобытному образу жизни на лоне дикой природы. Номера, предлагаемые отдыхающим на мысе Агд, напротив, в полной мере отвечают стандартным требованиям комфортабельного отдыха; природа здесь представлена исключительно в виде газонов и цветочных массивов. Наконец, в ресторанном деле все устроено по классическому типу: пиццерии непосредственно соседствуют с ресторанами «Дары моря» и киосками, торгующими жареным картофелем и мороженым. Сама нагота здесь, если так можно выразиться, облечена в другие одежды. В традиционном нудистском центре она неизменно зависит от атмосферных условий, это они решают, можно ли раздеться; подобная зависимость требует строжайшего контроля, и это еще сопровождается резким неприятием всякого поведения, которое может быть уподоблено нездоровому любопытству. На мысе Агд,

наоборот, повсеместно, как в супермаркетах, так и в барах, наблюдается мирное сосуществование самых разнообразных обличий, от полнейшей наготы до одежды вполне традиционного типа, причем столь же возможны и наряды, откровенные в своей призывной сексуальности (сетчатые мини-юбки, белье, облегающее трико). Нескромное глазенье, напротив, пользуется молчаливым признанием: на пляже сплошь и рядом видишь мужчин, которые пялятся на открытые для обозрения половые органы женщин; многие из последних придают этому созерцанию еще более интимный характер, прибегая к удалению волос, что облегчает исследование их клиторов и больших половых губ. Все это создает даже для тех, кто не принимает участия в специфической деятельности центра, совершенно уникальную атмосферу, равно далекую как от эротической, нарциссической обстановки итальянских дискотек, так и от двусмысленного климата злачных кварталов большого города. В общем-то, имеешь дело с классическим курортным местом, скорее безобидным, если не считать того, что сексуальные удовольствия занимают здесь важное и почетное место. По этому поводу так и хочется вспомнить «социал-демократическое» понима-

ние секса; надобно также заметить, что среди обитателей немалый процент иностранцев, по большей части немцев, равным образом значителен голландский и скандинавский контингент».

На второй день Кристиана и Брюно свели на пляже знакомство с Руди и Ханналорой, парой, которая смогла помочь им лучше понять суть социологической деятельности центра. Руди был инженером центра спутникового управления, его главной обязанностью был контроль геостационарной позиции телекоммуникационного спутника типа «Астра»; Ханналора работала в крупном гамбургском книжном магазине. За десять последних лет привыкшие отдыхать на мысе Агд, они в этом году предпочли оставить своих двоих детей-подростков на попечении родителей Ханналоры, чтобы уехать на недельку вдвоем. В тот же вечер пообедали вчетвером в рыбном ресторане, где подавали великолепную пряную похлебку буйабес. Потом отправились к немцам в номер. Брюно и Руди по очереди протыкали Ханналору, в то время как она лизала Кристианину промежность; затем женщины поменялись местами. После этого Ханналора незамедлительно сделала Брюно минет. У нее было очень красивое тело, пышное, но крепкое, она

явно поддерживала себя в форме спортивными упражнениями. К тому же сосала она весьма чувственно; крайне возбужденный этой ситуацией, Брюно, к несчастью, извергся слишком быстро. Руди, как более искушенному, удалось воздерживаться от эякуляции в течение двадцати минут, пока Ханналора и Кристиана сообща сосали его, дружески сталкиваясь языками на головке члена. В заключение вечера Ханналора угостила всех стаканом вишневой водки.

Две дискотеки для парочек, расположенные на территории пансионата, по сути, не играли существенной роли в разгульной жизни германской четы. «Клеопатра» и «Абсолют» терпели жестокий урон из-за конкуренции с «Экстазией», которая располагалась за пределами нудистских владений, на землях коммуны Марсейян. Оснащенная впечатляющим оборудованием («Черная комната», «Комната с прозрачным зеркалом», бассейн с подогревом, джакузи и — последнее приобретение — отменнейшая «Зеркальная комната» из Лангедок-Русильона), «Экстазия», отнюдь не имея склонности почить на лаврах, которые она стяжала на заре семидесятых, сумела сохранить свою репутацию «волшебной шкатулки». Тем не менее Ханналора и Руди

предложили им провести завтрашний вечер в «Клеопатре». Она поменьше размерами, ей свойственна теплая, доверительная обстановка, так что «Клеопатра», по их мнению, являет собой отличный отправной пункт для пары новичков, да и находится она в самом центре пансионата, что дает повод после еды запросто перехватить стаканчик в кругу друзей, равно как и приятный для женщин случай в обстановке взаимной симпатии опробовать новенькие эротические приемы.

Одеваться никто из четверых не стал. Брюно, ликуя, обнаружил, что у него опять эрекция, меньше чем через час после того, как он излился в уста Ханналоры; он объявил об этом в выражениях, полных наивного восторга. От души растроганная, Кристиана принялась обхаживать его болт под умиленными взглядами новых друзей. Под конец Ханналора присела на корточки между его ляжек и стала посасывать его член, который Кристиана продолжала ласкать. Руди, впав в легкое ошеломление, машинально повторял: «Gut, gut…» Расстались они полупьяные, но в превосходном рас положении духа. Брюно пустился в воспоминания о «Клубе пяти», обнаружив сходство между Кристианой и Клод, чей образ с детства сложился в его сознании; по его

мнению, не хватало только верного пса Даго.

Назавтра после полудня они вместе отправились на пляж. Погода стояла ясная и для сентября очень жаркая. «Как приятно, — думал Брюно, — идти вчетвером, голыми, по самой кромке воды. Приятно сознавать, что нет никаких сложностей и раздоров, сексуальные проблемы уже решены; приятна уверенность, что каждый в меру своих возможностей старается доставить другим удовольствие».

Нудистский пляж мыса Агд тянулся на три километра, берег полого спускался к воде, это даже малым детям давало возможность купаться без всякого риска. Впрочем, большая часть берега была зарезервирована для семейных купаний, а также для спортивных игр (серфинга, бадминтона, запускания змея). Есть молчаливо признанное правило, объяснил Руди, что парочки, ищущие распутства, встречаются друг с другом на восточной оконечности пляжа. Дюны, подпертые изгородями, образовывали там чуть возвышающуюся над всем гряду. Если подняться на ее вершину, с одной стороны открывается вид на пляж, полого спускающийся к морю, с другой — на более пересеченную местность, где дюны перемежаются плоскими полянами, там и

сям поросшими купами каменных дубов. Друзья расположились под самой песчаной грядой, со стороны пляжа. Вокруг на тесном пространстве скопилось две сотни парочек. Кое-где среди них виднелись одинокие мужчины; некоторые мерили шагами песчаную гряду, попеременно озирая открывающиеся взгляду картины.

«В продолжение двух недель нашего там пребывания мы проводили на этом пляже все послеполуденные часы, — писал Брюно в своей статье. — Разумеется, человек смертен, и можно, предвидя свой конец, взирать суровым взглядом на людские радости. Но по мере того как отбрасываешь такую экстремистскую позицию, понимаешь, что дюны Марсейянского пляжа являют собой — и я намерен это доказать — место, соответствующее гуманистическим идеям, предполагающее максимальное удовлетворение желаний каждого без причинения кому бы то ни было нестерпимых моральных страданий. Сексуальное наслаждение (наиболее острое из тех, что доступны человеческому существу) основывается в решающей степени на осязательных ощущениях, в особенности на систематическом возбуждении особых эпидермических зон, устланных корпускулами Краузе, каковые связаны с ней-

ронами, способными вызвать в гипоталамусе мощный выброс эндорфинов. На эту простую систему в коре головного мозга современного человека благодаря смене окультуренных поколений наложилась обогащенная ментальная структура, побуждающая к „фантазмам“ и (что особенно характерно для женщин) к „любви“. Дюны Марсейянского пляжа — по крайней мере, такова моя гипотеза — не следует рассматривать как место неразумного раздувания фантазмов, но, напротив, как приют восстановления равновесия сексуальных целей, как географическое подспорье попытки вернуться к норме, притом исключительно на *добровольной* основе. Говоря конкретно, каждая из пар, собравшихся на пространстве суши, ограниченном песчаной грядой и кромкой воды, может взять на себя инициативу публичной сексуальной ласки; нередко женщина принимается мануально либо орально возбуждать своего спутника, но столь же часто мужчина платит ей той же монетой. Соседние пары с особым вниманием наблюдают за этими ласками, подходят поближе, чтобы лучше видеть, мало-помалу и сами начинают подражать им. Так, от первоначальной пары, по пляжу быстро распространяется волна невероятно возбуждаю-

щих ласк и сексуальных излишеств. Исступление растет, многие пары сближаются, чтобы отдаться групповым утехам; однако, что важно отметить, всякое сближение происходит при условии предварительного согласия партнера, чаще всего выраженного с полной ясностью. Когда женщина хочет уклониться от нежеланной ласки, она дает это понять весьма определенно, просто качает головой — такой знак тотчас побуждает мужчину к церемонным, едва ли не смешным извинениям.

Величайшая корректность мужского контингента участников проявляется еще более поразительно в случаях, когда какая-нибудь парочка забредет в глубь территории, за гряду дюн. По существу, эта зона обычно находится в распоряжении шумных сборищ, участники каковых в большинстве своем мужчины. Первоначальный толчок и здесь исходит от пары, которая начинает предаваться интимным ласкам — чаще всего оральному сексу. Тотчас оба партнера оказываются окружены десятком, а то и двумя десятками мужчин. Сидя, стоя или присев на корточки, последние мастурбируют, не спуская глаз с происходящей перед ними сцены. Иногда дело на том и кончается, а толпа зрителей малопомалу расходится. Бывает и так, что женщина

делает рукой знак, говорящий, что она желает помастурбировать, пососать какого-нибудь другого мужчину либо совокупиться с ним. Тогда они без особой торопливости сменяют друг друга. Если она пожелает прекратить, ей и для этого бывает довольно одного жеста. Никто не обменивается ни единым словом; явственно слышно, как ветер посвистывает в дюнах, ворошит заросли трав. Порой ветер стихает; тогда тишина становится абсолютной, и ни один звук, кроме шороха семяизвержений, не нарушает ее.

Речь здесь идет отнюдь не о том, чтобы изображать нудистский пансионат на мысе Агд в идиллических тонах, словно какой-нибудь фурьеристский фаланстер. Нет, здесь, как и в любом другом месте, женщину с юным, стройным телом, мужчину, особенно привлекательного и мужественного, осаждают самыми лестными авансами. А ожиревший, стареющий, неуклюжий индивид, как везде, осужден на мастурбацию, с той разницей, что к этому занятию, в других общественных местах всеми осуждаемому, здесь относятся с любезной благожелательностью. Помимо всего прочего, поразительно, что достаточно разнообразные сексуальные проявления, куда более возбуждающие, нежели все, что спо-

собен продемонстрировать какой бы то ни было порнофильм, здесь обходятся без малейшего насилия, не омрачаясь даже легкой тенью грубости. Обращаясь к введенному мною понятию «социал-демократической сексуальности», я со своей стороны склонен усматривать во всем необычный способ применения той дисциплины и уважения к условиям любого договора, которые позволили немцам, с интервалом в одно поколение пройдя через две чудовищно смертоносные мировые войны, восстановить лежащую в руинах страну, создав мощную, способную к широкому экспорту экономику. В этом плане было бы любопытно узнать, что сказали бы выходцы из таких стран, как Япония и Корея, где в особой чести культурные ценности такого рода, доведись им столкнуться с социологической практикой мыса Агд. Подобная манера поведения, уважительная и лояльная, обеспечивая каждому, кто выполняет условия контракта, многочисленные моменты мирного достижения оргазма, в любом случае оказывается неотразимо убедительной, ибо ее преимущества без затруднений — а также и без каких-либо специальных разъяснений — усваиваются представителями всякого рода меньшинств, проживающих в пан-

сионате (дуболомами из «лангедокского фронта», арабскими правонарушителями, итальяшками из Римини)».

Брюно на исходе первой недели пребывания в пансионате на этом прервал свою статью. То, что ему еще оставалось высказать, было куда более нежно, тонко и неопределенно. Проводя послеполуденные часы на пляже, они взяли обыкновение часов в семь пить аперитив. Он любил кампари, Кристиана чаще отдавала предпочтение белому мартини. Он смотрел, как лучи солнца скользят по слою свежей штукатурки — розоватому снаружи и белому изнутри. Ему доставляло удовольствие следить, как Кристиана нагишом бродит по комнате, то оливки принесет, то кубики льда. Чувство, что он испытывал, было странным, очень странным: легче дышалось, можно было несколько минут подряд ни о чем не думать, и ему уже не было так страшно. Однажды под вечер, на восьмые сутки, он сказал Кристиане: «Мне кажется, я счастлив». Она резко остановилась, сжимая пальцами формочку для льда, и глубоко, прерывисто вздохнула. Он продолжал: «Я хочу жить с тобой. Думаю, с меня довольно, я слишком долго был несчастен, сыт по горло. Еще немного, и начнутся хвори, инва-

лидность, а там и смерть. Но, я думаю, вместе мы сможем быть счастливыми, до самого конца. Во всяком случае, хочется попробовать. Мне кажется, я тебя люблю».

Кристиана заплакала. Позже, сидя в «Нептуне» над блюдом даров моря, они попытались рассмотреть вопрос с практической точки зрения. Она сможет приезжать каждый уик-энд, это проще простого, однако поменять место работы, добиться перевода в Париж ей будет очень трудно. Учитывая необходимость выплачивать алименты, жалованья Брюно на двоих не хватит. И потом, был еще сын Кристианы — тоже фактор, вынуждающий набраться терпения. Но все-таки это было возможно. Впервые за столько лет желаемое казалось достижимым.

На следующий день Брюно написал Мишелю короткое взволнованное письмо. Он объявлял, что счастлив, и сожалел, что им никогда не удавалось в полной мере понять друг друга. Он ему желал по мере возможности, в той или иной форме, тоже обрести свое счастье. И подписался: «Твой брат Брюно».

17

Письмо застало Мишеля в остром приступе концептуального бессилия. Согласно гипотезе Маргенау, индивидуальное сознание можно уподобить полю вероятностей в пространстве Фока, определяемом как прямая сумма пространств Гилберта. В принципе это пространство может быть выстроено исходя из элементарных электронных событий на синаптическом уровне. В этом случае нормальное поведение согласуется с упругими деформациями поля, а свободное деяние с разрывом поля; однако неясно, в какой топологии? Нет никакой гарантии, что естественная топология гилбертовых пространств позволяет рассчитывать на регистрацию свободного акта; нет даже уверенности в том, что сегодня возможна постановка этой проблемы иначе, нежели в сугубо метафорической форме. Тем не менее Мишель был убежден, что необходимость в новой концептуальной базе назрела. Каждый вечер, прежде чем отключить свой переносной компьютер, он запускал через Интернет запрос о доступе к результатам экспериментов, опубликованным в течение дня. На следующее

утро он знакомился с ними, убеждался, что исследовательские центры во всех концах света безнадежно пребывают в ослеплении, погрязая в бессмысленном эмпиризме. Ни один результат не давал возможности прийти к какому-либо заключению, ни даже сформулировать самомалейшую теоретическую гипотезу. Как известно, индивидуальное сознание внезапно, без видимой причины, возникло в животном мире; это, вне всякого сомнения, произошло задолго до появления речи. Дарвинисты в своем бессознательном тяготении к идее конечной цели имели обыкновение выдвигать на первый план предположительные преимущества естественного отбора, связывая это с развитием языка, что, как всегда, ничего не объясняло, это была ни дать ни взять симпатичная мифологическая конструкция; но антропогенный принцип в данном случае утрачивает всякую убедительность. Мир дал нам глаза, способные видеть его, и разум, способный его постигать; да, и что из этого следует? К пониманию феномена это ничего не добавляет. Самосознание, отсутствующее у нематод, вполне очевидно наблюдается у простейших ящериц, таких, как Lacerta agilis; здесь весьма вероятно предположить наличие центральной нервной си-

стемы и кое-чего помимо нее. Это нечто остается абсолютно таинственным; появление сознания, по-видимому, не могло быть связано с какими-либо анатомическими, биохимическими либо клеточными данными; это обескураживало.

Что бы сделал Хайзенбсрг? Что предпринял бы Нильс Бор? Отстраниться, подумать; побродить за городом, послушать музыку. Новое не создается посредством простой интерполяции старого; данные прибавляются к данным, как пригоршни песка, по самой своей природе определяясь концептуальными рамками, ограничивающими поле эксперимента; ныне более чем когда-либо необходим новый угол зрения.

Дни, знойные и быстротечные, проходили грустно. В ночь на 15 сентября Мишелю приснился непривычно счастливый сон. С ним рядом была маленькая девочка, она носилась по лесу, окруженная бабочками и цветами (проснувшись, он догадался, что этот образ, снова возникший три десятилетия спустя, вел свое происхождение от «Принца Сапфира», сериала, который он смотрел по воскресеньям после полудня в доме своей бабушки и который так безошибочно находил путь к его сердцу). Через мгновение он шагал один по огромному холмистому лугу, среди высо-

кой травы. Он не различал горизонта, казалось, этим травянистым холмам под бледно-серым, красиво светящимся небом конца нет. Тем не менее он двигался вперед без колебания и спешки; он знал, что на глубине нескольких метров у него под ногами течет подземная река и что безошибочный инстинкт ведет его вдоль ее русла. Вокруг волновались под ветром высокие травы.

Проснулся он веселый, полный энергии, каким не чувствовал себя ни разу со дня своего увольнения, уже более двух месяцев. Вышел из дому, повернул на улицу Эмиля Золя, зашагал под липами. Он был один, но от этого не страдал. На углу улицы Антрепренер он остановился. Магазин «Золя-колор» открылся, продавщицы-азиатки расположились за своими кассами; было около девяти часов утра. Небо в прогале между многоэтажками Богренель сияло до странности ярко; во всем этом была безысходность. Может быть, ему бы стоило пообщаться со своей соседкой напротив, девушкой из «Двадцати лет». Она служит в неспециализированном журнале, разбирается в общественных делах, вероятно, ей знакомы механизмы налаживания контактов с внешним миром; да и психологические факторы ей тоже, верно, не чужды; надо полагать, эта девушка

могла бы его многому научить. Быстрым шагом, чуть не переходя на рысь, он устремился обратно, рванул по лестнице на этаж, где находилась квартира соседки. Долго звонил, трижды повторив попытку. Никто не отозвался. Растерянный, он повернул назад, домой; а подойдя к лифту, призадумался. Что это с ним? Может, у него депрессия и в этом все дело? Вот уже несколько лет как в квартале появились и все множатся листовки, призывающие к бдительности и борьбе против Национального фронта. Безмерное равнодушие, которое он проявлял как к сторонникам, так и к противникам оного, уже само по себе можно было бы счесть тревожным симптомом. Традиционная «ясность сознания депрессивных больных», которая, судя по описаниям, часто принимает форму предельной незаинтересованности в отношении людских забот, прежде всего проявляется в недостатке интереса к вопросам, и впрямь не слишком его заслуживающим. Таким образом, строго говоря, можно вообразить себе любовную депрессию, тогда как депрессия патриотическая, если начистоту, представляется совершенно немыслимой.

Возвратясь к себе на кухню, он подумал о том, что, по сути, естественная для демократического

сознания вера в обусловленность человеческих поступков разумом и свободой выбора, особенно же в такую обусловленность политических предпочтений индивида, надо полагать, явилась следствием смешения понятий свободы и непредсказуемости. Водовороты в течении реки там, где она омывает опоры моста, в структурном отношении непредсказуемы; но никому же не придет на ум объявлять их за это «свободными». Он налил себе стакан белого вина, задернул шторы и прилег, чтобы поразмыслить. Уравнения теории хаоса не демонстрируют никакой связи со свойствами физической области, в которой сказывались их результаты; эта всеобщность позволяет равным образом применять их как в гидродинамике, так и в генетике популяций, как в метеорологии, так и в социо-психологии групп. Возможности их морфологического моделирования хороши, но предсказательная способность у них почти что нулевая. А уравнения квантовой механики, напротив, позволяют предвидеть характеристики микрофизических систем с исключительной точностью, если же отказаться от всякой надежды на возврат к онтологии материального мира, эта точность может даже стать абсолютной. Было бы по меньшей мере прежде-

временно, а может быть, и просто недостижимо пытаться установить между этими двумя теориями математические соответствия. И все же Мишель был убежден: строение аттракторов при эволюции нейронов и синапсов — ключ к пониманию людских поступков и мнений.

Занявшись поиском фотокопии недавних публикаций, он сообразил, что у него уже больше недели руки не доходили заглянуть в почтовый ящик. Как всегда, там в основном была реклама. В связи со спуском на воду судна «Коста Романтика» фирма «TMR» претендует на то, чтобы стать родоначальницей новой институционной нормы в области организации шикарных морских круизов. Этот корабль описывают как «настоящий плавучий рай». Вот как могли бы — ему стоит только пожелать — пройти первые мгновения его круиза: «Сначала вы попадаете в огромный, полный солнечного света зал под гигантским стеклянным куполом. В лифтах кругового обзора вы поднимаетесь на верхнюю палубу. Там, через громадное окно в носовой части, вы сможете созерцать море, *словно на гигантском экране».* Он отложил проспект в сторону, пообещав себе изучить его досконально. Мерить шагами верхнюю палубу, глазеть сквозь стеклянные стены

на море, неделями плыть под все тем же однообразным небом… почему бы и нет? За это время Западная Европа может рухнуть под бомбами. Они пристанут к берегу, гладкие, загорелые, и их встретит другой континент.

Время от времени надо бы жить, и можно делать это весело, по-умному, не теряя чувства ответственности. В последнем своем выпуске «Свежие новости от сети магазинов единых цен» более чем когда-либо делали акцент на понятии гражданской инициативы. Автор редакционной статьи яростно опровергал общепринятую мысль, что гастрономические услады несовместимы с хорошей физической формой. «Главное соблюдать баланс во всем, лучше начать сегодня же», — без зазрения совести утверждал издатель. За этой первой задиристой (читай: ангажированной) страницей следовали развлекательные материалы, просветительские игры, разное «хочу все знать». Так Мишель получил возможность позабавиться, высчитав, сколько калорий он потребляет за сутки. За эти последние месяцы он не подметал, не гладил, не плавал, и в теннис не играл, и любовью не занимался; три единственных занятия, за которые он, по совести, мог держать ответ, были следующие: лежание, сиде-

ние и спанье. После всех расчетов оказалось, что его потребности доходят до 1750 килокалорий в день. Судя по письму Брюно, он-то, похоже, много плавает и занимается любовью. Мишель сделал пересчет с этими новыми данными: вышло, что у брата суточный расход энергии достигает 2700 килокалорий.

Было и второе письмо, его прислали из мэрии Креси-ан-Бри. Вследствие работ по расширению автостанции необходимо внести изменения в план муниципального кладбища и перенести несколько могил, в том числе могилу его бабушки. Согласно правилам, при перезахоронении останков должен присутствовать кто-либо из членов семьи. Он мог бы встретиться с представителем похоронного бюро между половиной одиннадцатого и двенадцатью.

18
После долгой разлуки

В Креси-ля-Шапель «кукушку» заменил пригородный поезд. И сама деревня сильно изменилась. Он остановился на вокзальной площади, удивленно озираясь. Супермаркет «Казино» перебрался на авеню генерала Леклерка, на выезде из Креси. Вокруг него повсюду выросли ларьки, новые дома.

Как объяснил ему служащий мэрии, все это началось с открытия Евродиснейленда, особенно с тех пор, как продлили линию скоростного метро до Марн-ла-Валле. Многие парижане пожелали поселиться здесь; цены на землю без малого утроились, последние земледельцы распродали свои фермы. Теперь здесь есть гимназия, прекрасно оборудованный гимнастический зал, два бассейна. Имеются проблемы с преступностью, но не больше, чем в других местах.

Направляясь в сторону кладбища, проходя мимо старых домов и не затронутых переменами каналов, он, однако же, почувствовал щемящую грусть, которую всегда испытываешь, возвраща-

ясь в места, где провел детство. Перейдя окружное шоссе, он оказался перед мельницей. Скамья, на которой они с Аннабель любили сидеть после окончания школьных занятий, все еще была здесь. Большие рыбы плыли в темной воде против течения. Солнце неожиданно появилось в просвете между двумя тучами.

У кладбищенских ворот Мишеля ждал человек. «Вы, наверное…» — «Да». Как по-современному называют могильщика? Он держал в руке лопату и большой черный пластиковый мешок для мусора. Мишель пошел за ним. «Вы не обязаны смотреть», — пробурчал тот, направляясь к открытой могиле.

Смерть трудно поддается пониманию, человеческое существо только через силу смиряется с необходимостью прямо взглянуть ей в лицо. Двадцать лет назад Мишель видел труп своей бабушки, в последний раз он поцеловал ее. Тем не менее в первую минуту он был ошеломлен тем, что представилось его взгляду в разверстой яме. Его бабушка была погребена в гробу; однако в свежеразрытой земле он не мог разглядеть ничего, кроме древесных щепочек, гнилой доски и уж совсем непонятных белых кусочков. Когда до него дошло, что перед ним, он поспешно отвернулся,

заставляя себя смотреть в противоположную сторону; но было поздно. Он успел увидеть череп, замаранный грязью, с пустыми глазницами, с которого свисали клочья седых волос, разрозненные позвонки, смешанные с землей. Он понял.

Человек начал запихивать останки в пластиковый мешок, поглядывая на стоящего рядом ошарашенного Мишеля. «Всегда одно и то же, — пробурчал он. — Надо ж им смотреть, никак удержаться не могут. Гроб — не такая штука, чтобы двадцать лет выдержать!» Пока он переваливал содержимое мешка в его новое вместилище, Мишель стоял неподалеку в нескольких шагах. Покончив со своей работой, человек распрямился, подошел к нему. «Все в порядке?» Мишель кивнул. «Могильную плиту передвинут завтра. Вы должны расписаться в ведомости».

Значит, вот оно как. Двадцать лет спустя остаются косточки, перемешанные с землей, и масса седых волос, невероятно *густых* и живых. Он снова увидел свою бабушку, как она вышивала, сидя перед телевизором, как шла на кухню. Так вот к чему все сводится. Проходя мимо «Бара спортсменов», он заметил, что его бьет дрожь. Он вошел, заказал анисовый ликер. Усевшись за столик и оглядевшись, заметил, что внутрен-

нее убранство очень отличается от того, какое помнилось ему. Появились американский бильярд, видеоигры, телевизор, подключенный к каналу MTV, транслирующему клипы. Обложка «Ньюлука» в манере рекламного щита воспевала кошмарные видения Зары Уайтс и гигантскую австралийскую белую акулу Мало-помалу он погрузился в легкую дремоту.

Аннабель первой узнала его. Она только что купила сигареты и уже направлялась к выходу, когда заметила его, съежившегося на сиденье. Она поколебалась секунды две-три, потом подошла. Он поднял глаза.

— Какой сюрприз, — произнесла она мягко; потом присела напротив, на обитую молескином скамейку.

Она почти не изменилась. Ее лицо осталось невообразимо ясным и чистым, волосы — сияюще светлыми; было невозможно поверить, что ей сорок лет, ей никто не дал бы больше двадцати семи — двадцати восьми.

В Креси она оказалась по причинам, которые были сродни его собственным.

— Неделю назад умер мой отец, — сказала она. — Рак кишечника. Это тянулось долго, изнуряюще — и в кошмарных муках. Я задержалась

ненадолго, чтобы помочь маме. Иначе я бы здесь не оказалась: я, как и ты, живу в Париже.

Мишель потупился; настало недолгое молчание. За соседним столиком двое молодых людей рассуждали о каратистских боях.

— Я года три назад в аэропорту случайно встретила Брюно. Он мне рассказал, что ты стал ученым, крупным исследователем, признанным в своей области. Он также сказал мне, что ты не женат. Мои успехи не столь блестящи: я работаю в муниципальной библиотеке. Замуж тоже не вышла. Я часто думала о тебе. Я тебя возненавидела, когда ты не ответил на мои письма. С тех пор прошло двадцать три года, но я все еще иногда вспоминаю об этом.

Она пошла проводить его до вокзала. Наступил вечер, было уже без малого шесть. Они остановились на мосту через Гран-Морен. Здесь росли влаголюбивые деревья — ивы, каштаны; вода была зелена и спокойна. Коро любил этот пейзаж, он несколько раз его писал. Старик, неподвижно стоящий посреди своего сада, напоминал пугало.

— Теперь мы на том же мосту, — сказала Аннабель. — И на равном расстоянии от смерти.

Перед самым отходом поезда она взошла на ступеньку, чтобы поцеловать его в щеку.

— Мы увидимся, — сказал он.
Она ответила:
— Да.

В следующую субботу она пригласила его на обед. Жила она в маленькой квартирке на улице Лежандр. Пространство было тщательно распланировано, однако обстановке не хватало теплоты — стены и потолок были обиты темным деревом, словно в корабельной каюте.

— Я живу здесь восемь лет, — сказала она. — Переехала, когда выдержала конкурс на должность библиотекаря. До того работала на TF1, в службе совместного производства. Мне там опротивело, не люблю эту среду. Потеряла на этом две трети жалованья, но так лучше. Я работаю в муниципальной библиотеке XVII округа, в детской секции.

Она приготовила сиччу, блюдо из баранины и индийской чечевицы. За едой Мишель говорил мало. Расспрашивал Аннабель о ее семье. Ее старший брат унаследовал предприятие отца. Он женат, имеет троих детей — мальчика и двух девочек. К несчастью, дела идут плохо, конкуренция в области производства точных оптических приборов стала очень жесткой, они уже два раза были на грани банкротства; в поисках утоления

своих печалей он налегает на анисовый ликер и голосует за Ле Пена. Ее младший брат занят в службе маркетинга «Лореаль»; недавно получил назначение в Соединенные Штаты — начальником маркетинговой службы, работающей на Северную Америку; видятся они редко. Он разведен, детей нет. Две несходные судьбы, впрочем почти что в равной степени симптоматичные.

— Моя жизнь не была счастливой, — сказала Аннабель. — Вероятно, я придавала слишком большое значение любви. Я слишком легко сходилась, мужчины, добившись своей цели, бросали меня, и я страдала от этого. Мужчины вступают в любовную связь не оттого, что влюбляются, а оттого, что испытывают желание; мне потребовались годы, чтобы осознать эту банальную истину. Вокруг меня все так живут, я сформировалась в развращенной среде; но мне не доставляет никакого удовольствия кого-то дразнить, соблазнять. Да и сама сексуальная жизнь мне в конце концов осточертела; не могу больше выносить торжествующих ухмылок в ту минуту, когда я снимаю платье, тупых рож в момент оргазма, но главное — их хамства после того, как акт свершится. В конце концов, это мучительно, когда к тебе относятся как к животному, переходящему

из рук в руки, даже если ты считаешься лакомым кусочком, я ведь была эстетически безупречна, и они чванились, водя меня по ресторанам. Только один раз я, как мне показалось, пережила нечто серьезное, я тогда поселилась вместе с одним типом. Он был актером, в его физиономии было что-то очень интересное, но пробиться ему не удавалось — сказать по правде, я оплачивала почти все квартирные счета. Мы прожили вместе два года, потом я забеременела. Он просил меня сделать аборт. Я сделала, но, выходя из больницы, поняла, что всему конец. Я ушла от него в тот же вечер, на какое-то время переселилась в отель. Мне уже сравнялось тридцать, это был мой второй аборт, и я была сыта этим по горло. Шел 1988 год, все начинали понимать опасность СПИДа, а я… я воспринимала это как освобождение. Я спала с десятками мужчин, и ни один не стоил того, чтобы о нем вспомнить. Теперь считается, что в жизни есть первоначальная беззаботная пора, а потом тебя настигает призрак смерти. Все мужчины, которых я знала, панически боялись постареть, они без конца думали о своем возрасте. Одержимость возрастом начинается очень рано — я встречала ее у двадцатипятилетних. Я решила остановиться, выйти из игры. Веду

жизнь спокойную и безрадостную. По вечерам читаю, готовлю себе настойки, завариваю кофе или чай. Все уик-энды провожу у родных, много занимаюсь племянником и племянницами. Правда, иногда я испытываю потребность в мужчине, мне бывает страшно по ночам, я с трудом засыпаю. Конечно, у меня есть транквилизаторы, есть снотворные; но это не всегда помогает. В сущности, мне бы хотелось, чтобы жизнь прошла как можно скорее.

Мишель продолжал молчать; он не был удивлен. У большинства женщин бурная юность, мужчины и секс их ужасно занимают; потом они мало-помалу устают, им уже не слишком хочется раздвигать ляжки, подставлять зад; они ищут нежной привязанности, которой не находят, страсти, которой и сами уже не могут испытывать; тогда для них начинаются тяжелые времена.

Диван-кровать, когда его разложили, занял чуть ли не все свободное место.

— Это первый случай, когда он понадобился, — сказала она.

Они легли рядом, обнялись.

— Я уже давно не использую противозачаточных средств, и у меня нет презервативов, А у тебя?

— Нет… — вопрос вызвал у него усмешку.

— Хочешь, чтобы я взяла в рот?

Он подумал с минуту, в конце концов ответил: «Да». Это было приятно, но наслаждение оказалось не особенно острым (в сущности, он никогда и не знал его; это сексуальное наслаждение, у иных столь интенсивное, для других остается умеренным, а то и незначительным; может, здесь вопрос воспитания, нейронного соединения, кто знает?). Минет его скорее растрогал: то был символ взаимного обретения после долгой разлуки, возрождения их общей поломанной судьбы. Зато потом было чудесно обнять Аннабель, обхватить ее руками, когда она повернулась на другой бок и задремала. Тело ее было гибким и нежным, теплым и удивительно гладким; у нее были широкие бедра, очень тонкая талия, маленькая крепкая грудь. Он просунул ногу между ее колен, положил одну ладонь ей на грудь, другую на живот; погружаясь в это нежное тепло, он почувствовал, будто возвращается к началу времен. И почти тотчас заснул.

Сперва он увидел человека. В виде части пространства, облеченного одеждой; открыто было только лицо. Посреди лица сверкали глаза; их выражение с трудом поддавалось истолкованию.

Перед ним было зеркало. При первом взгляде в зеркало человек почувствовал, что сорвался в пустоту. Однако он удержался, теперь он сидел и рассматривал свое отражение как вещь в себе, как мыслеобраз, независимый от него, но могущий быть переданным другим; через минуту между ними установилось относительное безразличие. Но стоило ему отвернуться на несколько секунд, и все началось сызнова; ему пришлось опять с мучительным усилием, какого требует адаптация глаз к очень близко расположенному объекту разрушать это чувство самоидентификации со своим изображением. Перемежающийся невроз, связанный с отношением к собственному «я», — человек был еще далек от исцеления.

Потом он увидел белую стену, внутри которой формировались характеры. Мало-помалу они приобретали объем, образуя на стене движущиеся барельефы, пронизанные тошнотворной пульсацией. Вдруг проступило слово МИР; потом слово ВОЙНА, потом опять МИР. Потом явление разом исчезло; поверхность стены вновь разгладилась. Накатила волна, насытив атмосферу влагой; солнце было желто и громадно. Он увидел место, где формируется корень времени. Этот корень ветвился, разрастаясь, пронизывая Все-

ленную своими отростками — ближе к центру они были шишковатыми штопорами, на концах становились липкими и влажными. Эти штопоры сжимают, скручивают, склеивают части пространства.

Он увидел мозг мертвого человека, часть пространства, вмещающую пространство.

В последнем видении ему представился ментальный агрегат Вселенной и его противоположность. Он увидел ментальный конфликт, который структурировал пространство, и его исчезновение. Пространство явилось ему в виде очень тонкой линии, разделяющей две сферы. В первой — бытие и отделение, во второй — небытие и уничтожение индивидуальности. Спокойно, без колебаний он отвернулся от первой сферы и шагнул во вторую.

Вырвавшись из сонного наваждения, он сел на кровати. Рядом с ним ровно дышала Аннабель. У нее был кубической формы будильник «Сони», он показывал 03:37. Удастся ли ему заснуть снова? Надо, чтобы удалось. Он достал таблетку ксанакса.

На следующее утро она сварила ему кофе; сама она попила чаю с гренками. День был прекрасный, но уже несколько прохладный. Она

смотрела на его голое тело, странно юношеское в своей непреходящей хрупкости. Им было по сорок лет, но как же трудно в это поверить. Однако она уже не могла завести детей, не рискуя при этом довольно серьезными генетическими поломками; и его мужская сила уже в большой степени шла на спад. В плане вселенского замысла они являлись парой стареющих индивидов, чья генетическая ценность незначительна. Она жила как все; нюхала кокаин, участвовала в групповом сексе, проводила ночи в шикарных отелях. Оказавшись благодаря своей красоте в эпицентре того движения к свободе нравов, что было характерно для эпохи ее юности, она пострадала особенно сильно — ей было суждено отдать этому свою жизнь почти без остатка. Он же, в силу безразличия к подобным вещам, оказался на периферии всего, в том числе и самой жизни человеческой, если его и зацепило, то лишь поверхностно; он ограничился тем, что был постоянным клиентом магазина единых цен, расположенного в его квартале, и состоял в команде исследователей-микробиологов. Их прошлое, столь различное, почти не оставило видимого следа на их живших врозь телах; но жизнь как таковая подспудно вершила свою

разрушительную работу, постепенно затрудняя процессы репликации в их органах и клетках. Разумные млекопитающие, способные любить, они созерцали друг друга в ярком сиянии осеннего утра.

— Я знаю, слишком поздно, — сказала она. — И все-таки я бы хотела попробовать. У меня все еще хранится школьный проездной билет за семьдесят четвертый-семьдесят пятый, последний учебный год, когда мы вместе ходили в лицей. Мне плакать хочется каждый раз, как посмотрю на него. Не понимаю, как все могло до такой степени изгадиться. Мне с этим никогда не примириться.

19

Было ясно, что в гуще самоубийственного бытия западного мира им не остается никакого шанса. И все же они продолжали видеться раз или два в неделю. Аннабель посоветовалась с гинекологом и опять начала принимать таблетки. Ему удавалось проникать в нее, но больше всего он любил засыпать рядом с ней, чувствовать близость ее живой плоти. Однажды ночью ему приснился парк аттракционов в Руане, на правом берегу Сены. Большое, почти пустое колесо обозрения вращалось в мертвенно-бледном небе, нависавшем над силуэтами грузных незадачливых лодочек, над металлическими, изъеденными ржавчиной структурами. Он брел среди складских построек, выкрашенных в тусклые и вместе с тем кричащие цвета; ледяной ветер хлестал его по лицу дождевыми струями. В ту самую минуту, когда он достиг выхода с территории складов, на него напали одетые в кожу юнцы с бритвами. Прежде чем наброситься на него, они несколько минут следили за ним. У него кровоточили глаза, он знал, что навсегда останется слепым, и правая рука у него была наполовину отсечена: тем не

менее он, наперекор боли и кровотечению, знал и то, что Аннабель его не покинет, ее любовь навеки будет ему защитой.

На праздник Всех святых они вместе поехали в Сулак, на дачу брата Аннабель. В первое утро после приезда отправились вдвоем на пляж. Он почувствовал усталость, присел на скамейку, а она пошла дальше. Морской простор грохотал, катя к берегу туманные, серебристо-серые валы. Разбиваясь о песчаные мели, волны рождали на горизонте влажный, красиво искрящийся на солнце туман. Силуэт Аннабель, почти неразличимой в длинной светлой блузе, скользил на фоне водной глади. Престарелая немецкая овчарка слонялась между белыми пластиковыми столиками пляжного кафе; ее тоже было трудно различить, она как бы растворялась в туманном воздухе, полном солнца и брызг.

К обеду Аннабель попросила, чтобы им поджарили синеротого окуня; общество, в котором они жили, приохотило обоих к некоторым излишествам сверх просто удовлетворения потребности в еде; итак, они могли попытаться жить, но, по существу, им уже не слишком-то хотелось этого. Он испытывал сочувствие к ней, к тем громадным запасам любви, которая, как он догадывался,

трепетала в глубине ее существа, искалеченного жизнью; он ей сострадал, и это, вероятно, было единственное человеческое чувство, еще способное проникнуть в его сознание. В остальном же все его тело заполоняла леденящая сдержанность; любить по-настоящему он больше не мог.

По возвращении в Париж им выпадали веселые мгновения, подобные тем, что показывают в рекламе духов (сбежать вдвоем по ступенькам Монмартрской лестницы или, допустим, застыть, обнявшись, на мосту Искусств, под внезапными вспышками прожекторов с речных трамвайчиков, делающих разворот). Познали они и воскресные послеобеденные стычки, почти ссоры, и молчаливые мгновения, когда тело скорчивается под простыней, — эти разрушительные паузы безмолвия и скуки. Квартирка Аннабель была темновата, с четырех дня уже приходилось включать свет. Иногда они грустили, но главное, оба были серьезны. Они знали — и тот и другая, — что переживают свою последнюю истинно человеческую связь, и сознание это вносило в каждый им отпущенный миг нечто душераздирающее. Они испытывали друг к другу большое уважение и безмерную жалость. И все же в иные дни по неожиданной, волшебной милости им были да-

рованы минуты, пронизанные свежим воздухом и щедрым, бодрящим солнцем; однако куда чаще они чувствовали, как серая пелена накрывает и их самих, и землю, по которой они ступают, и во всем им виделось предвестие конца.

20

Брюно с Кристианой тоже вернулись домой. Поутру, отправляясь на службу, он подумал о том незнакомом враче, что сделал им такой небывалый подарок: две недели ничем не оправданного отпуска якобы по болезни. Он направился в свою контору на улице Гренель. Поднявшись к себе на этаж, вдруг сообразил, какой у него загорелый, поздоровевший вид и насколько подобная ситуация комично выглядит, но туг же почувствовал, что ему на это плевать. Его коллеги со своими аналитическими семинарами, воспитание подростков в духе гуманности, вхождение в мир других культур… все это больше не имело в его глазах ни малейшего значения. Кристиана сосала ему член и ухаживала за ним, когда он болел; только Кристиана имела значение. В ту же самую минуту он осознал, что никогда больше не увидит сына.

Патрис, сын Кристианы, устроил в квартире ужасающий бардак: раздавленные кусочки пиццы, коробки из-под колы, пол, усеянный окурками, местами обожженный. Она с минуту поколебалась, не отправиться ли в гостиницу;

потом решила сделать уборку, навести порядок. Нуайон был грязным городишком, неинтересным и опасным; она привыкла каждый уик-энд сбегать в Париж. Почти каждую субботу они ходили в заведения для парочек типа «2+2», «Крис и Ману», «Свечки». Их первому вечеру в «Крисе и Ману» суждено было оставить у Брюно живейшие воспоминания. Рядом с танцплощадкой располагалось несколько залов, залитых диковинным сиреневым светом; кровати были расставлены почти вплотную, бок о бок. Повсюду вокруг них трахались, предавались ласкам, лизали друг друга пары. Женщины в большинстве были обнажены, на некоторых оставалась блузка или тенниска, а иные ограничивались тем, что задирали юбку. В самом большом зале было десятка два парочек; почти никто не разговаривал; слышались только гул вентилятора да шумное дыхание женщин, близких к оргазму. Он уселся на кровать совсем рядом с крупной тяжелогрудой брюнеткой, которая предоставляла лизать себя субъекту лет пятидесяти, не снявшему рубашки и галстука. Кристиана расстегнула ему брюки и принялась массировать его штырь, с интересом поглядывая вокруг. Подошел мужчина, сунул руку ей под юбку. Она расстегнула застежку,

юбка соскользнула на палас; под ней ничего не было. Мужчина опустился на колени и стал ласкать ее, пока она занималась Брюно. Рядом, на соседней кровати, все громче и громче стонала брюнетка. Другая пара подошла и села сбоку от них; на женщине, рыжеволосой крошке лет двадцати, была мини-юбка из черной искусственной кожи. Она глянула на Кристиану; Кристиана улыбнулась, задрала тенниску, чтобы показать ей свои груди. Та подобрала юбку, показался лобок, густо заросший такой же рыжей шерсткой. Кристиана взяла ее руку и притянула к члену Брюно. Женщина принялась оглаживать его, в то время как Кристиана опять пустила в ход язык. Через несколько секунд, потрясенный необоримо сладостным содроганием, он извергся ей в лицо. «Я не хотел, — сказал он. — Прости». Она обняла его, прижалась, и он ощутил вкус своей спермы на ее щеках. «Это ничего, — сказала она нежно, — это совсем не важно». Чуть погодя спросила: «Хочешь, уйдем?» Он грустно кивнул; от его возбуждения и следа не осталось. Они торопливо оделись и сразу же ушли.

В следующие недели ему удавалось контролировать себя несколько лучше, и это было началом славной, счастливой поры. Его жизнь

приобрела смысл, который сводился к уик-эндам, проводимым с Кристианой. В медицинском разделе каталога Национальной ассоциации производителей он отыскал книгу, написанную американским сексологом, который намеревался с помощью серии упражнений, расположенных в порядке возрастания трудности, обучить мужчин управлять своей эякуляцией. В основном речь шла об укреплении малой дугообразной мышцы, расположенной под яичками, лобково-копчикового мускула. Посредством резкого сокращения этого мускула, сопровождаемого глубоким вздохом, в принципе возможно перед самым оргазмом избегнуть эякуляции. Брюно приступил к упражнениям; цель стоила того, чтобы постараться. Посещая известные заведения, он всякий раз поражался, видя, как мужчины, иногда намного старше его, трахают нескольких женщин поочередно, дают им динамить себя и сосать, отнюдь не теряя своей упругости. Смущало его и то, что пришлось констатировать: хвосты у большинства и длинней и толще его собственного. Кристиана твердила ему, что это не важно, для нее это не имеет никакого значения. Он ей верил, ведь она была в него влюблена; однако ему тем не менее казалось, что большинство

женщин, предававшихся утехам в этих местах, испытывали легкую досаду, стоило ему извлечь свой член. Они никогда не делали никаких замечаний, все были отменно любезны, там царила дружеская, вежливая атмосфера; но их взгляды были недвусмысленны, и ему мало-помалу открылось, что в сексуальном плане он тоже не совсем на высоте. Однако он испытывал моменты огромного, пламенного наслаждения на грани обморока, исторгавшие у него настоящие вопли; но это не могло служить доказательством мужской силы, а говорило скорее о тонкости, чувствительности его органов. Впрочем, в ласках он был весьма хорош, Кристиана говорила ему это, и он знал, что так и есть: ему почти всегда удавалось довести женщину до оргазма. Около середины декабря он заметил, что Кристиана слегка похудела, а лицо ее покрылось красными пятнами. Боль в спине все не унимается, сказала она, ей пришлось увеличить дозы лекарств; худоба и пятна — всего лишь побочное следствие приема медикаментов. Она быстро переменила тему разговора; он почувствовал, что ей не по себе, и несколько забеспокоился. Вне всякого сомнения, она способна солгать, чтобы не тревожить его: она была такой милой, такой нежной.

Обычно субботними вечерами она хлопотала на кухне, готовя очень вкусные обеды; потом они отправлялись в заведение. Она носила юбки с разрезом, короткие прозрачные блузочки, чулки с подвязками. Это были волшебные вечера, он никогда и не мечтал пережить такое. Подчас, когда Кристиана отдавалась после бурных ласк, сердце у нее заходилось, начинало бешено колотиться, она делала глубокий прерывистый вздох, и Брюно становилось страшно. Тогда они замирали; она свертывалась в его объятиях калачиком, обнимала его, гладила по голове и плечам.

21

Разумеется, и здесь тоже все было безысходно. Мужчины и женщины, посещающие заведения для парочек, быстро отказываются от поисков наслаждения (что требует тонкости, чувствительности, неторопливости) во имя фантазма сексуальной активносги, по сути довольно холодной, напрямую скалькированной со сцен группового секса в «модных» порно, распространяемых по «Каналь-плюс». В знак почтения к Карлу Марксу заложившему в фундамент своего учения, словно смертоносную энтелехию[12], загадочное понятие *сознательно направляемого падения нормы прибыли,* соблазнительно было бы постулировать в основе той системы либертианства, под знамя которой недавно вступили Брюно и Кристиана, существование определенным образом направленного падения нормы удовольствия; но это было бы слишком общо и неточно. Культурные, антропологические и прочие феномены, желание и наслаждение в конечном счете почти ничего не объясняют в

[12] Примечание: 12
Движущая сила, активное начало (греч.)

вопросах секса; будучи далеко не решающими факторами, они сами, напротив, в социологическом отношении насквозь детерминированы. В моногамной, то есть романтической, любовной системе эти вопросы могут быть разрешены лишь через посредство любимого существа, в принципе единственного. В либеральном же обществе, где жили Брюно и Кристиана, сексуальная модель, предлагаемая официальной культурой (рекламой, журналами, общественными организациями и здравоохранением), была моделью *авантюрной:* внутри такой системы желание и наслаждение предстают как результат процесса «соблазнения», выдвигающего на первый план новизну, страсть и личную изобретательность (качества, требуемые и от служащего в пределах его профессиональной деятельности). Умаление интеллектуальных и нравственных критериев соблазна за счет выпячивания чисто физических признаков мало-помалу подводило посетителей заведений для парочек к «садовской» системе, которую можно было бы определить как фантазм официальной культуры. В лоне такой системы половые члены неизменно жестки и громадны, груди насыщены силиконом, вагины слюнявы и очищены от волос. Читательницы «Соедине-

ния» или «Горячего видео», посетительницы заведений для парочек преследовали на этих сходках простую цель — напороться на множество больших членов. Обычно следующий этап их наслаждений определялся клубами МЧ (то есть Мужского Члена). Наслаждение — дело привычки, как, вероятно, сказал бы Паскаль, если бы интересовался вещами подобного рода.

Со своим тринадцатисантиметровым членом и редкими эрекциями (он никогда, не считая ранней юности, не мог держаться по-настоящему долго, да и латентные периоды между двумя эякуляциями с той поры существенно удлинились: конечно, ведь он был уже не столь молод) Брюно, в сущности, был совсем не к месту в заведениях подобного сорта. И все же он был счастлив, получая в свое распоряжение больше кисок и ртов, чем он когда-либо смел мечтать; он чувствовал, что обязан этим Кристиане. Самыми сладкими по-прежнему оставались те моменты, когда она ласкала других женщин; ее случайные подруги всегда выражали восхищение проворством ее языка, ловкостью, с которой пальцы нащупывали и возбуждали их клиторы; к несчастью, когда они решались воздать тем же, разочарование обычно оказывалось неизбежным. Их киски,

непомерно расширенные траханьем по цепочке и грубыми пальцами (ведь зачастую пускают в ход несколько пальцев разом, а то и всю руку), по части чувствительности больше всего напоминали шмат сала. Одержимые неистовым ритмом актрис групповых порнофильмов, они трясли его член так грубо, будто то был рычаг из бесчувственной материи, причем делали это со смешными ужимками игроков на корнет-а-пистоне (всздесущность музыки техно в ущерб ритмам более утонченной чувственности, без сомнения, также повлияла на тот крайне механистический стиль, в каком они исполняли свою повинность). Он извергался быстро и без настоящего удовольствия; для него вечер тем и завершался. Они оставались еще на полчаса-час; Кристиана отдавалась по цепочке, изо всех сил, пытаясь, как правило безуспешно, взбодрить этим его мужественность. Просыпаясь утром, они вновь занимались любовью; ночные картины возвращались к нему, полусонному, в более приятном обличье; тогда для них наступали моменты невыразимой нежности.

В сущности, идеально было бы пригласить к себе домой несколько избранных пар, провести вечер вместе за приятельской болтовней, со-

провождаемой ласками. Они наверняка так и сделают — подспудно Брюно был убежден в этом; надо бы ему также возобновить упражнения по укреплению мышцы, предлагаемые американским сексологом. Его история с Кристианой была важна и серьезна, никакое иное событие его жизни не доставило ему столько радости. По крайней мере, так он думал подчас, глядя, как она одевается или хлопочет на кухне. Однако когда во время рабочей недели она была вдали от него, им куда чаще овладевало предчувствие, что все это дурной фарс, последняя гнусная шутка, которую подстроила ему жизнь. Беда всего страшнее настигает нас, когда нам покажется, что возможность счастья реальна и вполне достижима.

Катастрофа разразилась в феврале, когда они были у «Криса и Ману». Растянувшись на матраце в центральной комнате, примостив голову на подушки, Брюно предоставил Кристиане сосать его; он держал ее за руку. Она стояла перед ним на коленях, раздвинув ноги, открыв зад мужчинам, которые, подходя к ней, натягивали презервативы и по очереди ею овладевали. Их прошло уже пятеро, а она ни на одного даже не взглянула; прикрыв, словно в полусне, глаза, она водила языком по члену Брюно, продвигаясь сан-

тиметр за сантиметром. Внезапно она коротко, резко вскрикнула. Тип позади нее, стриженый верзила, продолжал добросовестно трахать ее, мощно двигая бедрами; взгляд его был пуст и несколько рассеян. «Стойте! Прекратите!» — выдохнул Брюно; ему казалось, будто он кричит, но голос ему изменил, он издал лишь слабый взвизг. Он вскочил и грубо отпихнул типа, который обескураженно застыл с торчащим членом и болтающимися руками. Кристиана свалилась на бок; страдание исказило ее лицо. «Ты не можешь двинуться?» — спросил он. Она молча кивнула головой; он кинулся в бар, потребовал телефон. Команда «Скорой» прибыла через десять минут. Все участники уже были одеты; в полном молчании они смотрели, как медбратья поднимают Кристиану, кладут на носилки. Брюно вошел в машину скорой помощи, сел рядом с ней; они были в двух шагах от Центральной больницы. Он прождал несколько часов в коридоре с покрытым линолеумом полом, потом вышел дежурный интерн, сказал ему: она уснула, ее жизнь вне опасности.

Днем в воскресенье ей сделали пункцию костного мозга; Брюно пришел к семи. Уже стемнело, над Сеной моросил холодный мелкий дождь.

Кристиана сидела в кровати, опираясь спиной на гору подушек. Увидев его, она улыбнулась. Диагноз был однозначен: некроз копчикового отдела позвоночника в неизлечимой стадии. Последние несколько месяцев она этого ждала, все могло произойти с минуты на минуту; лекарства позволяли замедлить процесс, но отнюдь не остановить его. Теперь болезнь больше не будет прогрессировать, новых осложнений можно не опасаться; но ее ноги парализованы, и это необратимо.

Из больницы ее выписали десять дней спустя; Брюно ждал ее там. Кристиане полагалась отныне пенсия по инвалидности, она уже никогда не сможет работать; она даже имеет право на бесплатную помощь домработницы. Она покатила ему навстречу свое кресло. Двигалась она еще неуклюже — требовалось приналечь, а руки у нес были слабоваты в предплечье. Он поцеловал ее в щеки, потом в губы. «Теперь, — сказал он, — ты сможешь переехать ко мне. В Париж». Она подняла голову, поглядела ему в глаза; он не смог выдержать ее взгляда. «Ты уверен? — мягко спросила она. — Уверен, что это именно то, чего ты хочешь?» Он не ответил; по крайней мере, помедлил с ответом. Молчание длилось полми-

нуты, потом она прибавила: «Ты не обязан. У тебя не так много времени, чтобы жить; ты не обязан провести это время, нянчась с калекой». Установки современного сознания больше не согласуются с нашей смертной юдолью. Никогда, ни в одну эпоху, ни в одной цивилизации никто так долго, так постоянно не думал о своем возрасте; сейчас в уме каждого ясна простая перспектива будущего: придет час, когда сумма физических радостей, которые ему уготованы в жизни, станет меньше, чем сумма ожидающих его страданий (в общем, человек знает, что счетчик работает — и крутится он в одну сторону). Такое рациональное взвешивание радостей и страданий, которым каждому рано или поздно приходится заняться, начиная с известного возраста неизбежно ведет к мысли о суициде. Кстати, забавно отметить, что Делёз и Дебор, два уважаемых интеллектуала конца века, оба покончили с собой без определенной причины, исключительно потому, что ни тот ни другой не мог примириться с перспективой собственной физической деградации. Эти самоубийства никого не удивили, не вызвали никаких комментариев; сегодня суицид людей в возрасте, ставший отнюдь не редким явлением, чем дальше, тем больше представляется нам

поступком вполне логичным. Равным образом можно отметить как симптоматическую деталь реакцию публики на риск террористического покушения: чуть ли не во всех без исключения случаях люди предпочитают быть убитыми на месте, нежели покалеченными или даже просто изуродованными. Разумеется, отчасти дело в том, что некоторым просто поднадоела эта жизнь; но главное, ничто, включая самое смерть, не ужасает их так, как жизнь в ослабевшем теле.

Он свернул возле Лашапель-ан-Серваль. Проще всего было бы врезаться в дерево, проезжая через Компьеньский лес. Те несколько секунд в больнице, что он колебался, оказались роковыми; бедная Кристиана. К тому же он помедлил еще несколько дней, прежде чем ей позвонить; он знал, что она в своей дешевой квартире один на один с сыном, он представлял ее в кресле на колесах, рядом с телефоном. Он совсем не обязан нянчиться с калекой, так она сказала, и он знал, что она умирала без ожесточения. Покореженное кресло на колесах нашли подле почтовых ящиков, в конце последнего лестничного пролета. У нее было распухшее лицо и сломанная шея. Брюно фигурировал в рубрике «кого известить в случае несчастья»; она приняла решение, когда

ее положили в больницу.

Комплекс погребальных услуг располагался чуть на отшибе от Нуайона, на дороге, ведущей к Шони, повернуть надо было после Бабёфа. Двое служащих в голубой рабочей форме ждали его в белом строении, натопленном слишком жарко, со множеством батарей — помещение немного смахивало на лекционный зал технического лицея. В окнах виднелись низкие — в модерновом стиле — дома полуэлитарного жилого квартала. Гроб, еще открытый, стоял на раскладном столе. Брюно подошел, увидел тело Кристианы и почувствовал, что падает навзничь; его голова с силой ударилась об пол. Служители бережно подняли его. «Поплачьте! Надо поплакать!» — настойчиво уговаривал его старший из них. Он покачал головой; он знал, что не получится. Тело Кристианы не сможет больше двигаться, не сможет ни дышать, ни говорить. Тело Кристианы больше не сможет любить, никакая судьба уже невозможна для этого тела, и в этом повинен только он. На сей раз все карты сданы, игра сыграна до конца, последняя партия состоялась и закончилась окончательным проигрышем. Он тоже не был способен к любви, так же, как его родители. В состоянии странного онемения чувств, как будто

зависнув в нескольких сантиметрах над землей, он глядел, как служители при помощи гайковерта укрепляют крышку. Он проследовал за ними до «стены молчания» — серой бетонной стены высотой в три метра, где рядами, друг над другом располагались погребальные ячейки; около половины из них были пусты. Старший служитель, заглянув в какой-то список, направился к ячейке номер 632; его коллега вез следом гроб на двухколесной тележке. Погода была сырой, промозглой, даже дождь начал моросить. Ячейка номер 632 находилась ни высоко, ни низко — на высоте метр пятьдесят или около того. Гибким, деловитым движением, занявшим всего пару секунд, служители подняли гроб и вдвинули в ячейку. С помощью пневматического пистолета они распылили в полости немного сверхбыстро застывающего бетона; потом служитель дал Брюно расписаться в реестре. «Вы можете, — прибавил он, уходя, — помолиться здесь за упокой, если пожелаете».

Назад Брюно ехал по шоссе A1 и около одиннадцати уже добрался до столичной окраины. Он взял день отгула, так как не предполагал, что церемония окажется настолько короткой. Он проехал через Шатийонские ворота и, поискав, где бы

припарковаться, выбрал улицу Альбера Сореля, остановясь прямо напротив дома своей бывшей жены. Ждать пришлось недолго: минут через десять показался его сын — он с ранцем за спиной свернул с улицы Эрнеста Рейе. Он выглядел озабоченным и на ходу говорил сам с собой. О чем он может думать? Анна предупреждала, что этот мальчик — скорее одиночка; вместо того чтобы завтракать в коллеже вместе с однокашниками, он предпочитает вернуться домой и разогреть еду, которую она ему оставляет перед уходом. Страдал ли он из-за отсутствия отца? Вероятно, да, но он ничего об этом не говорил. Дети терпимо относятся к миру, созданному для них взрослыми; они стараются как можно лучше приспособиться к нему; потом чаще всего они в свой черед воссоздают такой же мир. Виктор подошел к двери, набрал код; он был всего в нескольких метрах от машины, но его не заметил. Брюно взялся за ручку дверцы, выпрямился на сиденье. Дверь дома закрылась за мальчиком; Брюно несколько секунд оставался в неподвижности, потом грузно обмяк на сиденье. Что он мог сказать своему сыну, какой завет передать ему? Ничего. У него ничего не было. Он знал, что его жизнь кончена, но не понимал этого конца. Все оставалось мрачным,

мучительным и невнятным.

Он тронулся с места и покатил по Южному шоссе, затем повернул в направлении Воаллана. Психиатрическая клиника министерства образования находилась неподалеку от Верьерле-Бюиссона, у самой опушки Верьерского леса; он хорошо помнил больничный парк. Он остановил машину на улице Виктора Консидерана и пешком преодолел те несколько метров, что отделяли его от ограды. Узнал дежурного фельдшера. И сказал: «Я вернулся».

22
Конечная станция – Саорж

Рекламные службы, слишком сосредоточенные на соблазнах молодежного рынка, часто заблуждаются, следуя стратегическим принципам, где обидная снисходительность соперничает с фарсом и насмешкой. Чтобы сгладить этот дефицит слуха, присущий обществу нашего типа, необходимо добиться, чтобы каждый сотрудник нашей армии продавцов стал «послом» в мире старших.

Корин Межи.
Истинное лицо старших

Может быть, все это и должно было так кончиться; возможно, не существовало ни каких-либо иных средств, ни другого исхода. Может быть, надо было распутать все то, что перемешалось, завершить то, что наметилось. Итак, Джерзински должен был оказаться в этом месте, именуемом Саорж, на 44° северной широты и 7°30' восточной долготы, в этом месте, расположенном чуть выше 500 метров над уровнем моря. В Ницце

он остановился в «Виндзоре», полулюксовом отеле с довольно мерзкой обстановкой, номера которого были оборудованы посредственным художником-декоратором Филиппом Переном. На следующее утро он сел в поезд, идущий из Ниццы в Танд, известный своими красотами. Поезд миновал предместье Ниццы с его кварталами арабской бедноты, с афишами «Розового минителя» и 60-процентным голосованием за Национальный фронт. Оставив позади станцию Пейон-Сен-Текль, он вошел в тоннель; по выходе его из тоннеля Джерзински увидел справа по движению поезда фантастические очертания как бы висящей в воздухе деревни Пейон. Перед ним проплывало то, что называют «окрестностями Ниццы»; люди приезжают из Чикаго и Денвера, чтобы взглянуть на красоты этого края. Потом они низверглись в ущелья Руайя. Джерзински вышел на остановке Фантон-Саорж и прошагал около получаса. Ему пришлось пройти пешком сквозь тоннель; машины здесь не ходили.

Согласно «Путеводителю странника», купленному Брюно в аэропорту Орли, расположенная над долиной деревня Саорж, с ее высокими домами, которые ступенями поднимаются по склону к головокружительной вершине, оставляет впе-

чатление «чего-то тибетского»; возможно, так оно и было. Во всяком случае, Жанин, его мать, поменявшая себе имя на Джейн, пожелала умереть именно здесь, после того как провела больше пяти лет в Гоа, в западной части Индии.

— Скорее всего, она просто решила переселиться сюда, помирать она, конечно, не собиралась, — уточнил Брюно. — Похоже, старая потаскуха перешла в ислам — через суфийский мистицизм, это чепуха того же рода. Обосновалась там с бандой последователей, они заняли брошенный дом на отшибе от деревни. Из-за того, что газеты о них больше не пишут, все вообразили, будто хиппи и вся эта шваль исчезли. А они, напротив, становятся все многочисленнее, с ростом безработицы их количество тоже заметно возросло, можно сказать даже, что они кишат. Я провел собственное маленькое расследование… — Он понизил голос. — Хитрость в том, что они теперь называют себя «неодеревенщиками», но, по существу, они ничего не делают, довольствуясь муниципальными пособиями и так называемой дотацией на земледелие в условиях гор.

Он с лукавым видом покачал головой, одним глотком осушил свой стакан и потребовал еще. Встречу с Мишелем он назначил в единственном

деревенском кафе «У Жилу». Со своими грязными почтовыми открытками, фотографиями форелей в рамочках и афишей «Саоржской пышки» (комитет директоров которой включал не менее четырнадцати членов), кафе являло собой заведение, где царил девиз «Охота-Рыбалка-Природа-Традиция», в противоположность злачным местечкам в стиле «Нью-Вудстока»[13], который Брюно яростно поносил. Он бережно извлек из папки листовку под заглавием СОЛИДАРНОСТЬ С ГИБНУЩИМИ АГНЦАМИ.

— Я это набросал сегодня ночью, — низким голосом выдавил он. — Я вчера вечером говорил со скотоводами. Их терпение кончилось, они в бешенстве, их овец буквально истребляют. Это все из-за экологов и Меркантурского национального парка. Они опять ввезли туда волков, полчища волков. Волки пожирают овец!.. — Его голос вдруг взмыл вверх, он разразился рыданиями. В послании к Мишелю Брюно сообщил, что опять живет в психиатрической клинике Верьер-ле-Бюиссон, где, вероятно, обосновался окончательно. Стало быть, они отпустили его.

---

[13] Примечание: 13

В 1969 году, в США, в Вудстоке, состоялся первый фестиваль поп-музыки, собравший большое количество народа и ставший важной вехой в развитии молодежного движения

— Значит, наша мать умирает… — прервал Мишель, стараясь отвлечь его.

— Это точно! И на мысе Агд то же самое, они там, кажется, запретили публике вторгаться в зону дюн. Решение было принято под давлением Общества защиты побережья, которое полностью в руках экологов. Люди не делали ничего плохого, устраивали невинные групповушки, но, видите ли, это беспокоило крачек. Крачки — это такая разновидность воробьев. В задницу воробьев! — возбудился Брюно. — Они хотят помешать нам трахаться и есть овечий сыр, это же сущие нацисты. Социалисты тоже сообщники. Они против овец, потому что овцы правые, в то время как волки — левые; однако волки похожи на немецких овчарок, те — правые экстремисты. Кому довериться? — Он мрачно покачал головой. — В каком отеле ты поселился в Ницце? — внезапно спросил он.

— В «Виндзоре».

— Почему в «Виндзоре»? — Брюно начал нервничать. — У тебя что, появился вкус к роскоши? Что на тебя нашло? Лично я, — он говорил рублеными фразами, с возрастающим жаром, — остаюсь верен отелям компании «Меркурий»! Ты хоть взял на себя труд навести справки? Известно

ли тебе, что в «Бухте Ангелов», отеле «Меркурия», есть сезонная система регрессивных тарифов? В мертвый сезон комната стоит 330 франков! Двухзвездочная цена! При комфорте трехзвездочного, с видом на Английский бульвар и круглосуточным обслуживанием! — Теперь Брюно уже почти орал. Несмотря на несколько экстравагантное поведение клиента, хозяин заведения «У Жилу» («Это его, что ли, зовут Жилу? Похоже на то») навострил уши. Истории о деньгах и соотношении между качеством и ценой всегда интересует многих, это примечательная особенность людей определенного склада.

— А, вот и Дюкон! — вдруг вскричал Брюно игривым тоном, совершенно переменившись и указывая на молодого человека, который только что вошел в кафе. Ему было, наверное, года двадцать два. Юноша был одет в полевую военную форму и гринписовскую майку, имел матовый цвет лица и черные волосы, заплетенные в мелкие косички, короче, все по «антильской» моде.

— Привет, Дюкон! — задорно выкрикнул Брюно. — Познакомься с моим братом. Пойдем повидаем старушку?

Тот ответил молчаливым кивком; решил, видно, по какой-то ему одному ведомой причине на

провокации не поддаваться.

Выведя их за пределы селения, дорога стала подниматься по отлогому склону горы в сторону итальянской границы. Они оставили позади высокий холм и вышли в очень широкую долину среди лесистых склонов; отсюда до границы оставалось не более десятка километров. На востоке виднелись снежные вершины. Ландшафт, абсолютно безлюдный, оставлял впечатление покоя и простора.

— Врач приходил снова, — сообщил Черный Хиппи. — Она нетранспортабельна, да и все равно ничего уже невозможно сделать. Закон природы, — с серьезным видом заключил он.

— Слыхал? — Брюно издевательски оскалился. — Слышишь, что он несет, этот шут гороховый? «Природа»! У них это слово с языка не сходит. Теперь, когда она заболела, им не терпится, чтобы она поскорее сдохла, как зверь в своей норе. Это моя мать, Дюкон! — провозгласил он напыщенно. — А заметил ты, какой в ней шик? — продолжал он. — Другие, они такие же, даже хуже. От них совсем обделаешься.

— Здесь очень милый пейзаж… — рассеянно отозвался Мишель.

Дом был просторный, низкий, из грубого камня,

крытый плитняком; он стоял у ручья. Прежде чем войти, Мишель вытащил из кармана фотоаппарат «Canon Prima Mini» (втягивающийся объектив с переменным фокусным расстоянием 38-105 мм, 1290 франков по каталогу Национальной закупочной ассоциации). Он огляделся вокруг, долго наводил на резкость, прежде чем щелкнуть; потом присоединился к остальным.

Не считая Черного Хиппи, в главной комнате находилось белобрысое невзрачное существо, которое вязало пончо, сидя у камина, и было, вероятно, голландского происхождения, а также еще один хиппи, постарше, с длинными седыми волосами и столь же седой бороденкой, с тонким лицом умной козы. «Она там», — сказал Черный Хиппи; он отодвинул кусок ткани, прибитый к стене вместо двери, и провел их в смежную комнату.

Мишель не без интереса разглядывал смугловатое иссохшее созданье, лежащее вмявшись в кровать и смотревшее, как они входят в комнату. Кроме всего прочего, это был не более чем второй и, судя по всему, последний раз в его жизни, когда он видел свою мать. С первого взгляда его потрясла ее крайняя худоба. Цвет лица сильно потемнел, стал землистым, она дышала с трудом,

было видно, что дошла до последней черты; скулы выперли, нос казался крючковатым, и все же глаза сверкали в потемках, громадные и светлые. Он на цыпочках приблизился к распростертому телу.

— Не трудись, — сказал Брюно, — она уже не может говорить.

Возможно, говорить она больше и не могла, однако было видно, что она в сознании. Узнала ли она его? Скорее всего нет. Похоже, она перепутала Мишеля с его отцом; это было вполне возможно; он знал, что невероятно похож на отца, когда тот был в его возрасте. Вопреки всему некоторые люди, хочется нам этого или нет, играют кардинальную роль в нашей судьбе, давая ей совершенно иной поворот; они как бы делят нашу жизнь надвое. И для Жанин, превратившейся в Джейн, все, что с ней было, делилось на до и после Марка Джерзински. По существу, до встречи с ним она была всего лишь богатой распутной буржуазкой; после же этой встречи ей было суждено стать чем-то совсем другим — вариант куда более катастрофический. Впрочем, «встреча» — не более чем расхожее выражение; потому что в действительности никакой встречи и не было. Они совокупились, зачали, и это было

все. Тайну, что скрывалась в глубине сознания Марка Джерзински, она так и не сумела постичь; ей не удалось даже приблизиться к разгадке. Вспомнила ли она об этом в час, когда ее жалкая жизнь подошла к концу? Это было бы не столь уж невероятно.

Брюно тяжело плюхнулся на стул подле ее кровати.

— Ты всего лишь старая шлюха, — сообщил он назидательным тоном. — Ты заслуживаешь того, чтобы околеть.

Мишель уселся напротив него, в изголовье кровати, и закурил сигарету.

— Ты хотела, чтобы тебя кремировали? — вдохновенно продолжил Брюно. — В добрый час, ты будешь сожжена. Я положу то, что от тебя останется, в горшочек и каждое утро, проснувшись, буду писать на твой прах. — Он удовлетворенно тряхнул головой.

Из охрипшего горла Джейн вырвался какой-то звук. В это мгновение снова появился Черный Хиппи.

— Не угодно ли чего-нибудь выпить? — предложил он ледяным тоном.

— Несомненно, приятель! — заорал Брюно. — Что за вопрос? А ну, пошевеливай-ка задницей,

Дюкон!

Молодой человек вышел и вернулся с бутылкой виски и двумя стаканами. Брюно налил себе до краев, разом проглотил добрую половину.

— Извините его, он взволнован, — чуть слышно шепнул Мишель.

— Вот-вот, — подхватил его сводный брат. — Предоставь нас нашей скорби, Дюкон. — Он опустошил свой стакан, прищелкнул языком, налил снова. — Эти педики, они стоят на страже, это в их интересах, — заметил он. — Она им завещала все, что имела, но они прекрасно знают, что дети имеют неотчуждаемые права на наследство. Пожелай мы оспорить завещание, дельце для нас было бы беспроигрышное.

Мишель промолчал, ему не хотелось обсуждать этот вопрос. Последовало довольно долгое молчание. В соседней комнате тоже никто не произносил ни звука; было слышно только резкое, слабеющее дыхание умирающей.

— Она хотела остаться молодой, вот и все, — сказал Мишель усталым, примирительным тоном. — Ее тянуло общаться с молодежью, а главное — не видеть своих детей, которые напоминали бы ей, что она принадлежит к старшему поколению. Это вполне объяснимо, да и понять

нетрудно. А теперь мне бы хотелось уйти. Ты думаешь, она скоро умрет?

Брюно пожал плечами: мол, а я почем знаю? Мишель встал и вышел в другую комнату; Седой Хиппи был теперь один, он занимался тем, что скреб экологически чистую морковку. Мишель попробовал его расспросить, узнать, что в точности сказал доктор; но старый маргинал смог предоставить лишь туманную, беспредметную информацию.

— Это была лучезарная женщина, — подчеркнул он, сжимая в руке морковь. — Мы считаем, что она готова к смерти, ибо она достигла достаточно высокого уровня духовного самоосуществления.

Что он хотел этим сказать? Вдаваться в подробности было бесполезно. Мишель повернулся к нему спиной и снова присоединился к Брюно.

— Эти болваны хиппи, — буркнул он, усаживаясь, — все еще пребывают в убеждении, будто религия есть индивидуальное состояние, основанное на медитации, духовных исканиях и тому подобном. Они не способны осознать, что это, напротив, в чистом виде общественная категория, которая базируется на установлениях, ритуалах, церемониях. Согласно Огюсту Конту, роль религии состоит исключительно в том, что-

бы привести род людской к состоянию полного единения.

— Сам ты Огюст Конт! — в ярости оборвал его Брюно. — С той минуты, когда перестаешь веровать в жизнь вечную, никакая религия более не существует. И если общество невозможно без религии, как ты, похоже, считаешь, то и общество тоже более не существует. Ты мне напоминаешь тех социологов, которые воображают, будто культ молодости зародился в пятидесятые годы, достиг своего апогея на протяжении восьмидесятых и так далее. А в действительности человека всегда пугала смерть, он никогда не мог смотреть без ужаса на перспективы собственного исчезновения и даже просто старения. Совершенно очевидно, что из всех земных благ молодость — самое драгоценное; а ныне мы больше не верим в блага земные. Если бы Христос не воскрес, как чистосердечно признается святой Павел, наша вера была бы тщетой. Христос не воскрес, он проиграл свою битву со смертью. Я написал сценарий райского фильма на тему нового Иерусалима. Действие происходит на острове, населенном исключительно голыми женщинами и маленькими собачками. Мужчины вследствие биологической катастрофы исчезли, так же как

почти весь животный мир. Время на острове остановилось, климат мягкий и ровный, деревья круглый год плодоносят. Женщины вечно свежи и в самом расцвете, собачки вечно резвы и игривы. Пока женщины купаются и ласкают друг друга, собачки шалят и скачут вокруг. Это собачки всех окрасов и пород: там есть пудели, фокстерьеры, брюссельские грифоны, китайские голые собачки, йоркширские терьеры, курчавые болонки, мопсы и коротконогие гончие. Единственный большой пес — Лабрадор, мудрый и кроткий, — играет при них роль советника. От существовавших некогда мужчин не осталось никакого следа, кроме единственной видеокассеты с подбором телевизионных выступлений Эдуара Балладюра; сия кассета производит успокоительное действие на некоторых женщин, а также на большинство собак. Имеется также кассета «Жизнь животных» с ведущим Клодом Дарже; ее никогда не смотрят, но она служит для памяти, как свидетельство варварства предшествующих эпох.

— Значит, они тебе разрешают писать, — мягко сказал Мишель. Его это не удивило. Большинство психиатров благодушно взирают на писанину своих пациентов. Не то чтобы они ей приписы-

вали какое-либо терапевтическое воздействие, но это, по их мнению, какое ни на есть занятие, оно все же лучше, чем распарывать себе запястье бритвой.

— И все же на этом острове случаются маленькие драмы, — взволнованным голосом продолжал Брюно. — Например, в один прекрасный день какой-нибудь отчаянный песик заплывает слишком далеко в море. К счастью, его хозяйка замечает, что он попал в трудное положение, прыгает в лодку, гребет что было сил и успевает вовремя выудить его из воды. Бедный маленький песик нахлебался воды, он без сознания, можно подумать, что он умирает, но хозяйка делает ему искусственное дыхание, ей удается его оживить, и все кончается очень хорошо, песик снова весел.

Он внезапно осекся. Теперь вид у него сделался торжественный, чуть ли не экстатический. Мишель посмотрел на часы, потом огляделся вокруг. Его мать больше не издавала ни звука. Было около полудня; в комнате царил удивительный покой. Он поднялся, вышел в соседнюю комнату. Седой Хиппи испарился, бросив морковь недочищенной. Мишель налил себе пива, подошел к окну. За ним на километры раскинулись поросшие

пихтами горные склоны. Вдали, среди снежных вершин, синело и мерцало озеро. Теплый воздух был напоен запахами; стоял прекрасный весенний день.

Трудно определить, сколько времени он простоял так, пока сознание его, оторвавшись от тела, мирно витало меж вершин. Его возвратил к действительности звук, который он поначалу принял за вой. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы привести в порядок свое слуховое восприятие, потом он торопливо устремился в другую комнату. Брюно, все еще сидящий в изножии кровати, пел во всю глотку:

Явились все, столпились здесь,
Едва услышав эту весть,
Что умирает маммаааа…[14]

Безрассудство; безрассудство, легкомыслие и шутовство — это свойственно роду людскому. Брюно встал и еще громче затянул следующий куплет:

Явились все, столпились здесь,
И даже дальняя родня,

---

[14] Примечание: 14
Известная песня Шарля Азнавура

И даже Джорджо, сын-беглец,
В семье паршивая овцаааа…

В тишине, наступившей после этой демонстрации вокального искусства, было ясно слышно жужжание мухи, пролетевшей через комнату, чтобы опуститься на лицо Джейн. Диптеры отличаются наличием одной пары перепончатых крыльев на втором сегменте торакса, пары равнотяжек (служащих для уравновешивания полета), размещенных на третьем сегменте торакса, и ротового отверстия, кусающего или сосущего. В тот момент, когда муха села на глазное яблоко, Мишелю пришло на ум некое предположение. Он подошел к Джейн, но не прикасался к ней.

— Полагаю, что она мертва, — сказал он, присмотревшись.

Врач без колебаний подтвердил этот диагноз. Он явился в сопровождении муниципального служащего, и тут начались проблемы.

— Куда вам желательно доставить тело? Может быть, в фамильный склеп?

У Мишеля не было на этот счет никаких идей, он чувствовал смущение и замешательство. Если бы они умели налаживать семейные отношения, отмеченные теплотой и привязанностью, им

не пришлось бы сидеть здесь, срамиться перед муниципальным служащим, который сохранял корректное обхождение. Брюно проявлял полнейшую незаинтересованность создавшимся положением; он уселся чуть поодаль и вызвал на свою переносную консоль «Минителя» фрагмент «Тетриса».

— Что ж, — снова заговорил служащий, — мы можем предложить вам место на кладбище в Саорже. Это будет для вас немного далековато, когда вы будете приезжать поклониться праху, раз вы не здешние; но с точки зрения транспортировки это, разумеется, было бы практичнее всего. Погребение может иметь место сегодня во второй половине дня, мы в данное время не слишком загружены. Полагаю, что проблем с разрешением на захоронение не возникнет.

— Нет-нет, никаких проблем! — отозвался врач с несколько преувеличенным жаром. — Бланки у меня с собой. — С игривой ухмылкой он помахал пачкой листков.

— Шлюха, я по горло сыт, — вполголоса пробубнил Брюно. И действительно, его «Минитель» передавал какую-то веселенькую музычку.

— Вы тоже согласны на погребение, господин Клеман? — повышая голос, осведомился служа-

щий.

— Вовсе нет! — Брюно резко выпрямился. — Моя мать хотела, чтобы ее кремировали, она придавала этому исключительное значение!

Служащий омрачился. В Саорже не было оборудования, необходимого для кремации; тут требуется весьма специфический инвентарь, объем спроса не оправдал бы его приобретения. Нет, по правде говоря, это ему представляется затруднительным.

— Такова была последняя воля моей матери, — изрек Брюно значительно.

Воцарилось молчание. Муниципальный служитель что было сил шевелил мозгами.

— В Ницце есть крематорий, — робко пробормотал он. — Можно было бы заказать транспорт в два конца, если вы не отказались от мысли о погребении на местном кладбище. Конечно, все расходы лягут на вас…

Никто не проронил в ответ ни слова.

— Так я позвоню, — продолжал он, — нужно выяснить, какие часы у них свободны.

Он раскрыл записную книжку, достал мобильный телефон и начал набирать номер, но тут опять вмешался Брюно.

— Оставим это, — он отмахнулся широким

жестом. — Закопаем ее здесь. Класть я хотел на ее последнюю волю. Заплати! — властно прибавил он, обернувшись к Мишелю.

Тот, не споря, вытащил чековую книжку и осведомился, сколько будет стоить место на кладбище на тридцать лет.

— Это правильное решение, — одобрил муниципальный служащий. — Пока что тридцатилетняя аренда, а дальше посмотрите.

Кладбище располагалось на сотню метров выше селения. Двое мужчин в голубой рабочей одежде несли гроб. Они выбрали обычную модель из белой пихтовой доски, запасы которой хранились на муниципальном складе; по-видимому, похоронные услуги здесь, в Саорже, были отлично организованы. Дело шло к вечеру, но солнце еще припекало. Брюно и Мишель шагали бок о бок в двух шагах позади гроба; Седой Хиппи шел рядом, он настоял на том, чтобы сопровождать Джейн до места ее последнего упокоения. Дорога была суха, камениста, и во всем этом, мнилось, был некий смысл. Хищная птица — вероятно, сарыч — низко плавала в воздухе.

— Это, должно быть, змеиный уголок, — заметил Брюно. Он подобрал белый заостренный камень. Перед самым поворотом дороги ко входу

на кладбище, словно в подтверждение его слов, меж двух кустов, растущих вдоль ограды, показалась гадюка; Брюно прицелился и что было сил швырнул камень. Тот врезался в стену и разлетелся, просвистев рядом с головкой рептилии.

— Змеям отведено свое место в природе, — не без торжественности произнес Седой Хиппи.

— Природа?! Да мне начхать на нее, приятель! Насрать мне на нее! — Брюно опять вышел из себя. — Дерьмо твоя природа… Моя задница — вот и вся природа! — в ярости бубнил он еще некоторое время. Тем не менее с той минуты, когда опустили гроб, он вел себя корректно, ограничиваясь лишь сдержанным бормотанием и мотанием головой, как будто происходящее натолкнуло его на новые размышления, которые, однако, еще слишком туманны, чтобы можно было выразить их вразумительно.

По окончании церемонии Мишель выдал двум служителям щедрые чаевые — он предполагал, что так велит обычай. Ему оставалась четверть часа, чтобы успеть на поезд; Брюно решил уехать с ним.

Братья распрощались на вокзале в Ницце. Они еще этого не знали, но им уже никогда не суждено было увидеться.

— Тебе неплохо живется в твоей клинике? — спросил Мишель.

— Ну да, само собой, житуха мирная, мой литий всегда при мне. — Брюно заговорщицки хихикнул. — Я не сразу туда вернусь, устрою себе трясучую ночку. Пойду в бар со шлюхами, их в Ницце полно. — Он наморщил лоб, омрачился. — С литием у меня больше совсем не встает, ну да ладно, все равно я это дело люблю.

Мишель рассеянно кивнул, вошел в вагон: у него было зарезервировано спальное место.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ

1

Возвратившись в Париж, он обнаружил в ящике письмо от Деплешена. Согласно пункту 66 внутреннего распорядка Национального совета по научным исследованиям, ему надлежит за два месяца до истечения оговоренного отпуска ходатайствовать либо о его продлении, либо о своем возвращении к работе. Письмо было учтиво, исполнено юмора, Деплешен иронизировал над бюрократическими ограничениями, тем не менее запаздывание уже превысило трехнедельный срок. Он положил письмо на стол, глубокая неуверенность овладела им. В течение года он был волен самостоятельно определять круг своих изысканий — и чего же он достиг? В конечном счете почти что ничего. Включив свой мини-компьютер, он с отвращением констатировал, что его e-mail обогатился двумя десятками новых страниц; а между тем он отсутствовал всего лишь двое суток. Одно из сообщений исходило от Института молекулярной биологии в Палезо. Та коллега, что заняла его место, запустила в действие программу исследований по ДНК митохондрий: она — в отличие от ядерного ДНК — как представлялось,

была лишена механизмов коррекции генного кода, пострадавшего от воздействия свободных радикалов; по сути, здесь сюрприза не было. Из университета в Огайо исходила информация по-интереснее: в ходе опытов с сахаромицетами[15] там выяснили, что при воспроизведении половым путем их разновидности эволюционируют не так быстро, как при размножении посредством клонирования; следовательно, в этом случае алеаторные мутации продуктивнее, нежели естественная селекция. Экспериментальная схема была любопытна и явно противоречила классической гипотезе полового воспроизведения как двигателя эволюции; но это в любом случае больше не представляло иного интереса, кроме анекдотического. Как только генетический код будет расшифрован полностью (а это уже вопрос не лет, но месяцев), человечество получит возможность контролировать свою собственную биологическую эволюцию; тогда сексуальность со всей очевидностью предстанет тем, чем и является: функцией бесполезной, опасной и регрессивной. Но даже если удастся обнаруживать появление мутаций, то есть рассчитывать их

[15] Примечание: 15
Грибки, вызывающие брожение в сладком растворе

возможный пагубный эффект, ничто в настоящее время не может пролить малейший свет на то, насколько они детерминированы; следовательно, не будет и способа найти им конкретное применение. Однако, по всей видимости, именно в этом направлении надлежит вести дальнейшие исследования.

Избавленный от папок и книг, загромождавших все полки, кабинет Деплешена казался огромным.

— Ну да, — молвил он со слабой улыбкой. — В конце месяца ухожу на пенсию.

Джерзински застыл с разинутым ртом. Общаешься с человеком годами, иногда десятилетиями, мало-помалу привыкая избегать личных вопросов и по-настоящему важных тем; но хранишь надежду, что позже, в более благоприятных обстоятельствах, конечно же, будет еще время подступиться к этим темам, этим вопросам; бес конечно отодвигаемая перспектива более тесного человеческого контакта никогда не исчезает полностью просто потому, что это невозможно, поскольку никакое общение между людьми не укладывается в неумолимо узкие, застывшие рамки. Таким образом, впереди всегда брезжит перспектива «подлинных и глубоких» отноше-

ний; она может просуществовать годы, подчас десятки лет, до тех пор, пока какое-нибудь решительное и беспощадное обстоятельство (обычно кончина или смертельная болезнь) не возвестит нам, что слишком поздно, что эти самые «глубокие и подлинные» отношения. мечту о которых мы лелеяли, не осуществятся, так же как не сбылось и все остальное. За все пятнадцать лет своей профессиональной деятельности он, кроме Деплешена, не знал никого, с кем ему бы хотелось наладить контакт, выходящий за границы простого сотрудничества, от случая к случаю, чисто утилитарного. безмерно скучного, которым и создастся естественная атмосфера жизни конторы. Что ж, не вышло. Он ошеломленно уставился на картонные коробки с книгами, громоздящиеся на полу кабинета.

— Думаю, нам стоит пойти куда-нибудь пропустить стаканчик, — предложил Деплешен, безошибочно уловив специфику момента.

Миновав музей д'0рсэ, они расположились на террасе «Девятнадцатый век». За соседним столиком оживленно щебетала дюжина итальянских туристов. Джерзински потребовал себе пива, Деплешен заказал неразбавленное ирландское виски.

— Чем вы теперь думаете заняться?

— Не знаю. — Деплешен, похоже, действительно не знал. — Поездить… Может быть, немножко сексуального туризма. — Он усмехнулся; когда он улыбался, его лицо все еще становилось обаятельным; то был горький шарм разуверившегося человека, сохранившего тем не менее неотразимое очарование. — Я пошутил… Сказать по правде, меня это больше совсем не интересует. Знание, да… Жажда познания осталась. Забавная это штука, жажда познания. Она свойственна очень немногим, даже среди ученых; большинство удовлетворяется тем, что делает карьеру, они быстро переходят в администраторы; однако для истории человечества она страшно важна, эта жажда. Представьте себе сюжет, в котором маленькая группа людей — всего несколько сот человек на всей планете — одержимо преследует очень сложные, очень отвлеченные, абсолютно непостижимые для непосвященных цели. Эти люди навеки остаются неизвестными для большей части населения; нет у них ни власти, ни богатства, ни почестей; никто даже не в состоянии понять того наслаждения, что доставляет им их скромная деятельность. Однако же они — важнейшая из мировых сил, по той простой

причине, что в их руках ключ к рациональной достоверности. Все то, что они объявляют истинным, рано или поздно признает таковым большинство населения. Никакая власть, экономическая, политическая, общественная или религиозная, самоочевидным образом не в состоянии противиться обоснованной разумом истинности. Можно говорить, что Запад сверх всякой меры интересуется философией и политикой, что он абсолютно неразумно ломает копья вокруг философских и политических вопросов; можно также утверждать, что Запад страстно любит литературу и искусство; но на самом деле ничто не играет в его истории столь основательной роли, как потребность в рациональной достоверности. В конечном счете Запад готов во имя этой потребности пожертвовать всем: религией, счастьем, своими надеждами и, наконец, самой жизнью. Это факт, о котором надо бы не забывать, когда хочешь вынести обобщенное суждение о западной цивилизации.

Деплешен задумался. Его взгляд, с минуту проблуждав среди столиков, остановился на стакане.

— Вспоминаю одного парня, я с ним познакомился в первом классе лицея, когда мне было

шестнадцать. Он был из таких… Очень сложный, очень беспокойный. Происходил из богатой, довольно патриархальной семьи, да к тому же в полной мере разделял все понятия своего круга. Однажды во время спора он сказал мне: «Ценность религии определяется качеством морали, в ней заложенной». Я лишился языка от неожиданности и восхищения. Так и не знаю, сам ли по себе он дошел до такого заключения или где-то вычитал этот тезис; в любом случае его фраза меня чрезвычайно поразила. Вот уже сорок лет размышляю о ней и вот сегодня пришел к мысли, что он ошибался. Мне кажется невозможным в отношении религии становиться исключительно на точку зрения морали; однако же Кант не без причины утверждал, что сам Спаситель рода людского должен подчиняться универсальным законам всемирной нравственности. Но я пришел к мысли, что религии суть прежде всего попытки объяснения мира, а никакая подобная попытка не может быть состоятельной, если она противоречит нашей потребности в рациональной достоверности. Математическое доказательство, экспериментальный подход — это высшие достижения человеческого сознания. Я прекрасно сознаю, что на первый взгляд факты меня опро-

вергают, понимаю, что ислам — похоже, самая глупая, самая лживая и обскурантистская из всех религий — в настоящее время, по-видимому, перешла в наступление; но все это не более чем поверхностные и преходящие явления; в долгосрочной перспективе ислам обречен, его крах еще более неотвратим, чем крах христианства.

Джерзински поднял голову; он слушал очень внимательно. Он никогда не предполагал, что Деплешена волнуют подобные вопросы; а тот между тем, поколебавшись, продолжал:

— После получения степени бакалавра я потерял Филиппа из виду, а через несколько лет узнал, что он покончил с собой. В конечном счете не думаю, чтобы здесь была связь: быть одновременно гомосексуалистом, католиком-фундаменталистом и роялистом — это, надо полагать, как бы то ни было, нелегкое сочетание.

В эти минуты Джерзински понял, что сам он в глубине души никогда не был по-настоящему одержим религиозными проблемами. Однако он сознавал, и уже очень давно, что материалистическая метафизика, сначала сокрушив религиозные верования предыдущего столетия, сама была уничтожена новейшими достижениями физики. Любопытно, что ни он, ни кто-либо

из физиков, с которыми ему доводилось сталкиваться, никогда не испытывали ни малейшего беспокойства или сомнения, связанного с проблемами духа.

— Что до меня лично, — сказал Мишель, как только эта мысль оформилась в его мозгу, — мне кажется, я должен держаться прагматического позитивизма как фундамента, на котором, в общем, зиждется работа исследователя. Существуют факты, они взаимосвязаны закономерностями, понятие причинности ненаучно. Мир равен сумме тех знаний, которые мы о нем имеем.

— Я больше не ученый, — отвечал Деплешсн с обезоруживающей простотой. — Наверное, потому-то я и позволил запоздалым метафизическим вопросам так меня захлестнуть. Но вы, разумеется, правы. Надо продолжать искать, экспериментировать, открывать новые законы, а прочее не имеет никакого значения. Вспомните Паскаля: «В общем надо сказать: это создается посредством образа и движения, ибо это истинно. Но сказать, какое оно, и создать машину — это смешно, потому что бесполезно, и ненадежно, и мучительно». Конечно, повторю еще раз, что прав именно он, он, а не Декарт. Кстати, вы решили, что собираетесь делать? Я об этом спрашиваю

из-за… — он сделал извиняющийся жест, — из-за этой истории с истекшим сроком.

— Да. Мне надо получить место в Голуэйском исследовательском центре, в Ирландии. Необходимо быстро произвести некоторые приготовления к простым опытам с целой гаммой радиоактивных меток при постоянной температуре и давлении. Но прежде всего мне потребуется большая вычислительная база, и, кажется, там имеется для этого нужное оборудование.

— Вы думаете о новом направлении исследований? — Голос Деплешена дрогнул, выдавая крайнюю степень волнения; он и сам это заметил, и снова на его губах появилась улыбка, казалось говорившая, что он сам себе смешон; он мягко добавил: — Жажда познания…

— Я считаю ошибочным, что мы намерены исходить только из естественной ДНК. Молекула ДНК сложна, ее эволюция до некоторой степени подвластна случайности: здесь имеет место неоправданная избыточность, длинные цепочки, не кодирующие информацию, да и еще невесть что. Если действительно хочешь изучить условия мутации в общем и целом, надо как исходный материал взять более простые самовоспроизводящиеся молекулы, в которых число связей не

превышает нескольких сотен.

Дсплешен помотал головой; глаза его разгорелись, он больше не пытался скрыть охватившее его возбуждение. Итальянские туристы между тем разошлись; в кафе, кроме них, никого не осталось.

— Дело это, разумеется, очень долгое, — продолжал Мишель, — структуры, подверженные мутации, не имеют априорных отличий. Но здесь должны быть предпосылки структурной стабильности на субатомном уровне. Если удастся произвести расчет стабильной структуры, хотя бы относительно нескольких сотен атомов, вопрос останется всего один — о силе воздействия… В конце концов я, кажется, немного продвинулся.

— Все это неопределенно… — Голос Деплешена прозвучал на сей раз мечтательно и протяжно, как у человека, прозревающего бесконечно отдаленные перспективы, вглядывающегося в призрачные, неведомые умопостроения.

— Мне необходима возможность работать совершенно независимо, вне иерархии Исследовательского центра. Тут есть вещи, допустимые лишь в качестве чистой гипотезы; объяснять это слишком долго, слишком трудно.

— Само собой. Я напишу Уолкотту, он руководитель Центра. Это славный малый, он не будет вам ставить палки в колеса. Вы ведь, помнится, в свое время уже работали с ними? Та история с коровами…

— Это все пустяки.

— Не беспокойтесь. Я ухожу на пенсию, — на сей раз в его усмешке промелькнула горечь, — но моего влияния еще хватит, чтобы это устроить. В административном плане вы будете сохранять положение временно откомандированного, возобновляемое из года в год, так долго, как пожелаете. Кто бы ни стал моим преемником, нет ни малейшей опасности, что это решение может быть пересмотрено.

Чуть позже они распрощались возле Пон-Руаяль. Дсплешен протянул Мишелю руку. У него не было сына, его сексуальные пристрастия лишили его такой возможности, а идея брака по дружескому согласию всегда казалась ему смехотворной. За те несколько секунд, пока длилось их рукопожатие, он осознал, что испытывает нечто из области возвышенных переживаний; потом он сказал себе, что смертельно устал; потом повернулся и зашагал прочь по набережной, мимо лавок букинистов. А Джерзински минуту-другую

еще смотрел вслед человеку, уходившему вдаль в свете гаснущего дня.

2

На следующий вечер, обедая у Аннабель, он объяснил ей очень доходчиво, четко и аргументирование, почему ему необходимо отправиться в Ирландию. Для него программа, которую надлежало выполнить, теперь вполне определилась, все предстало в отчетливой взаимосвязи. Суть состояла в том, чтобы не сосредоточиваться на одной ДНК, а рассматривать живое существо во всей его целостности как самовоспроизводящую систему.

Сначала Аннабель ничего не отвечала; она пыталась скрыть смятение и не могла, ее рот слегка искривился. Потом налила ему вина; в этот вечер она приготовила рыбу, и ее квартирка больше, чем когда-либо, напоминала корабельную каюту.

— Ты не предложил взять меня с собой… — Эти слова прозвучали в тишине; и молчание последовало за ними. — Тебе это даже в голову не пришло, — сказала она с изумлением и ребяческой досадой; потом разразилась рыданиями. Он не шелохнулся; если бы в эту минуту он подошел к ней, она бы, конечно, его оттолкнула; людям

приходится плакать, иногда им только это и остается. — А ведь мы хорошо ладили, когда нам было двенадцать, — пробормотала она сквозь слезы. Потом подняла на него глаза. Лицо редчайшей, чистой красоты. — Сделай мне ребенка. Мне нужно, чтобы рядом кто-то был. Разумеется, тебе не придется ни растить его, ни заниматься им, у тебя даже не будет надобности с ним знакомиться. Я не прошу тебя любить — ни его, ни меня; просто сделай мне ребенка. Знаю, мне сорок лет: пусть так, я рискну Теперь это мой последний шанс. Иногда я сожалею о своих абортах. Однако первый мужчина, от которого я забеременела, был дерьмом, второй — безответственным ничтожеством; когда мне было семнадцать, я и представить себе не могла, насколько коротка жизнь, как недолговечны наши возможности.

Чтобы выкроить время на размышление, Мишель закурил сигарету.

— Это странная идея, — пробормотал он сквозь зубы. — Странная идея — воспроизводить себя для жизни, которой не любишь.

Аннабель поднялась, стала одну за другой сбрасывать одежды.

— Как бы то ни было, давай займемся любовью, — сказала она. — Мы не делали этого по

крайней мере месяц. С тех пор как я прекратила прием таблеток, прошло две недели, и день у меня сегодня благоприятный.

Она прижала ладони к своему животу, потом ее руки скользнули к груди, она слегка раздвинула бедра. Аннабель была прекрасна, желанна, полна любви; почему же он ничего не чувствовал? Это было необъяснимо. Он закурил новую сигарету, но вдруг заметил, что его раздумья ни к чему не ведут. Сделать ребенка, не делать его — все это не из области решений, к которым человеческому существу дано прийти рациональным путем. Он раздавил окурок в пепельнице и буркнул:

— Согласен.

Аннабель помогла ему раздеться и легонько потеребила штырек, чтобы он смог в нее войти. Он не ощутил ничего особенного, кроме нежности и жара ее влагалища. Вскоре он замер без движения, пораженный геометрической очевидностью спаривания, очарованный упругостью и роскошеством слизистых оболочек. Аннабель прижалась губами к его губам, обвила его руками. Он закрыл глаза, яснее почувствовал свой собственный половой орган и возобновил движение вверх-вниз. Незадолго до эякуляции его посетило видение — до предела отчетливое — слияния

гамет и тотчас вслед за этим первого клеточного деления. Это было как бы забеганием вперед, маленьким самоубийством. Волна осознания этого прилила к члену, он почувствовал, как сперма хлынула из него. Аннабель это тоже ощутила; у нее вырвался глубокий вздох; потом оба остались лежать без движения.

— Вам бы еще месяц назад следовало прийти сдать мазок, — усталым голосом сказал гинеколог. — Вместо этого вы прекратили прием таблеток, не посоветовавшись со мной, и вам вздумалось забеременеть. А вы ведь уже не девочка!

Воздух в кабинете врача был холоден и малость сыроват; выйдя оттуда, Аннабель удивилась сиянию июньского солнца.

На следующий день она позвонила. Клеточное исследование указывало на «достаточно серьезные аномалии»; требовалось сделать биопсию и соскоб слизистой оболочки матки.

— Что до беременности, совершенно очевидно, что сейчас лучше временно отказаться от нее. Не лучше ли повторить то же самое на здоровой основе?.. — Голос врача был не обеспокоенный, а как бы чуть скучающий.

Итак, Аннабель пережила свой третий аборт

— зародышу было не более двух недель, так что хватило краткой аспирации. Аппаратура сильно усовершенствовалась со времени ее последней операции, так что, к ее немалому удивлению, все завершилось меньше чем за десять минут. Результаты анализа были получены через три дня.

— Что ж, — врач выглядел ужасающе старым, компетентным и печальным, — к несчастью, я полагаю, что у вас рак матки в прединвазионной стадии. — Он снова водрузил на нос очки, еще раз заглянул в бланки; выражение сугубой компетентности при этом заметно усилилось. Он не испытывал подлинного удивления: рак матки часто постигает женщин в годы, предшествующие менопаузе, а то обстоятельство, что у нее не было детей, усугубляло фактор риска. Методы лечения были известны, тут у него не было ни малейших сомнений. — Следует произвести брюшную гистерэктомию и билатеральную сальпинго-офориэктомию. В наше время такие операции прекрасно освоены, риск осложнений близок к нулю.

Он взглянул на Аннабель: плохо дело, она не реагирует, застыла в полнейшем ошеломлении; вероятно, это предвестие нервного припадка. Обычно врачам в таких ситуациях рекомендует-

ся направлять пациентку к психотерапевту, на поддерживающий курс — он приготовил листок с адресами, — а главное, напирать на «ударную мысль»: утрата способности к деторождению вовсе не означает конец сексуальной жизни; у некоторых пациенток, напротив, желания заметно обостряются.

— Значит, у меня вырежут матку… — проговорила она недоверчиво.

— Матку, яичники и фаллопиевы трубы; таким образом, исключается всякий риск распространения болезни. Я вам пропишу замещающее гормональное лечение — впрочем, его прописывают все чаще даже в ситуации простой менопаузы.

Она возвратилась к своим родным в Креси-ан-Бри; операцию назначили на 17 июля. Мишель вместе с ее матерью провожал Аннабель в больницу в Мо. Страха она не испытывала. Хирургическая операция заняла чуть больше двух часов. Очнулась она на следующее утро. В окне она увидела голубое небо, деревья, шевелящиеся на легком ветру. Она практически ничего не чувствовала. Ей хотелось посмотреть на шрам внизу живота, но она не решилась просить об этом сиделку. Странно было подумать, что она

та же самая женщина, но ее детородные органы отторгнуты от нее. Слово «ампутация» некоторое время вертелось у нее в голове, потом его заменил более жестокий образ. «Меня выпотрошили, — прошептала она, — они выпотрошили меня, как курицу».

Через неделю она вышла из больницы. Мишель написал Уолкотту, предупредил, что его отъезд откладывается; после некоторых колебаний он согласился поселиться у ее родителей, в прежней комнате ее брата. Аннабель заметила, что за то время, что она провела в клинике, он подружился с ее матерью. Да и ее старший брат охотнее появлялся дома с тех пор, как там поселился Мишель. По существу, им почти не о чем было говорить: Мишель ничего не смыслил в проблемах мелкого бизнеса, а Жан-Пьеру оставались абсолютно чуждыми вопросы, связанные с исследованиями в области молекулярной биологии; тем не менее в конце концов вокруг вечернего аперитива образовалось полуфиктивное мужское содружество. Ей полагалось отдыхать и, главное, избегать поднимать тяжести; но теперь она уже могла мыться самостоятельно и нормально питаться. В послеполуденные часы она сидела в саду, Мишель вместе с ее матерью собирал клубнику

или сливы. Это было вроде каких-то диковинных каникул или возврата в детство. Она чувствовала ласку солнечных лучей на своем лице и руках. Чаще всего она сидела тихо в полной праздности, иногда она вышивала или мастерила из плюша игрушки для своего племянника и племянниц. Психиатр из Мо прописал ей снотворное и довольно большие дозы транквилизаторов. Так или иначе, она много спала, и все ее сны были неизменно мирными и счастливыми; возможности души безмерны, когда она находится в своих владениях. Мишель лежал в ее постели с ней рядом; его рука обнимала ее талию, он ощущал, как равномерно вздымается и опадает ее грудь. Психиатр регулярно навещал ее, беспокоился, бубнил сквозь зубы, говорил об «утрате адекватности во взаимоотношениях с действительностью». Она стала очень нежной, немножко странной, часто смеялась без причины; порой случалось и так, что ее глаза вдруг наполнялись слезами. Тогда она принимала дополнительную дозу терциана.

В конце третьей недели она уже начала выходить, смогла совершать короткие прогулки по берегу реки или в окрестных лесах. Стоял исключительно погожий август; дни проходили чередой, одинаковые, сияющие, без намека на

опасность грозы, да и без каких-либо других предвестий конца. Мишель держал ее за руку; часто они сидели рядом на скамейке на берегу Гран-Морен. Прибрежные травы были иссушены чуть не добела; река под сенью буков катила вдаль свои нескончаемые темно-зеленые волны. Внешний мир жил по своим собственным законам, и они не были человеческими.

3

Двадцать пятого августа контрольные анализы выявили метастазы в брюшной полости; обычно в таких случаях их разрастание продолжается, рак быстро распространяется. Можно попробовать прибегнуть к радиотерапии. Собственно говоря, это и было единственным возможным средством; но не следовало обманывать себя, речь шла о тяжелом лечении, и шансы излечения не превышали 50 процентов.

Обед проходил в нестерпимой тишине.

— Тебя вылечат, маленькая моя, — сказала мать Аннабель, и ее голос слегка задрожал.

Аннабель обняла мать за шею, прислонилась лбом к ее лбу; в этой позе они пробыли около минуты. Когда мать отправилась спать, Аннабель поплелась в гостиную, полистала там какие-то книги. Мишель сидел в кресле и следил за ней глазами.

— Можно посоветоваться с кем-нибудь еще, — произнес он после долгого молчания.

— Конечно, — отвечала она беспечно.

Она не могла заниматься любовью: шрам был слишком свеж и слишком болезнен; но она долго

сжимала его в объятиях. Слышала, как он в тишине скрипит зубами. Был момент, когда она, проведя ладонью по его лицу, заметила, что оно мокро от слез. Она стала нежно ласкать его член, это возбуждало и одновременно умиротворяло. Он принял две таблетки мепронизина и в конце концов уснул.

Около трех часов ночи она встала, накинула халат и спустилась в кухню. Порывшись в буфете, она отыскала пиалу, на которой было выгравировано ее имя, — крестная подарила ее Аннабель, когда ей исполнилось десять лет. В пиале она тщательно растолкла содержимое тюбика рогипнола, прибавив немного сахара и воды. Она не чувствовала ничего, кроме некоей обобщенно-умозрительной, почти метафизической печали. Так устроена жизнь, думала она; в ее теле произошел сбой, непредвиденный, беспричинный разлад; теперь это тело больше не могло быть источником радости и счастья. Оно, напротив, постепенно, но, по сути, довольно быстро станет для нее самой, как и для окружающих, источником тягот и мучений. Следовательно, ее тело должно быть уничтожено. Массивные деревянные часы на стене громко отсчитывали секунды; они достались матери от ее бабушки, которая владела

ими еще тогда, когда выходила замуж, это была самая старинная вещь в доме. Она добавила в пиалу еще немножко сахара. В ее психологическом настрое не было и тени примиренности, жизнь казалась ей всего лишь скверной шуткой. Как ни пытайся к ней приспособиться, а уж она такова. За краткие недели своей болезни она с поразительной быстротой дозрела до чувства, которое столь часто встречается у стариков: она не желала быть для других обузой. С тех пор как для нее миновала отроческая пора, ее жизнь покатилась очень быстро; потом настал длительный период скуки; к концу все опять стало раскручиваться с дикой скоростью.

Незадолго до рассвета Мишель, перевернувшись в постели с боку на бок, заметил, что Аннабель нет рядом. Он оделся, сошел вниз: на диване в гостиной было распростерто ее бесчувственное тело. Рядом, на столе, лежало оставленное ею письмо. Первая фраза звучала так: «Я предпочитаю умереть среди тех, кого люблю».

Главный врач службы скорой помощи больницы в Мо был человеком лет тридцати с темными курчавыми волосами, с открытым лицом; он сразу произвел на них самое благоприятное впечатление. Мало шансов, что она очнется, сказал

он; они могут остаться подле нее, он лично не усматривает в этом ничего неподобающего. Кома — состояние странное, малоизученное. Он был почти уверен, что Аннабель не воспринимает их присутствия; тем не менее слабая электрическая активность в ее мозгу сохранялась; она, должно быть, как-то соотносится с мыслительной активностью, природа каковой абсолютно таинственна. Сам по себе медицинский прогноз был отнюдь не утешителен: известны случаи, когда больной, проведя в глубокой коме несколько недель, а то и месяцев, вдруг разом возвращался к жизни; чаще же всего, увы, состояние комы так же внезапно переходит в смерть. Ей не более сорока лет, по меньшей мере есть основания не сомневаться, что сердце выдержит; в настоящий момент это все, что можно сказать.

Над городом разгорался день. Сидя рядом с Мишелем, брат Аннабель все бормотал, качая головой. «Это невозможно… Это невозможно…» будто слова властны что-то изменить. Но на самом деле это возможно. Все возможно. Мимо прошла медсестра, катя перед собой металлическую тележку, в которой позвякивали бутылки с сывороткой.

Немного погодя солнце прорвалось сквозь

облака, и небо засинело. День обещал быть прекрасным, таким же дивным, как предыдущие. Мать Аннабель с трудом поднялась на ноги. «Надо немного передохнуть», — сказала она, превозмогая дрожь в голосе. Ее сын в свой черед тоже встал, бессильно опустив руки, и, словно автомат, пошел за ней. Мишель покачал головой, без слов отказываясь уйти с ними. Он не испытывал никакой усталости. В последующие минуты он главным образом ощущал странность присутствия видимого мира. Он сидел один в залитом солнцем коридоре, на плетеном пластиковом стуле. В этом крыле больничного здания царил невероятный покой. Вдалеке время от времени открывалась дверь, оттуда выходила медицинская сестра, направляясь в другое отделение. Шумы города, долетая снизу через несколько этажей, звучали совсем приглушенно. В состоянии абсолютной внутренней отрешенности он вглядывался в сцепление обстоятельств, в детали той машины, что переехала их жизни. Все выглядело бесповоротным, ясным и неопровержимым. Представало в неколебимой очевидности завершенного прошлого. Ныне кажется почти неправдоподобным, чтобы семнадцатилетняя девушка могла проявить такую наивность; но

главное, трудно поверить, чтобы в семнадцать лет девушка придавала такое значение любви. Со времени юности Аннабель прошло двадцать пять лет, и если верить результатам опросов и утверждениям газет, все очень переменилось. Нынешние девушки были более осмотрительны и более рациональны. Их прежде всего занимала собственная школьная успеваемость, они старались перво-наперво обеспечить себе в будущем приличную карьеру. Встречи с парнями для них не более чем каникулярное времяпрепровождение, развлечение, примерно в равных долях состоящее из сексуального удовольствия и нарциссического самолюбования. Впоследствии они стремятся заключить разумный брак на основе достаточного социо-профессионального соответствия и определенного совпадения вкусов. Разумеется, они тем самым лишали себя всех возможностей счастья — таковые, будучи неотъемлемым свойством синкретичного и регрессивного состояния души, противоречат расхожему опыту здравомыслия, — зато они рассчитывали таким манером избежать нравственных и сердечных мук, что терзали их предшественниц. Впрочем, эти надежды вскоре рушатся; на деле треволнения страстей, исчезнув из обихода,

оставляют по себе большой простор для скуки, ощущение пустоты, беспокойного ожидания старости и смерти… Вторая половина жизни Аннабель была много печальнее и мрачнее первой; под конец ей не суждено было сохранить ни малейшего воспоминания об этой поре.

Примерно в полдень Мишель толкнул дверь ее палаты. Дыхание больной было до крайности слабым, простыня, прикрывавшая грудь, почти не шевелилась — тем не менее, по словам врача, этого было достаточно для снабжения тканей кислородом; если дыхание еще больше ослабеет, придется подумать о том, чтобы применить вспомогательный вентиляционный аппарат. Пока что у нее повыше локтя торчала игла капельницы, к темени прикрепили электрод, и это было все. Солнечный луч пронизывал белоснежную простыню, сверкал в прядях ее чудесных светлых волос. Ее лицо с закрытыми глазами, лишь чуть более бледное, чем обычно, казалось бесконечно умиротворенным. Было похоже, будто ее покинули все страхи; никогда еще она не казалась Мишелю такой счастливой. Верно и то, что он всегда был склонен путать счастье с комой; но тем не менее она ему казалась счастливой безмерно. Он провел рукой по ее волосам, поце-

ловал в лоб, в теплые губы. Это явно случилось слишком поздно; и все же это было хорошо. Он пробыл в ее палате до позднего вечера. Возвратившись в коридор, раскрыл книгу буддийских медитаций, собранных доктором Эвансом Венцем (он несколько месяцев таскал эту книжицу в кармане; она была совсем маленькая, в темно-красной обложке).

Пусть все люди на Востоке,

Пусть все люди на Западе,

Пусть все люди на Севере,

Пусть все люди на Юге

Будут счастливы и хранят свое счастье;

Да живут они без вражды.

Так случилось не только по их вине, думал он; они жили в бедственном мире, мире соревнования и борьбы, суетности и насилия; гармонического мира они не знали. С другой стороны, они ничего не сделали, чтобы изменить этот мир, ничего не привнесли в его улучшение. Он сказал себе, что ему следовало сделать Аннабель ребенка; потом он вдруг вспомнил, что сделал его или, вернее, сделал что мог для этого, по крайней мере

согласился на такую перспективу; эта мысль наполнила его радостью. Тогда он понял, откуда взялись умиротворение и нежность, которыми дышали эти последние недели. Теперь он ничего больше не мог, в империи недуга и смерти никто ничего не может; но хотя бы несколько недель она прожила с чувством, что любима.

Если помыслы человека устремлены к любви,

Если он отрешился от низменных наслаждении,

Отсек цепи страстей

И обратил взоры свои к Пути,

Если он соблюдает на деле высший принцип любви,

То он возродится на небе Брахмы,

Быстро получит Освобождение

И навеки достигнет областей Абсолюта.

Если он не лишает жизни других и не желает им зла,

Не стремится себя утвердить, унижая себе подобных,

И живет по закону всемирной любви,

То сердце его перед смертью не будет обременено ненавистью.

Вечером мать Аннабель присоединилась к нему, она пришла посмотреть, нет ли чего-нибудь нового. Нет, ситуация не развивалась; состояние глубокой комы способно быть весьма долгим и стабильным, как терпеливо напомнила ей медсестра, порой месяцы проходят, прежде чем становится возможным прогнозировать что-либо определенное. Она вошла к дочери, но через минуту вышла, рыдая. «Я не могу понять… — выговорила она, качая головой. — Не понимаю, как устроена жизнь. Знаете, это была такая хорошая девочка. Всегда сердечная, без фокусов. Не жаловалась, но я знала, что счастливой она не была. Она прожила не такую жизнь, какой заслуживала».

Немного погодя она удалилась, было заметно, что мужество покидает ее. А ему, как ни странно, не хотелось ни есть, ни спать. Он прошелся по коридору, спустился вниз, в холл. Антилец, дежуривший на входе, решал кроссворд; он кивнул ему. Мишель взял на раздаче чашку горячего какао, подошел к окну. В проеме между

многоэтажками плыла луна; автомобили то и дело проезжали взад-вперед по авеню Шалон. Он достаточно разбирался в медицине, чтобы понимать, что жизнь Аннабель висит на волоске. Ее мать была права, не желая осознать это; человек по самой своей природе не приемлет смерти: ни своей, ни чужой. Мишель подошел к привратнику, спросил, не одолжит ли он ему листок бумаги; тот, несколько озадаченный, протянул ему пачку бланков с больничным грифом (именно этот гриф впоследствии дал Хюбчеяку возможность идентифицировать текст, выделив его из массы заметок, найденных в Клифдене). Некоторые человеческие существа яростно цепляются за жизнь, они теряют ее, как говорил Руссо, неохотно; с Аннабель, как он уже понимал, все совсем по-другому.

Она была дитя, рожденное для счастья,

И сердца не было прекрасней и щедрей,

Жизнь отдала б она, будь это в ее власти,

За неродившихся своих детей.

Но в детских криках, да,

В крови грядущей смены
Навек ее мечта
Останется нетленной,
И след ее всегда
Пребудет во Вселенной.

Его и плоть хранит.
Священная отныне,
И воздух, и гранит,
Речные воды, иней,
И небеса, представшие иными.

Ты там лежишь сейчас
В предсмертной коме,
Спокойная, как будто в дреме,
Такой вот, любящей, ты и уйдешь от нас.

Остынут наши мертвые тела,
Травой мы станем – такова реальность,
Нас ждет небытие, пустая мгла,
Где исчезает индивидуальность.

Так мало мы любили, Аннабель,

В своем земном существованье!

Быть может, солнце над могилой, дождь, метель

Конец подарят нашему страданью.

4

Аннабель умерла два дня спустя, и для семьи это было, возможно, к лучшему. Когда заходит речь о чьей-нибудь кончине, люди всегда склонны изрекать пошлости подобного рода; но ее матери и брату в самом деле трудно было бы вынести состояние неопределенности, если бы оно затянулось.

В здании из светлого железобетона, том самом, где некогда скончалась его бабушка, Джерзински снова, во второй раз, пережил ощущение всесилия пустоты. Он пересек палату и приблизился к мертвой Аннабель. Это тело было точь-в-точь таким же, каким он знал его, с той лишь разницей, что из него медленно утекало живое тепло. Теперь эта плоть почти совсем остыла.

Некоторые умудряются дожить до семидесяти, если не восьмидесяти лет, воображая, будто впереди еще возможно что-то новое, что приключение, как говорится, поджидает их за углом; в конечном счете, их надо просто-напросто прикончить, чтобы вразумить или хотя бы изувечить, доведя до состояния глубокой инвалидности. Не таков был Мишель Джерзински. Свою мужскую

жизнь он провел в одиночестве, в звездной пустоте. Он внес вклад в прогресс науки; это было его призванием, способом самовыражения, приложения своих природных способностей; что до любви, то он не знал ее. Аннабель, несмотря на ее красоту, не дано было стать любимой; а теперь она была мертва. Ее тело покоилось на низком столе, ярко освещенное, отныне бесполезное, не более чем мертвый груз. Потом гроб накрыли крышкой.

В своем прощальном письме она выразила желание, чтобы ее кремировали. Перед церемонией они пили кофе в одном из больничных залов для посетителей; за соседним столиком цыган под капельницей болтал о тачках с двумя приятелями, пришедшими его навестить. Освещение было тусклое — несколько потолочных светильников в обрамлении неприглядных украшений, приводящих на память гигантские пробковые поплавки.

Они вышли из здания, под яркое солнце. Службы крематория располагались неподалеку от больничных корпусов, это был единый комплекс. Зал кремации представлял собой просторный куб из светлого бетона, в середине которого имелось такое же белое возвышение; реверберация

слепила глаза. Струйки жаркого воздуха вились вокруг них, будто мириады крохотных змей.

Гроб водрузили на передвижную платформу, которая должна была доставить его в недра печи. Полминуты всеобщей сосредоточенности — и служитель включил механизм. Зубчатые колеса, на которых двигалась платформа, легонько скрипели; дверь закрылась. Иллюминатор из жаростойкого стекла позволял наблюдать за сожжением. В момент, когда из громадных форсунок рванулось пламя, Мишель отвернулся. Еще около двадцати секунд он углом глаза видел багровые отсветы огня; потом все кончилось. Служитель сгреб пепел в маленький ящичек из светлой пихты в форме параллелепипеда и передал его старшему брату Аннабель.

Они поехали назад в Креси; машина двигалась медленно. Солнце играло в листве каштанов аллеи Ратуши. Той самой аллеи, где они с Аннабель бродили двадцать пять лет назад, после окончания школьных занятий. В саду перед особнячком ее матери собрались люди — человек пятнадцать. Младший брат Аннабель по такому случаю приехал из Соединенных Штатов; он был тощ, нервен, заметно подавлен, одет немного слишком элегантно.

Аннабель просила, чтобы ее прах рассеяли в саду возле дома матери; это также было исполнено. Солнце начинало клониться к закату. Это была пыль — светлая, почти белая пыль. Она мягко, словно туман, опустилась на землю среди розовых кустов. В это мгновение издали, с железнодорожного переезда, послышался звон. Мишелю вспомнились их послеполуденные встречи, когда ему было пятнадцать лет, как Аннабель ждала его на вокзале, как она бросалась ему на шею. Он смотрел на землю, на солнце, на розы, на упругий ковер травы. Непостижимо. Присутствующие хранили молчание; мать Аннабель налила всем вина — помянуть. Она подала ему стакан, заглянула в глаза. «Если хотите, вы могли бы остаться на несколько дней, Мишель», — тихо сказала она. Нет, он уедет; он будет работать. Он ничего другого не умеет. Ему почудилось, будто небо прорезал луч; он понял, что плачет.

5

В то мгновение, когда самолет сближался с облачным потолком, простиравшимся в бескрайность под неразличимым небом, ему представилось, что вся его жизнь была дорогой, ведущей к этой минуте. Еще через несколько секунд он уже не видел ничего, кроме необъятного лазурного купола, а внизу расстилалось безграничное волнистое поле, там сверкающая белизна сочеталась с белизной матовой; потом они вошли в промежуточную переливчато-серую зону, где взгляд терялся в тумане. А внизу, в мире людей, были луга, животные, деревья; все было зеленым, влажным и неимоверно отчетливым.

В Шаннонском аэропорту его ждал Уолкотт. Это был коренастый мужчина, быстрый в движениях; его четко очерченную плешь обрамлял венчик светло-рыжих волос. Он на хорошей скорости повел свою «тойоту-старлет» среди туманных пастбищ и холмов. Центр располагался чуть севернее Голуэя, на территории Росскахиллской коммуны. Уолкотт показал ему оборудование, познакомил с техническим персоналом; они бу-

дут в его распоряжении для проведения опытов, для программирования расчета молекулярных структур. Оборудование было сплошь новейшего образца, чистота в залах безукоризненная — комплекс финансировался из фондов ЕЭС. В рефрижераторном зале Джерзински бросились в глаза две громадные ЭВМ в форме башен, их контрольные панели светились в полумраке. Заключенные в них миллионы процессоров, предназначенных для параллельной обработки данных, уже готовы проинтегрировать лагранжевы функции, волновые уравнения, данные спектроскопии, многочлены Эрмита — вот он, тот мир, в котором отныне и впредь будет протекать его жизнь. Скрестив руки на груди, крепко прижимая их к телу, он пытался, но все не мог прогнать печаль, ощущение холода, идущего изнутри. Уолкотт порекомендовал ему кафе с автоматической раздачей. Из его широченных окон можно было разглядеть зеленеющие склоны, которые обрывались в темные воды озера Лох-Корриб.

Спускаясь по дороге, ведущей в Росскахилл, они проезжали луг на пологом горном склоне, где проходило стадо коров; животные были размером поменьше обычных, красивой светло-

коричневой масти.

— Узнаете? — с улыбкой спросил Уолкотт. — Да… это потомки первых коров, полученных в результате ваших усилий, с тех пор уже десять лет прошло. Мы в ту пору были совсем маленьким, довольно плохо оборудованным центром, вы нас здорово подтолкнули. Они крепкие, размножаются без затруднений и дают превосходное молоко. Хотите посмотреть на них?

Он затормозил у перекрестка. Джерзински подошел к низенькой каменной ограде, окружавшей луг. Коровы спокойно щипали траву, терлись головами о бока своих товарок; две или три прилегли. Генетический код, управляющий репликацией их клеток, был создан им или, по меньшей мере, он его усовершенствовал. Для них он должен быть чем-то вроде Господа Бога; а между тем его присутствие им, похоже, безразлично. Гряда тумана ползла с вершины холма, постепенно скрывая стадо из виду. Он вернулся к машине.

Сев за руль, Уолкотт закурил «Кревен»; дождь заливал ветровое стекло. Своим мягким, сдержанным тоном (однако эта сдержанность, по-видимому, отнюдь не говорила о равнодушии) он спросил:

— У вас случилось горе?

И тут Мишель поведал ему всю историю Аннабель, вплоть до самого финала. Уолкотт слушал, изредка покачивая головой или вздыхая. Когда рассказ кончился, он, не прерывая молчания, раскурил новую сигарету, потом затушил ее и сказал:

— Я происхожу не из Ирландии. Родился в Кембридже и, похоже, в большой степени так и остался англичанином. Часто говорят, что англичан отличают такие достоинства, как хладнокровие и самообладание, а также манера воспринимать жизненные обстоятельства — в том числе трагические — с юмором. Примерно так оно и есть; и это полнейшее идиотство с их стороны. Юмор не спасает; в конечном счете от юмора нет почти что никакого толку. Можно долго с юмором относиться к явлениям действительности, это порой продолжается многие годы; в иных случаях удается сохранять юмористическую позу чуть ли не до гробовой доски; но в конце концов жизнь разбивает вам сердце. Сколько бы ни было отваги, хладнокровия и юмора, хоть всю жизнь развивай в себе эти качества, всегда кончаешь тем, что сердце разбито. А значит, хватит смеяться. В итоге остаются только

одиночество, холод и молчание. Ничего нет в конечном счете, кроме смерти.

Он включил дворники, снова завел мотор.

— Здесь много католиков, — прибавил он еще. — Но все меняется, к тому идет. Ирландия модернизируется. Многие высокотехнологичные предприятия встали на ноги, пользуясь уменьшением социальных выплат и налогов — в этом регионе мы имеем «Роч» и «Лилли». И, само собой, «Майкрософт»: вся здешняя молодежь мечтает работать на «Майкрософт». К мессе теперь ходят реже, сексуальной свободы стало больше, чем несколько лет назад, и дискотек все больше, и антидепрессантов тоже. Короче, все по классическому сценарию…

Они ехали вдоль берега озера. Солнце проглянуло сквозь гряду тумана, расцветив водную поверхность радужными разводами.

— Однако, — продолжал Уолкотт, — католицизм все еще здесь остается в большой силе. К примеру, большая часть технического персонала Центра — католики. Это не способствует моему сближению с ними. Они корректны, учтивы, но смотрят на меня отчасти как на чужака, с которым по-настоящему не потолкуешь.

Солнце окончательно выпуталось из тума-

на, вокруг него образовался круг безупречной синевы; и стало ясно видно озеро, все целиком залитое потоками света. На горизонте горные цепи Твелв Бенс накладывались друг на друга в гамме бледнеющего серого цвета, будто кадры с кинопленки сна. Оба молчали. Когда въезжали в Голуэй, Уолкотт заговорил снова:

— Я остался атеистом, но могу понять, как здесь становятся католиками. Это в некотором отношении совсем особенный край. Все постоянно дрожит, и трава на лугах, и водная поверхность, все как будто указывает на некое присутствие. Свет мягок и подвижен, словно меняющаяся материя. Сами увидите. Здесь небо и то живое.

6

Он нанял квартиру близ Клифдена, на Скайроуд, в старом помещении береговой охраны, переоборудованном в гостиницу для туристов. Украшением комнат служили прялки, керосиновые лампы, короче, старинные предметы, призванные радовать глаз туристов; ему это не мешало. Он знал: в этом доме, да и вообще в жизни ему отныне суждено чувствовать себя как в гостинице.

У него отнюдь не было намерения вернуться во Францию, но в первые недели ему пришлось несколько раз ездить в Париж — заниматься продажей квартиры и переводом счетов. Он вылетал рейсом 11.50 из Шаннона. Самолет летел над морем, солнце добела раскаляло водную гладь; волны напоминали червей, которые переплетаются и грызут друг друга на огромных пространствах. Он знал, что под этой гигантской пеленой червей плодятся моллюски, грызущие их плоть; тех пожирают острозубые рыбы, которых потом заглатывают другие рыбы, покрупнее. Часто он задремывал, ему снились дурные сны. Когда он просыпался, самолет уже летел над сель-

ской местностью. В своем полусне он дивился, отчего это поля имеют такой однообразный цвет. Они были коричневыми, иногда зелеными, но всегда блеклыми. Парижское предместье было серым. Самолет терял высоту, медленно опускался, неуклонно притягиваемый земной жизнью, дыханием миллионов существ.

Начиная с середины октября полуостров Клифден поглотил густой туман, приносимый прямиком с Атлантики. Последние туристы разъехались. Было не холодно, однако все тонуло в мягкой, глубокой серости. Джерзински редко выходил наружу. Он привез с собой три съемных винчестера с базой данных более чем в сорок гигабайт. Время от времени он включал микрокомпьютер, немного занимался молекулярными структурами, потом ложился на свою великанскую кровать, кладя пачку сигарет на расстояние вытянутой руки В Центр он пока не возвращался. За оконным стеклом медленно ворочались клубы тумана.

Около 20 ноября небо очистилось, погода стала холоднее и суше. Он завел привычку совершать длительные пешие прогулки по береговой дороге. Минуя Гортрамнаг и Ноккавалли, он чаще всего доходил до Кладдегдаффа, иной раз и до Огрус

Пойнта. Тогда он оказывался на самой западной оконечности Европы, в крайней точке западного мира. Перед ним простирался Атлантический океан, четыре тысячи километров воды отделяли его от Америки.

Если верить Хюбчеяку, эти два или три месяца одиноких раздумий Джерзински ничего не делал, не поставил ни одного эксперимента, не программировал никаких расчетов, надобно признать самым важным периодом, в течение которого наметились главные элементы его позднейших концепций. Так или иначе, последние месяцы 1999 года были для всего европейского населения в целом странной порой, отмеченной особыми ожиданиями, чем-то вроде глухого предчувствия.

Тридцать первое декабря 1999 года пришлось на пятницу. В клинике Верьер-ле-Бюиссон, где Брюно суждено было провести остаток дней, был устроен маленький праздник, общий для пациентов и обслуживающего персонала. Пили шампанское, закусывая чипсами с паприкой. Позже, в разгар вечеринки, Брюно танцевал с медсестрой. Он не чувствовал себя несчастным; лекарства делали свое, и все желания в нем были мертвы. Он любил поесть, пристрастился к

телеиграм — зрелищу, которое перед ужином смотрели все сообща. От смены дней он больше ничего не ждал, и этот последний вечер второго тысячелетия прошел для него недурно.

На погостах всего мира недавно почившие продолжали гнить в своих могилах, мало-помалу превращаясь в скелеты.

Мишель провел вечер у себя дома. Его мысли бродили слишком далеко, чтобы он мог расслышать эхо празднества, разгоревшегося в поселке. Несколько раз его посещали воспоминания об Аннабель — смягченные временем мирные картины; образ бабушки тоже являлся ему.

Он припомнил, как в возрасте лет тринадцати-четырнадцати он покупал карманные фонарики, маленькие механические устройства, которые ему нравилось без конца разбирать и собирать снова. Вспомнился и самолетик с мотором, подаренный бабушкой, который ему никогда не удавалось поднять в воздух. Это был красивый самолет цвета хаки; в конце концов он так и остался лежать в коробке. Его бытие, освещенное токами воспоминаний, похоже, было наделено некоторыми индивидуальными чертами. Есть существа, и есть мысли. Мысли не занимают места. Существа же оккупируют часть простран-

ства; мы видим их. Их образ формируется на кристаллике, проникает сквозь влагу слизистой оболочки глаза, попадает на сетчатку. Один в пустом доме, Мишель присутствовал на скромном шествии воспоминаний. На протяжении вечера в его мозг мало-помалу проникала, наполняя его, единственная непреложная уверенность: скоро он сможет опять приняться за работу.

Повсюду на поверхности планеты род людской, усталый, вымотанный, сомневающийся в самом себе и в собственной истории, худо ли бедно, готовился вступить в новое тысячелетие.

7

Кое-кто говорит:

«Наша новая цивилизация еще так молода, еще так непрочна,

Только-только пробились мы к свету,

Мы все еще носим в себе опасную память о прежних веках,

мы ее не изжили сполна,

Может быть, лучше не бередить, не затрагивать это?»

Тут рассказчик встает, собирается с мыслями, напоминает,

Спокойно, но твердо напоминает

О том, что в мире произошла метафизическая революция.

Точно так же, как христиане могли размышлять об античности,

изучать историю древнего мира,

не рискуя вернуться к язычеству, усомниться в Христе,

Потому что они перешли уже некий

рубеж,

Шагнули на следующий уровень,

Миновали водораздел;

И как люди эпохи материализма могли созерцать

христианскую службу невидящим взором,

оставаясь глухими к ее содержанию,

Как читали они христианские книги, принадлежавшие их же культуре,

взглядом чуть ли не антропологов, изучающих каменный век,

Не умея понять, что же так волновало их предков

в спорах вокруг благодати или определения греха;

Так же и мы в состоянии сегодня выслушать эту историю

из прошлой эпохи,

Просто как повесть о людях минувших времен.

Эта повесть печальна, но нас не встревожит,

не вызовет слезы и вздохи,

Ибо мы не похожи нисколько на этих людей.

Порожденье их плоти, дети их грез,

мы отвергли их ценности, их представления,

Нам непонятны их радости, как и томления,

Мы отринули

С легкостью,

Без усилья,

Их пронизанный смертью мир.

Те столетия боли и горя без меры

Мы сегодня должны из забвенья вернуть.

Безвозвратно окончилась старая эра,

Мы свободны вершить независимый путь.

Между 1905 и 1915 годами Альберт Эйнштейн, почти совсем один, притом, обладая ограниченными математическими познаниями, смог — исходя из первоначально интуитивной догадки, предопределившей принципы собственно

теории относительности, — разработать общую теорию гравитации, пространства и времени, которой предстояло оказать решающее воздействие на развитие позднейшей астрофизики. Этот дерзкий, одинокий труд, совершившись, по выражению Гилберта, «к чести человеческого разума» в области, по видимости далекой от какой-либо полезной практики, и в эпоху, непригодную для создания исследовательских сообществ, можно сравнить с работами Кантора, создавшего типологию становящейся бесконечности, или Готлоба Фреге, пересмотревшего основания логики. Равным образом, как подчеркивает Хюбчеяк в своем предисловии к «Клифденским заметкам», можно уподобить его одиноким интеллектуальным усилиям, между 2000 и 2009 годами предпринятым в Клифдене Джерзински, — тем паче что Джерзински еще в большей мере, чем в свое время Эйнштейну, не хватало математического обеспечения, чтобы подвести под свои догадки по-настоящему строгий фундамент.

Тем не менее первая публикация Джерзински — «Топология редукционного деления клетки», — выйдя в свет в 2002 году, вызвала довольно заметный резонанс. Там содержалось утверждение, впервые обоснованное неопровержимыми

аргументами из области термодинамики, что хромосомное деление, происходящее в момент мейоза с целью зарождения гаплоидных гамет, в себе самом содержит источник структурной нестабильности; иначе говоря, что всякий биологический вид, имеющий пол, неизбежно смертен.

Опубликованные в 2004 году «Три вероятности топологии гилбертовых пространств» были встречены с удивлением. Эту работу можно рассматривать как опровержение динамики континуума и как попытку — со странными обертонами платонизма — нового обоснования топологической алгебры. Признавая интерес представленных автором вероятностей, математики-профессионалы не преминули подчеркнуть недостаток строгости в его пропозициях, известный анахронизм в самом характере подхода к вопросу. И в самом деле, Хюбчеяк признает, что Джерзински в ту пору не имел доступа к новейшим математическим публикациям, создается даже впечатление, что он уже и не слишком интересовался ими. По существу, мы располагаем очень ограниченным числом свидетельств его деятельности в 2004-2007 годах. Он регулярно наезжал в голуэйский Центр, но его отношения с

другими экспериментаторами оставались сугубо профессиональными и функциональными. Он приобрел некоторые рудиментарные компоненты ассемблера «Крей», что в большинстве случаев избавляло его от надобности обращаться к помощи программистов. Один только Уолкотт, похоже, поддерживал с ним более личные отношения. Он и сам жил близ Клифдена и порой на склоне дня наносил ему визиты. По его свидетельству Джерзински часто вспоминал Огюста Конта, в особенности его письма к Клотильде де Во и «Субъективный синтез» — последнее, незаконченное произведение философа. К тому же в плане научной методики Конт может быть признан подлинным основоположником позитивизма. Никакая метафизика, никакая онтология, признаваемая в ту эпоху, не имела в его глазах ни малейшей цены. Весьма вероятно даже, как подчеркивал Джерзински, что Конт, поставленный в ту же интеллектуальную ситуацию, в какой между 1924-м и 1927-м оказался Нильс Бор, непреклонно сохранял бы свои позитивистские принципы, то есть присоединился бы к копенгагенскому направлению. В любом случае настойчивость французского философа в утверждении реальности социальных функций

по отношению к условности индивидуального бытия, его постоянно возобновляющийся интерес к историческим процессам и течениям общественной мысли, а в особенности его обостренная чувствительность заставляют предположить, что у него, вероятно, не вызвал бы протеста новейший проект онтологического преобразования, получивший обоснование со времени выхода в свет работ Зурека, Зее и Хардкастла: проект замены онтологии объектов онтологией социальных сообществ. Ведь действительно, только онтология сообщества способна возродить на практике возможность человеческих отношений. В этатистской онтологии частицы неразличимы, при характеристике их следует ограничиваться аспектом их наблюдаемой «численности». Единственные сущности, способные в такой онтологии быть выделенными и обозначенными, суть волновые функции и определяемые при их посредстве векторы состояния — отсюда аналогичная возможность возвратить смысл понятиям братства, симпатии и любви.

Они шагали по Балликоннильской дороге; океан мерцал у их ног. Вдали, на горизонте, над Атлантикой садилось солнце. У Уолкотта все чаще создавалось впечатление, что мысли

Джерзински бродят в туманных, если не мистических сферах. Сам-то он оставался сторонником радикального инструментализма; наследник традиций англосаксонского прагматизма, к тому же несущий на себе печать влияния трудов Венского кружка[16], он с легким недоверием относился к сочинениям Конта, в его глазах они были слишком романтичны. Позитивизм в противоположность материализму, на смену которому он пришел, может, подчеркивал Уолкотт, стать основанием нового гуманизма, который на самом-то деле возникнет впервые (поскольку материализм по самой сути несовместим с гуманизмом, недаром он его в конце концов разрушил). Что отнюдь не исключает исторической роли материализма: следовало преодолеть первый барьер, то есть Бога; преодолев его, люди впали в растерянность и сомнение. Но сегодня и этот второй барьер рухнул, это свершилось в Копенгагене. У них больше нет надобности ни в Боге, ни в идее запредельной реальности. «Существуют, — говорил Уолкотт, — человеческие восприятия, человеческие свидетельства, человеческий опыт; есть разум, связывающий

[16] Примечание: 16

Философский кружок, сложившийся в Вене в 1922 году и разработавший основы логического позитивизма

эти перцепции воедино, и чувство, оживляющее их. Все это развивается помимо всяческой метафизики или какой бы то ни было онтологии. Нам уже не требуются идеи Бога, природы или реальности. На основании экспериментальных данных внутри сообщества наблюдателей согласие может быть установлено на рациональной межличностной основе; связь между опытами устанавливается посредством теорий, которые по мере возможности обязаны удовлетворять принципу экономии и непременно должны быть спорными. Есть мир воспринимаемый, мир ощущаемый, мир человеческий».

Его позиция была неуязвима, Джерзински сознавал это: разве потребность в онтологии не была детской болезнью человеческого разума? К концу 2005 года он во время поездки в Дублин случайно обнаружил «Книгу кельтов». Хюбчеяк утверждает без колебаний, что встрече с этой красочной, в формальном отношении чудовищно сложной рукописью, по всей вероятности созданной монахом-ирландцем в VII веке нашей эры, было суждено стать поворотным пунктом в развитии его мысли и что продолжительное созерцание сего труда позволило ему в результате серии прозрений, которые задним числом

обретают в наших глазах характер чуда, одолеть сложности расчета энергетической стабильности в недрах макромолекул, встречаемые в биологии. Не видя необходимости соглашаться со всеми утверждениями Хюбчеяка, надобно признать, что «Книга кельтов» всегда, на протяжении столетий, вызывала у комментаторов восторженные, почти экстатические излияния. Можно ради примера привести описание, сделанное в 1185 году Гиральдусом Камбренсисом:

Эта книга содержит толкование соответствий в четырех Евангелиях согласно тексту Святого Иеронима и почти столько же рисунков, сколько страниц, причем они волшебно разукрашены. Здесь можно созерцать лик Божественного величия, чудесно нарисованный; представлены также описанные евангелистами мистические животные, среди коих есть разные — и шестикрылые, и четырехкрылые, и двоекрылые. Здесь видишь орла, там тельца, здесь человеческий лик, там — львиная морда и прочие, почти бесчисленные изображения. Если смотреть небрежно, мимоходом, можно подумать, что это всего лишь мазня, а не осмысленная композиция. И не увидеть никаких тонкостей, тогда как здесь сплошь тонкости. Если же возьмешь на себя труд вникнуть с

большим вниманием, проницая взглядом тайны искусства, узришь столько сложного, столько утонченности и остроты понимания, и все это так сближено, переплетено, связано, а краски так свежи и светоносны, что можно без околичностей объявить: все это, должно быть, творение ангельских, но не человеческих рук.

Равным образом можно последовать за Хюбчеяком в его утверждении, что любая новая философия, даже если она заявляет о себе в аксиоматической, по видимости чисто логической форме, в действительности взаимосвязана с новой визуальной концепцией Вселенной. Одаряя человечество физическим бессмертием, Джерзински, совершенно очевидно, произвел глубокую модификацию нашей концепции времени; но главной его заслугой, по мнению Хюбчеяка, было то, что он заложил исходные элементы новой философии пространства. Чтобы приблизиться к Джерзински, ощутить ход его мысли, достаточно углубиться в бесконечные построения из кругов и спиралей, составляющих орнаментальную основу «Книги кельтов», или перечитать великолепные «Раздумья о переплетениях», внушенные ему этим манускриптом и опубликованные отдельно от «Клифденских

заметок».

Природные формы, — пишет Джерзински, — суть формы человеческие. Это в нашем мозгу возникли треугольники, переплетения и разветвления. Мы узнаем их, мы их оцениваем, мы живем, окруженные ими. Живем в среде наших же, людских созданий, соотносимых с человеком, мы развиваемся и умираем. В лоне пространства, человеческого пространства, мы производим измерения; этими измерениями мы творим пространство.

Человек мало осведомлен, — продолжает Джерзински, — его пугает идея пространства; он воображает его огромным, ночным и разверстым. Он представляет себе существ простейшей шарообразной формы, затерянных в пространстве, съежившихся, раздавленных вечным присутствием трех измерений. Напуганные идеей пространства, человеческие существа ежатся; им холодно, им страшно. В лучшем случае они пересекают пространство, печально приветствуя друг друга при встрече. А между тем это пространство заключено в них самих, речь идет не более чем о порождении их собственного сознания.

В этом пространстве, внушающем страх, — пишет далее Джерзински, — человеческие существа

учатся жить и умирать; в пространстве их сознания зарождаются разлука, обособленность и боль. Это не требует долгих рассуждений: влюбленный через горы и океаны слышит зов своей любимой, мать слышит призыв своего ребенка. Любовь соединяет, и соединяет она навсегда. Практика добра — связывание, практика зла — разделение. Разделение — это второе имя зла; и таково же второе имя *лжи*. На самом деле не существует ничего, кроме чудесной связи, огромной и взаимной.

Хюбчеяк справедливо отмечает, что самой большой заслугой Джерзински является не то, что он опрокинул устаревшее понятие индивидуальной свободы (поскольку данный концепт был уже значительно обесценен в его эпоху и каждый признавал, в крайнем случае молча, что он никак не может служить фундаментом прогресса человечества), а то, что под углом зрения постулатов квантовой механики сумел посредством интерпретаций, правда немного слишком дерзких, заново возродить условия возможности любви. В этой связи стоит еще раз вспомнить Аннабель: сам не познав любви, Джерзински через посредство Аннабель смог создать представление о ней; он получил возможность понять, что

любовь в известном смысле, в еще неведомых формах может иметь место. Весьма вероятно, что это представление владело им в те последние месяцы теоретических разработок, о подробностях которых нам известно так мало.

По свидетельствам тех немногих лиц, с которыми Джерзински сталкивался в Ирландии в последние недели, на него, казалось, снизошло умиротворение. Его беспокойное, подвижное лицо выглядело безмятежным. Он подолгу без цели бродил по Скай-роуд, и свидетелем этих длительных задумчивых прогулок были только небеса. Извиваясь по холмам, дорога, то обрывистая, то пологая, шла на запад. море сверкало, отбрасывая трепетные блики на скалистые берега дальних островков. Облака, быстро увлекаемые ветром к горизонту, образовывали сияющие диковинные массы, выглядевшие до странности плотными. Он шел и шел, не чувствуя усталости, и легкая туманная дымка влагой оседала на его лице. Его труды завершились, он знал об этом. В комнате, превращенной им в кабинет, с окном, выходившим на мыс Эррисланнен, он привел в порядок свои записи — несколько сотен страниц размышлений на самые разнообразные темы. Результаты его в собственном смысле научных работ заняли

восемьдесят машинописных страниц — он не счел нужным приводить подробности своих расчетов.

27 марта 2009 года, на склоне дня, он отправился в Голуэй на центральный почтамт. Отправил сначала первый экземпляр своих трудов в Париж, в Академию наук, затем отослал второй в Великобританию, в журнал «Природа». Насчет того, что он предпринял потом, нет сколько-нибудь определенных сведений. Тот факт, что его автомобиль был обнаружен в непосредственной близости от Огрус-Пойнта, разумеется, наталкивает на мысль о самоубийстве — тем паче что ни Уолкотт, ни кто-либо из технического персонала Центра, по сути, не выказали удивления подобным исходом. «В нем было что-то неимоверно печальное, — нехотя объяснил Уолкотт, — по-моему, это был самый грустный человек, какого я встречал в своей жизни, к тому же слово „печаль“ кажется мне слабоватым: тут бы скорее следовало сказать, что он создавал впечатление человека разрушенного, опустошенного вконец. Мне всегда казалось, что жизнь ему в тягость, что он успел утратить всякую связь с чем бы то ни было живым. Думаю, что он продержался точь-в-точь столько времени, сколько требовалось для завершения его трудов,

и никому из нас не дано представить, каких усилий это ему стоило».

Как бы то ни было, вокруг исчезновения Джерзински сгустилась тайна, и то обстоятельство, что тело его так и не было обнаружено, породило стойкую легенду, согласно которой он отправился в Азию, а именно в Тибет, дабы поверить результаты своей работы сопоставлением с некоторыми положениями традиционного буддизма. Ныне эта гипотеза единодушно отвергается. С одной стороны, не удалось найти никаких следов его предполагаемого авиаперслета из Ирландии; с другой стороны, рисунки, оставленные на последних страницах его записной книжки, которые одно время трактовались как мандалы, в конце концов были идентифицированы как комбинации кельтских символов, близких к тем, что использованы в «Книге кельтов».

Ныне мы считаем, что Мишель Джерзински нашел свою смерть в Ирландии, там же, где он по собственному выбору прожил свои последние годы. Мы также полагаем, что, как только его работы подошли к концу, он, лишенный всех человеческих привязанностей, предпочел умереть. Многочисленные свидетельства удостоверяют,

что он пребывал во власти очарования этой крайней точки западного мира, вечно омываемой нежным, трепетным светом, где он так любил бродить, или, как он пишет в одной из своих последних заметок, «где перемешаны небо, вода и солнечный свет». Мы думаем теперь, что Мишель Джерзински исчез в море.

ЭПИЛОГ

Нам известно множество подробностей касательно жизни, внешнего вида и характера персонажей данного повествования; но тем не менее эту книгу надлежит рассматривать скорее как вымысел, правдоподобную реконструкцию на основе отрывочных воспоминаний, нежели как достоверное и однозначное отражение действительности. Даже если увидевшим свет «Клифденским заметкам», этой сложной смеси личных впечатлений, воспоминаний и теоретических построений, запечатленных на бумаге рукой Джерзински между 2000 и 2009 годами, в тот самый период, когда он работал над своей обобщенной теорией, если «Клифденским заметкам» дано поведать нам многое о событиях его жизни, бифуркациях, конфронтациях и драмах, предопределивших его особое мировидение и способ существования, тем не менее как в его биографии, так и в личности остается немало темных пятен. То же, что случилось потом, напротив, принадлежит Истории, и события, ставшие следствием публикации работ Джерзински, столько раз описаны, прокомментированы и

проанализированы, что можно ограничиться их кратким резюме.

Июньской публикации 2009 года в специальном выпуске журнала «Природа», под названием «Пролегомены к идеальной репликации», на восьмидесяти страницах обобщающей последние работы Джерзински, суждено было стать потрясением для всего мирового научного сообщества. Во всех концах мира исследователи-микробиологи пытались повторить предлагаемые эксперименты, проверить подробности расчетов. Через несколько месяцев подоспели первые результаты, а уж потом неделю за неделей они без конца накапливались, с безупречной точностью подтверждая справедливость исходных гипотез. К концу 2009 года не могло оставаться уже никакого сомнения: выводы Джерзински соответствуют действительности, их надлежит признать научно обоснованными. Было очевидно, что их практические следствия головокружительны: любой генетический код, сколь угодно сложный, может быть перезаписан в стандартной, структурно стабилизированной форме, недоступной для нарушений и мутаций. Таким образом, любая клетка может быть наделена способностью бесконечного последовательного репродуцирования.

Всякое живое существо, как бы ни было оно развито, может быть трансформировано в похожее, но размножаемое посредством клонирования и бессмертное.

Когда Фредерик Хюбчеяк одновременно с несколькими сотнями ученых в разных концах планеты открыл для себя труды Джерзински, ему было двадцать семь лет, он заканчивал докторскую диссертацию по биохимии в Кембридже. Беспокойный ум, путаник, непоседа, он за несколько лет исколесил всю Европу — в архивах университетов Праги, Геттингена, Монпелье и Вены остался след его пребывания, он поочередно зачислялся студентом во все эти учебные заведения, ища, по собственному выражению, «новой парадигмы, но не только: помимо иного способа смотреть на мир, еще и устанавливать другие связи с ним». Как бы то ни было, он стал первым и на многие годы единственным, кто, исходя из трудов Джерзински, отстаивал следующее радикальное предложение: человечество должно исчезнуть, дать жизнь новому роду, бесполому и бессмертному, тем самым преодолев индивидуальность, разобщенность и понятие будущего. Бесполезно описывать негодование, которое подобный проект должен был вызвать в среде

поборников религий откровения — иудаизма, христианства и ислама, которые, разом объединившись, единодушно обрушили анафему на эти труды, объявив их «серьезным покушением на достоинство человека, состоящее в единичности его взаимоотношений с Творцом»; только буддисты высказали замечание, что, как бы то ни было, отправной точкой размышлений Будды было осознание трех помех: старости, болезни и смерти, а также того, что венец творения, будучи призван посвятить себя прежде всего размышлению, не должен отвергать с порога техническое решение этих проблем. Так или иначе, совершенно очевидно, что Хюбчеяку не стоило рассчитывать на большую поддержку со стороны официальных религиозных конфессий. Надобно заметить, что гораздо удивительнее был категорический отпор, который он получил от приверженцев традиционных гуманистических ценностей. Как ни трудно нам сегодня постичь смысл таких понятий, как «свобода личности», «человеческое достоинство» и «прогресс», надлежит вспомнить, какое главенствующее место они занимали в сознании людей материалистической эпохи (то есть тех нескольких столетий, что отделяют крах средневекового христианства

от момента публикации работ Джерзински). Туманный и произвольный характер названных понятий, разумеется, помешал им оказать маломальски эффективное воздействие на реальную общественную ситуацию — таким образом, историю человечества от XV до XX столетия можно в общем и целом охарактеризовать как период прогрессирующего разложения и распада; тем не менее представители образованных и полуобразованных кругов, которые худо-бедно сумели внести свой вклад в утверждение этих понятий, с такой яростью за них цеплялись, что Фредерику Хюбчеяку в первые годы пришлось приложить неимоверные усилия, чтобы быть услышанным.

В истории этих нескольких лет, потраченных Хюбчеяком на то, чтобы добиться единодушного одобрения проекта (поначалу встреченного с единодушным брезгливым неприятием мировым общественным мнением, пока в конце концов дело не дошло до финансирования его из фондов ЮНЕСКО), — перед нами вырисовывается портрет блестящего, чрезвычайно боевитого деятеля, наделенного умом одновременно живым и практическим, короче говоря, портрет непревзойденного популяризатора идей. Сам по себе он, разумеется, был создан не из того

теста, из какого получаются великие ученые; зато он сумел использовать то единодушное почтение, какое в межнациональной научной среде вызывали имя и работы Мишеля Джерзински. Еще того меньше оснований приписывать Хюбчеяку склад ума глубокого, оригинального философа; но он смог в своих предисловиях и комментариях к «Раздумьям о переплетениях» и «Клифденским заметкам» придать мыслям Джерзински форму одновременно впечатляющую и четкую, доступную широкой публике. Первая статья Хюбчеяка «Мишель Джерзински и копенгагенские интерпретации» вопреки своему названию представляет собой обстоятельные размышления по поводу фразы Парменида: «Акт и объект мышления совпадают». В своей следующей работе «Трактат о конкретном ограничении», равно как и в другой, более просто названной «Реальность», он делает любопытную попытку свести воедино логический позитивизм Венского кружка и религиозный позитивизм Конта, временами не отказывая себе в праве на лирические отступления, о чем может свидетельствовать следующий часто цитируемый пассаж: «Не существует никакого так называемого вечного безмолвия и бесконечного пространства, ибо

в действительности не существует ни безмолвия, ни пространства, ни пустоты. Мир, что нам известен, — это мир, который творим мы сами, мир человеческий округл, гладок, однороден и тепел, как женская грудь». Так или иначе, он сумел внушить все более возрастающей части публики, что на той стадии развития, которой оно достигло, человечество может и должно поставить под свой контроль всемирную эволюцию в целом, а в особенности собственную биологическую эволюцию. В своей борьбе он получил бесценную поддержку со стороны некоторой части неокантианцев, которые, используя накативший прилив ницшеанского влияния на общественную мысль, взяли в свои руки многие важные командные рычаги в интеллектуальных, университетских и издательских кругах.

И все же, по общему мнению, истинным гением Хюбчеяк показал себя, когда сумел, проявив невероятную прозорливость в оценке смысла происходящего, обернуть в пользу своей программы странное, незаконнорожденное идеологическое течение, появившееся в конце XX столетия под названием *New Age.* Он первым в свою эпоху смог разглядеть за массой обветшалых, противоречивых и смешных суе-

верий, к которым при поверхностном взгляде сводится это течение, тот факт, что по сути *New Age* есть реакция на то реальное страдание, источником которого является психологическая, онтологическая и социальная раздробленность. За отвратительной смесью фундаментальной экологии, тяготения к традиционалистскому мышлению и «святыням», унаследованной от родственного движения хиппи и Изаленских идей, *New Age* проявлял реальную жажду разрыва с XX веком, его имморализмом, его индивидуализмом, его анархистскими, антисоциальными пристрастиями; он свидетельствовал о тревожном понимании, что ни одно общество не может быть жизнеспособным без объединяющей оси какой-либо религии; на деле он являл собой мощный призыв к смене парадигмы.

Более чем кто-либо другой, сознавая, что компромисс бывает необходим, Хюбчеяк в лоне Движения человеческого потенциала, созданного им в 2011 году, без колебаний принял на вооружение несколько тем, откровенно принадлежавших *New Age*, от «Строения кортикальной области Гайо» до знаменитого уподобления «'10 миллиардов людей на поверхности планеты — 10 миллиардов нейронов в мозгу человека», от

призыва к созданию всемирного правительства на основе «нового альянса» до почти рекламного девиза: ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ БУДЕТ ЖЕНСКИМ. Он проделал это с ловкостью, вызывающей единодушный восторг всех комментаторов, притом тщательно избегал любых отклонений в область иррационализма или сектантства и, напротив, умел снискать себе могущественную поддержку в ученых кругах.

Для исследований в области истории человечества характерна несколько циничная тенденция выпячивать «ловкость» как основное условие успеха, в то время как она сама по себе, при отсутствии страстной убежденности, не способна привести к поистине решающим изменениям. Все, кто имел случай встречаться с Хюбчеяком или противостоять ему в дискуссиях, единодушно подчеркивают, что источником его притягательной силы, его обаяния, его неподражаемой харизмы была глубокая простота и подлинная личная убежденность. При любых обстоятельствах он говорил примерно то же, что и думал, и в рядах его оппонентов, скованных помехами и ограничениями, порожденными устаревшей идеологией, такая простота производила уничтожающее действие. Один из первых упреков,

обращенных к его проекту, был упрек в том, что его воплощение ведет к упразднению сексуальных различий, столь основополагающего признака человеческой самотождественности. На это Хюбчеяк отвечал, что речь не о том, чтобы лишить род человеческий части его свойств, а чтобы создать новый род разумных существ, и что конец пола как условия размножения ни в коей мере не означает прощания с сексуальными наслаждениями. Скорее напротив. Не так давно были выделены кодирующие сегменты ДНК, ответственные за формирование корпускул Краузе во время эмбриогенеза; при нынешнем состоянии рода людского эти корпускулы в малом количестве рассыпаны по поверхности клитора и головки мужского полового члена. В грядущем же ничто не помешает приумножить их количество, распространить их по всей поверхности кожи в целом, обогатив таким образом структуру наслаждений новыми и почти неслыханными эротическими переживаниями,

Другие критики — вероятно, эти смотрели глубже — сосредоточились на том факте, что в лоне нового рода, сотворенного исходя из трудов Джерзински, все индивиды станут носителями одинакового генетического кода; таким образом,

исчезнет один из основных элементов, определяющих своеобразие человеческой личности. На это Хюбчеяк запальчиво возражал, что врожденная индивидуальность, которой мы в силу трагического заблуждения так гордимся, как раз и служила источником наибольшего процента наших бед. Идее, что человеческой личности грозит исчезновение, он противопоставлял конкретный и наглядный пример однояйцовых близнецов, которые несмотря на свой абсолютно идентичный генотип впоследствии развивают собственную личность в зависимости от индивидуальных жизненных обстоятельств, сохраняя при том узы таинственного братства — братства, каковое, по Хюбчеяку, как раз и является самым необходимым элементом возрождения примиренного человечества.

Нет никакого сомнения, что Хюбчеяк не лукавил, объявляя себя простым продолжателем Джерзински, всего лишь исполнителем, единственным стремлением которого является практическое осуществление замыслов учителя. Порукой тому, например, его верность странной идее, высказанной на странице 342 «Клифденских заметок»: численность нового рода должна всегда оставаться равной численности рода

предшествующего; стало быть, нужно сотворить индивида, затем двух, потом трех, пятерых… короче, вплоть до того, как снова доберешься до первоначального числа. Целью же являлось поддержание количества индивидов, составляющего цифру, делящуюся только на самое себя и на единицу, и, вероятно, призванного символически привлечь внимание к той опасности, какую в недрах любого социума представляет допущение возможности дробить его на отдельные части. Однако следует заметить, что Хюбчеяк поместил это условие в опубликованный список глобальных задач, никак не озаботившись прояснением его смысла. Если же рассматривать проблему в более общем виде, становится ясно, что чисто позитивистское прочтение трудов Джерзински должно было привести Хюбчеяка к постоянной недооценке масштабов метафизического переворота, который неизбежно должен был сопровождать столь глубокую биологическую мутацию — мутацию, по существу, не имевшую прецедентов в истории человечества.

Такое грубое непризнание философского смысла проекта и даже самого понятия философского смысла *вообще,* однако же, ни в коей мере не могло воспрепятствовать его реализации или

даже затормозить ее. Это говорит о том, как широко во всей совокупности западных обществ, равно как и в наиболее продвинутой ее части, представленной движением *New Age*, распространилась идея, что фундаментальная мутация становится необходимой для выживания человеческого сообщества — такая мутация, которая убедительным образом возродит смысл понятий коллективности, постоянства и святости. Это говорит также о том, насколько философские вопросы в глазах публики утратили какую-либо основательность. Вселенское осмеяние, которому после десятилетий бессмысленного почитания внезапно подверглись труды Фуко, Лакана, Деррида и Делёза, не только не оставило в тот момент места для какой-либо новой философской доктрины, а, напротив, вконец дискредитировало все то сообщество интеллектуалов, что объявляло себя «гуманитариями»; с этого времени во всех областях мысли необратимо вошли в силу деятели науки. Даже тот случайный, противоречивый и шаткий интерес, который сторонники *New Age* время от времени проявляли к верованиям, берущим начало в «традициях старинной духовности», свидетельствовал всего лишь об их мучительной растерянности, доходящей до

пределов шизофрении. На самом деле они, как и прочие члены общества, а может быть, и того больше, не могли верить ничему, кроме науки, наука была для них единственным и неопровержимым критерием истинности. В глубине души они, как и другие члены общества, считали, что разрешение всех проблем — включая психологические, социологические и, в более общем смысле слова, человеческие — лежит в сфере технической мысли. Так что Хюбчеяк, по существу, не рисковал столкнуться с сопротивлением, когда в 2013 году провозгласил свой знаменитый девиз, которому было суждено воистину стать началом переворота в общественном мнении, планетарного по своим масштабам: ПЕРЕМЕНА СОВЕРШИТСЯ НЕ В УМАХ, А В ГЕНАХ.

Первые кредиты были на основе голосования выделены постановлением ЮНЕСКО в 2021 году; команда ученых под управлением Хюбчеяка тотчас взялась за работу. Сказать по правде, в научном плане от его руководства было не много толку; зато он был сногсшибательно эффективен в той области, которую можно определить как «связи с общественностью». Чрезвычайная быстрота, с которой подоспели первые результаты, не могла не поражать; лишь гораздо позже стало

известно, что на самом деле многие исследователи из числа ближайших приверженцев или просто сторонников Движения человеческого потенциала в своих лабораториях в Австралии, Бразилии, Канаде или Японии приступили к этой работе уже давно, не ожидая, когда ЮНЕСКО даст им зеленую улицу.

Создание первого существа, первого представителя новой мыслящей расы, созданного человеком «по своему образу и подобию», имело место 27 марта 2029 года, ровно — день в день — через двадцать лет после исчезновения Мишеля Джерзински, и хотя в составе группы не было ни одного француза, синтез произошел в лаборатории Института молекулярной биологии в Палезо. Естественно, что телевизионная ретрансляция с места события имела огромный резонанс, он оставил далеко позади даже тот ажиотаж, что около шестидесяти лет назад, июльской ночью 1969 года, вызвала прямая трансляция первых шагов человека на Луне. Предваряя репортаж, Хюбчеяк произнес очень краткую речь, где со свойственной ему жестокой искренностью объявил, что человечество должно гордиться тем, что оно стало «первым в пределах известной нам Вселенной родом животных, самостоятельно

подготовившим условия для собственного вытеснения».

Ныне, спустя почти полстолетия, действительность в достаточной мере подтвердила пророческое значение слов Хюбчеяка — подтвердила с таким избытком, что он и сам, вероятно, такого не предполагал. Кое-какие особи прежней расы еще существуют, главным образом в регионах, долгое время подвергавшихся влиянию традиционных религиозных доктрин. Однако процент их размножения год от года уменьшается, и в настоящее время их вымирание представляется неотвратимым. Вопреки всем пессимистическим прогнозам, это угасание рода происходит мирно, несмотря на отдельные акты насилия, число которых постоянно уменьшается. Даже странно видеть, как кротко, с какой покорностью и, может статься, с тайным облегчением люди приняли неизбежность своего исчезновения.

Мы живем, разорвав последние узы, связывавшие нас с человечеством. По человеческим меркам, мы живем счастливо; мы и вправду укротили силы, непобедимые в глазах людей: эгоизм, гнев, жестокость; мы живем во всех смыслах другой жизнью. Наука и искусство по-прежне-

му существуют в нашем обществе; но погоня за Истиной и Красотой, не подстегиваемая, как раньше, кнутом личного тщеславия, в сущности, уже не носит столь животрепещущего характера. На людей стародавней расы наш мир производит впечатление рая. Впрочем, нам и самим порой случается — правда, в несколько юмористическом духе — называть себя «богами», о чем люди когда-то так мечтали.

История не исчезла, она настоятельно необходима, она властвует, и ее власть неоспорима. Но, помимо неукоснительной приверженности фактам истории, это сочинение стремится напоследок выразить почтение к тому злополучному и отважному роду, который создал нас. Этот многострадальный и подлый род, не слишком отличный от обезьян, тем не менее нес в себе благородные чаяния. Болезненный, обремененный противоречиями, ревнитель индивидуализма, драчливый, безмерно эгоистичный, порой способный на чудовищные взрывы насилия, род этот все же никогда не переставал верить в добро и любовь. И сверх того он впервые в истории нашел в себе мужество воспринять идею возможности собственного исчезновения путем самопреодоления, а несколько лет спустя сумел осуществить

эту идею на практике. Ныне, когда угасают его последние представители, мы считаем уместным воздать человечеству последнюю дань уважения; последнюю дань, воспоминание о которой в свой черед тоже исчезнет, поглощенное зыбучими песками времен; и все-таки необходимо, чтобы такое уважение, по меньшей мере однажды, было высказано. Эта книга посвящается человеку.